БАКУНИН

Н. Пирумова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…

В книге представлены иллюстрации.

- Наталья Михайловна Пирумова
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА I
- ГЛАВА II
- ГЛАВА III
- ГЛАВА IV
- ГЛАВА V
- ГЛАВА VI
- ГЛАВА VII
- ГЛАВА VIII
- ГЛАВА IX
- ГЛАВА X
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. БАКУНИНА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63

- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107

- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151

- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195

- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239

- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283

- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327

- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371

- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415

- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459

- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503

- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547

- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552

Наталья Михайловна Пирумова Бакунин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения.

Противоречивость его выражала собой характерные черты эпохи ломки старых утопических представлений и утверждения новых идей научного социализма.

Революционер, непримиримый противник самодержавия, активный борец за освобождение славянских народов и вместе с тем один из создателей мелкобуржуазной утопической теории анархизма — таков Бакунин.

«Это натура героическая, оставленная историей не у дел», — говорил о нем А. И. Герцен.

Бакунин, как указывал В. И. Ленин, был одним из представителей «непролетарского домарксистского социализма». [1] Не поняв роли и значения рабочего движения на Западе, он в первый период своей революционной деятельности целиком ушел в национально-освободительную борьбу славянских народов. На баррикадах Праги и Дрездена искал он пути к освобождению своей родины. Усилия его были тщетны, ибо ставка на национальные движения была, по существу, проявлением мелкобуржуазных иллюзий.

После многих лет тюрьмы и ссылки Бакунин вновь встал в ряды европейской демократии. Карл Маркс попытался привлечь его к деятельности в Интернационале — первой массовой международной организации пролетариата. Но Бакунин, по-прежнему оставаясь мелкобуржуазным революционером, не понял роли, которую было призвано сыграть Международное товарищество рабочих в становлении самостоятельного рабочего движения.

В середине 60-х годов формируется анархистское мировоззрение Бакунина. Оно выражало настроения разорявшихся масс крестьянства и мелкой буржуазии, вливающихся в рабочий класс, страдания и судьбы которых глубоко волновали Бакунина.

«В общем это — детство пролетарского движения, подобно тому, как астрология и алхимия представляют собой детство науки», [2] — писали о бакунизме Маркс и Энгельс.

Критика социального неравенства, угнетения, эксплуатации, призывы к мировой революции сочетались у Бакунина с индивидуализмом, с требованием абсолютной свободы личности, отрицанием всякого авторитета. По идеалистической концепции

Бакунина первопричиной всякой эксплуатации являлось государство, поэтому цель революции он видел прежде всего в его ликвидации. Сама же революция понималась им как стихийный процесс «социальной ликвидации». Бакунин отрицал необходимость создания пролетариатом собственной организации — партии, видел в крестьянстве, интеллигенции, люмпен-пролетариате наиболее революционные слои общества, будто бы готовые к революции в любой момент.

Убежденный, что его идеи несут освобождение трудящимся, он пытался повернуть рабочее движение на анархистский путь. Разгорелась острая идейная борьба между сторонниками научного коммунизма и бакунистами. Маркс и Энгельс разоблачили мелкобуржуазную природу бакунизма, показали, что отрицание участия пролетариата в политической борьбе ведет к подчинению рабочих буржуазной политике, а отрицание необходимости и исторической неизбежности диктатуры пролетариата и организации пролетариата в самостоятельную политическую партию, по сути дела, закрывает путь к социалистическим преобразованиям.

Успех идей Бакунина в таких странах, как Италия, Испания, Швейцария и частично Франция, был непрочным. Рабочее движение Западной Европы не могло пойти и не пошло за Бакуниным.

Человек, обладавший неисчерпаемой революционной энергией, стремлением везде, всюду, своими руками творить революцию, Бакунин постоянно впадал в трагический разрыв между созданной им же анархистской теорией и реальной практикой революционного движения.

Не забывая о том, что анархистская теория Бакунина уводила рабочее движение с прямой дороги борьбы за светлое будущее человечества, о котором страстно он мечтал сам, нельзя вместе с тем не отдать должное смелости и революционной энергии этого борца против царского самодержавия в России и всевластия капитала в Западной Европе.

1 мая 1903 года в ленинской «Искре» появилось сообщение о сборе средств на памятник русскому революционеру Михаилу Александровичу Бакунину. От редакции газета писала: «Нам остается прибавить что, несмотря на глубокие различия, отличающие наши взгляды от взглядов М. А. Бакунина, мы умеем ценить в кем человека, в течение всей своей жизни твердо и самоотверженно боровшегося за свои убеждения. Таких людей, к сожалению, слишком мало еще у нас в России, и память их должна быть дорога даже для их противников».

Имя Бакунина высечено и на камне памятника борцам за

социализм, воздвигнутого у кремлевской стены в 1918 году по ленинскому плану монументальной пропаганды.

ГЛАВА I
ОТ «ПРЕМУХИНСКОЙ ГАРМОНИИ» ДО КАТЕГОРИЙ ГЕГЕЛЯ

Бакунин во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что переживает все его недостатки, — это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа.

В. Г. Белинский

Михаил Александрович Бакунин происходил из старинной дворянской семьи. Первым известным предком Бакуниных был дьяк Никифор Евдокимов, числившийся с 1677 года московским дворянином. Правнук его Михаил Иванович служил при Петре I кохмендантом в Царицыне. Внук Михаила Ивановича — Михаил Васильевич — пошел по служебной лестнице значительно дальше. При Екатерине II он был действительным статским советником и вице-президентом камер-коллегии. Был он к тому же богат, смел и нрав имел необузданный. Женившись на княжне Мышецкой и выйдя в отставку, он поселился в Премухине Нозоторжского уезда Тверской губернии.

Обширный помещичий дом, огромный старинный запущенный парк, красивая каменная церковь, построенная по проекту известного архитектора Н. А. Львова, и 500 душ крепостных крестьян — все это досталось в наследство одному из его сыновей — Александру Михайловичу Бакунину.

Получив образование за границей, защитив философскую диссертацию в Падуанском университете, Александр Михайлович долго служил при российских посольствах в разных государствах Италии. В конце царствования Екатерины II он с чином надворного советника вышел в отставку и возвратился в Россию.

Поселившись после 1812 года в своем имении, он занялся хозяйством, не оставляя, однако, и занятий умственных. Особый интерес его вызывала отечественная история. Он много читал, делал выписки, а позднее, в 1827 году, завершил свою «Историю России». Написал он также «Опыт мифологии русской истории», комментарии к древнерусскому летописному своду и еще несколько исторических работ. Все они, как и его поэма «Осуга»[3] и множество стихов, не предназначались для печати и до сего времени хранятся в рукописях в Пушкинском доме.[4]

Лет десять спустя после возвращения из-за границы, будучи уже немолодым (40 лет), он неожиданно влюбился в восемнадцатилетнюю Варвару Александровну Муравьеву. Не рассчитывая на успех у своей избранницы, он было решил стреляться, но сестра его Татьяна Михайловна Полторацкая взялась устроить его счастье. В результате Варвара Александровна приняла предложение Александра Михайловича, и брак их оказался действительно счастливым.

Из одиннадцати детей, рожденных в первые четырнадцать лет их семейной жизни, десять остались живы. У Бакуниных было четыре дочери: Любовь, Варвара, Татьяна, Александра, и шесть сыновей: Михаил, Николай, Илья, Павел, Александр и Алексей.

Михаил был старшим из братьев. Родился он 18 мая 1814 года.

Александр Михайлович стремился создать в Премухине особый мир — мир интеллектуальных интересов, искусства и душевной гармонии.

В известной мере это удалось ему. В семье царила атмосфера, в которой наиболее полно могли развиваться душевные и умственные способности детей. Литература, музыка, живопись с ранних лет естественно входили в круг их интересов. Не последнюю роль играли рассказы отца — человека широко и разносторонне образованного. Он занимался с детьми естественной историей, физикой, космографией, географией и историей.

Вот как описывал Александр Михайлович в поэме «Осуга» премухинские вечера:

> Когда вечернею порою
> Сберется вместе вся семья,
> Пчелиному подобясь рою,
> То я счастливее царя.

…Кто с книгою, кто с рукодельем Беседуют вокруг стола, Мешаючи дела с бездельем, Чтоб не сойти от дел с ума.

Михаил Бакунин, впоследствии вспоминая жизнь премухинского дома, напишет: «Да, батюшка, воспоминания о вас и любовь к вам, премухинский дом, сад и окружности, любовь, и природа, и наслаждение природою, и детство наше — все это составляет наше неотъемлемое сокровище и чуть ли не лучшую эпоху жизни нашего семейства».[5]

Свободное воспитание, которое отчасти под влиянием идей Руссо давал детям Александр Михайлович, любовь и природа,

религия в ее опоэтизированной и внешнеобрядовой форме, атмосфера нравственной чистоты и известной патриархальности — все это в тех условиях и создавало обстановку душевной гармонии в семье Бакуниных. Особое влияние премухинский мир имел на сестер Мишеля, он отвечал их склонностям, стремлению ко всему возвышенному, прекрасному.

До 14 лет старший сын Михаил воспитывался дома. Обстановка Премухина, система воспитания, навыки, приобретенные в детстве, — все это оставило глубокий след в его сознании. Музыка и живопись особенно занимали его.

О способностях юного Мишеля к рисованию свидетельствуют два сохранившихся его автопортрета, а также сделанный позднее портрет Гегеля.

Чистое юношеское лицо, большие внимательные глаза, а внизу рисунка голова бычка, взгляд которого как-то перекликается со взглядом самого Мишеля и придает иронический характер всему рисунку, — таков первый из автопортретов. Второй, сделанный акварелью, помогает представить себе внешние данные нашего героя уже в более зрелом возрасте. Темные каштановые вьющиеся волосы, прозванные позднее современниками львиной гривой, большой рот, беспокойный и пытливый взгляд голубых глаз, лицо скорее неправильное, но оригинальное и запоминающееся, — таким стал он в пору своей молодости.

Занятия Мишеля музыкой выходили за рамки, принятые в светском обществе. Играл он много и серьезно, а главное — глубоко понимал и любил музыку.

Любовь к музыке, стремление к простоте и естественности, а также известную долю романтичности вынес Бакунин из премухинского дома и сохранял в течение всей жизни.

В конце 1828 года, 14 лет от роду, был он отправлен отцом в Петербург для того, чтобы поступить там в артиллерийское училище. «Из родного премухинского мира я вдруг попал в новый совершенно чуждый мне мир» (т. II, стр. 106), — писал он впоследствии отцу. Нравы, царившие в училище, в которое он поступил, сдав экзамены осенью 1829 года, резко отличались от всего, что окружало его ранее. «Я вдруг узнал всю черную, грязную и мерзкую сторону жизни. И если даже не впал в пороки, которых я был частый свидетель, то по крайней мере привык к ним до такой степени, что они не только не приводили меня в омерзение, но даже не удивляли меня. Сам же я привык лгать, потому что искусная ложь в нашем юнкерском обществе не только не считалась пороком, но единогласно одобрялась» (т. II, стр. 107).

По просьбе одного юнкера он подделал два векселя и сам сделал несколько долгов. История эта, получившая огласку и ставшая известной отцу, вызвала глубокое раскаяние у Мишеля, так как чувство порядочности не было чуждо ему. Но возможно, тогда и было положено начало легкомысленному отношению к чужим и своим деньгам.

Юнкерская среда, однако, не затянула Мишеля. В месяцы, предшествующие экзаменам, он много и с увлечением занимался.

В январе 1833 года Бакунин был произведен в офицеры и переведен в офицерские классы. Теперь его связывала с артиллерийским училищем лишь необходимость посещать занятия. Жил же он на частной квартире у своей тетки.

«Кроме классов, я почти не виделся со своими товарищами, я разорвал с ними почти все отношения; присутствие их напоминало мне всю пошлость и подлость моего прежнего состояния.

В это время я вообразил себя влюбленным в Марию Алексеевну Воейкову. Это чувство, хотя и призрачное, хотя и совершенно детское, было первым решительным пробуждением моей духовности… Жизнь, сильная, благородная жизнь заиграла во мне. Я, до тех пор ленившийся, до тех пор не заботившийся о своей будущности, решился работать над собой, переделать себя» (т. II, стр. 108).

Этот призрачный роман был недолгим, и вскоре новые женские образы пленили его воображение, однако для эмоциональной натуры Мишеля эпизод этот действительно не прошел бесследно.

«Интеллектуальная революция», началом которой явилось чувство к М. А. Воейковой, была продолжена под влиянием нового окружения Мишеля. Осенью 1833 года, вернувшись из летних лагерей, Бакунин близко сошелся с семьей Николая Назаровича Муравьева, друга и родственника своего отца. Сенатор и главноуправляющий собственной его величества канцелярией Н. Н. Муравьев в 1832 году выходит в отставку и поселяется с семьей в имении Покровском близ Петербурга. Старший сын его, Николай, будущий граф Амурский, сыгравший впоследствии важную роль в жизни Бакунина, не живет в это время с отцом, а управляет его имением в Виленской губернии.

Мишеля в семье Муравьевых привлекает как сам Николай Назарович, так и общество его дочерей — девиц милых и образованных. Почти каждый день наведывается теперь Бакунин в Покровское. До чая он проводит время с дядею, потом остается с кузинами. Идет разговор о литературе, об истории, о науках, кузины играют на фортепьяно.

Но визиты в Покровское не поглощают целиком 19-летнего Мишеля. Много времени он уделяет занятиям русским языком, русской историей и статистикой; предается размышлениям о счастье и смысле жизни. Неожиданно наступает перемена.

Однажды на улице, одетый не по форме, Бакунин встречает начальника училища генерала Сухазанета.

— Уж если надел ливрею, то носи ее как полагается, — говорит ему генерал.

— Я не надевал ливреи и надевать ее не собираюсь, — ответил, вспыхнув, Бакунин.

Сухазанет не мог простить этой дерзости молодому офицеру. Не дав ему окончить офицерских классов, он направил Бакунина в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в местечке Молодечно Минской губернии.

Осенью 1834 года бригаду, в которой служил Бакунин, перевели в Гродненскую губернию. Здесь служба не занимала много времени. Взвод Бакунина был расположен по деревням, рядовые находились в работе по хозяйственной части, и ими занимался ротный командир. Предоставленный самому себе, Бакунин продолжал свое образование: много читал, совершенствовал знания в немецком языке, занимался польским, географией и физикой. Однако необходимость жить в глуши и общество армейских офицеров тяготили его. Он и его родные хлопотали о переводе, но безуспешно.

В начале 1835 года Бакунин получил командировку в Тверь, откуда направился в Премухино. Здесь он решил сказаться больным. Ему было предложено подать в отставку, чем он немедленно и воспользовался.[6]

С выходом в отставку началась новая полоса жизни Михаила Бакунина. Стремление к серьезным занятиям, к этому времени твердо укоренившееся в нем, привело к тому, что, отказавшись от статской службы (на чем особенно настаивал отец), он решил посвятить себя научной деятельности.

В январе 1836 года он окончательно перебрался в Москву, где ранее бывал лишь наездами.

В истории русской общественной мысли 30-е годы XIX века период особый.

Подавленное восстание декабристов наложило свой отпечаток на последующие десятилетия освободительного движения. Поиски новых путей и средств борьбы характеризовали дальнейшее направление общественной мысли. В 30-е годы это были лишь первые, часто робкие попытки.

Общественная и революционная мысль, достигшая в середине 20-х годов наивысшего для того времени взлета, теперь в

условиях жестокой реакции, была отброшена далеко назад. Реакционная идеология самодержавия, напротив, достигла, казалось, своего апогея.

Именно в 30-е годы министр народного просвещения граф С. С. Уваров провозгласил свою широкоизвестную формулу «православия, самодержавия и народности», утверждавшую и укреплявшую «охранительные начала».

Именно в эти годы наибольшим успехом у публики пользовались драмы Кукольника, романы Загоскина и Булгарина, пропагандировавшие в доступной широкому читателю форме эти «начала».

Правда, в это же время выходили в свет главы «Евгения Онегина», но многие вольнолюбивые стихи Пушкина продолжали ходить по рукам лишь в списках, Полежаев за свое творчество был отдан в солдаты, Чаадаев за «Философическое письмо» объявлен сумасшедшим.

Вдумчивый летописец эпохи, цензор А. В. Никитенко оставил грустную характеристику этого времени. «Когда мы увидели… что от нас требуют безмолвия и бездействия, что талант и ум осуждены цепенеть и гноиться на дне души… что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, — когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну лишь бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основе которого позволено действовать, — тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело».[7]

Слова Никитенко справедливы. Однако нравственное оскудение распространялось не на всех представителей поколения 30-х годов. Среди молодежи были и люди мыслящие, упорно ищущие ответа на важнейшие вопросы общественного развития.

Одни из них пытались, хотя бы теоретически, поднять знамя, выпавшее из рук декабристов, другие в проблемах философии, этики, а порой и в отвлеченных моральных категориях искали ответа на мучительные вопросы современности. Первые — в лице Александра Герцена и его друзей — уже в 1834 году поплатились за свои попытки тюрьмой и ссылкой, вторые — в лице Николая Станкевича и его круга — продолжали свои философские дискуссии. Примкнув к этому последнему кругу, Бакунин особенно сблизился с его главой — Станкевичем.

Сын богатого воронежского помещика Николай Владимирович Станкевич к тому времени уже окончил Московский университет, имел более или менее определенную

систему взглядов. «Станкевич, — пишет его биограф П. В. Анненков, — действовал обаятельно всем своим существом на сверстников: это был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующей свое призвание».[8]

Для И. С. Тургенева Станкевич стал прототипом образа Покорского в романе «Рудин». Характеризуя своего героя, Иван Сергеевич писал:

«Поэзия и правда» — вот что влекло всех к нему. И далее две строчки из стихотворения «одного полусумасшедшего и милейшего поэта нашего кружка»:[9]

> Пылал полуночной лампадой
> Перед святынею добра…

Молодые люди, собиравшиеся у Станкевича, угощаясь чаем со скверными сухарями, при сальной свече ночи напролет беседовали, спорили. «В глазах у каждого восторг и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии»,[10] — так изображал эти вечера Тургенев.

Среди тех, кто составлял кружок Станкевича в начале 30-х годов, был молодой историк С. М. Строев, выступавший позднее в печати в духе скептической школы историка Каченовского; П. Я. Петров, ставший позднее известным знатоком восточных языков и профессором Казанского университета; поэт В. И. Красов, учившийся на одном курсе со Станкевичем и печатавший свои стихи в «Телескопе»; А. П. Ефремов, кандидат словесных наук и наиболее близкий друг Станкевича; К. С. Аксаков, по характеристике Анненкова, тогда «германизирующий философ», а по словам Белинского — «благороднейший, честнейший юноша», но имеющий «узкость, китаизм, несмотря на глубокость духа»; поэт И. П. Клюшников и, наконец, В. Г. Белинский.[11]

Какие же интересы объединяли этих молодых людей?

Обратимся к свидетельству К. Аксакова: «Кружок Станкевича отличался самостоятельностью мнений, свободою от всякого авторитета…

В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект…

Кружок этот был трезвый и по образу жизни не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, и, что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничания, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которая была ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало…»[12]

«Исключительно умозрительным» назовет Герцен направление этого кружка. Однако «умозрительность» эта была скорее внешней. Проблема человека, его назначение — вот что вполне реально волновало Станкевича и его друзей. «В человеке жизнь сознала себя отдельно. Он весь центр этой жизни в миниатюре. Разум, воля, чувство — три действительные направления человеческой жизни, которые он переносит в жизнь всеобщую».[13]

Эти мысли высказывает Станкевич, еще не читая Шеллинга. С немецкой философией он знакомится по Кузену и, лишь окончив университет, в 1834 году приступает к изучению в подлинниках сначала Шеллинга, а затем Канта и Фихте.

Вот в этот период, а именно в октябре 1835 года, к кружку Станкевича и присоединяется Бакунин. Знакомство двух молодых людей произошло еще в марте 1835 года у Бееров в Москве, но обстоятельства сблизили их несколько позднее, во время визита Станкевича в Премухино.

Семья Бееров с начала 20-х годов поддерживала дружеские отношения с Бакуниными. Особенно близкая дружба завязалась между сестрами Наталией и Александрой Беер и молодым поколением Бакуниных.

Станкевич был частым гостем в московском доме Бееров. Бывали здесь Красов, Клюшников и другие друзья Станкевича. Разговоры шли вокруг новой западной литературы: Гёте, Шиллера, Жана-Поля Рихтера, Бальзака, Сю. Из русских авторов наибольший интерес вызывали Пушкин, Баратынский, Кукольник, Полевой. Станкевич, Красов и Клюшников нередко читали свои стихи, романтические, изящные и несколько сентиментальные.

Романтизм в те годы был распространен не только в литературе. Весь строй отношений молодых людей был пронизан романтическим мироощущением. Стремление к идеальной любви и дружбе, чрезвычайно эмоциональное и по форме часто сентиментальное выражение своих чувств и мыслей было обычным и естественным для идеалистов 30-х годов. Этому стилю отдали дань в молодые годы и Герцен, и Бакунин, и Белинский, и, конечно, Станкевич. Любовь в ее всеобъемлющем смысле воспринималась им как основа жизни. «Любовь!.. Друг, мой! —

пишет он Неверову в 1832 году, — для меня с этим словом разгадана тайна жизни. Жизнь и есть любовь. Вечные законы ее и вечное их исполнение — разум и воля».[14] Эти слова в различных вариациях не раз будут потом повторены Бакуниным, хотя о прямом заимствовании здесь нет речи.

Однако ни сам Станкевич, ни друзья его не могли, естественно, избежать и другой, вполне конкретной, земной любви. Так, Наталия Беер увлеклась Станкевичем и очень страдала от тех форм идеальных отношений, которые предлагал ей молодой философ. Сам же он вскоре также не смог избежать стрел Амура. Предметом его сильного увлечения стала Любовь Бакунина. Эта девушка, как и другие сестры Мишеля, не отличалась внешней красотой, но спокойствие и грация, свойственные ей, по свидетельству Белинского, и особое душевное обаяние привлекали к ней.

Познакомившись с ней у Бееров, Станкевич захотел побывать в Премухине.

Имение Бакуниных к этому времени стало притягательным центром для многих молодых людей. Образованные, прекрасно воспитанные, милые и неглупые молодые девушки придавали премухинскому дому аромат изящества и интеллектуализма.

Вот как отзывались о Бакуниных современники: «Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, — писал И. И. Панаев, — принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит».[15]

«Бескорыстно любуешься этими девушками, — писал Н. В. Станкевич, — как прекрасными созданиями божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтобы глядеть на них, когда тяжело на душе… еще хочешь… не другого какого-нибудь чувства… хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей…»[16]

В конце октября 1835 года поездка в Премухино, о которой уже несколько месяцев мечтал Станкевич, состоялась. Любовь Александровна, хотя в душе и отвечала взаимностью молодому философу, была с ним крайне сдержанна и ничем не выдала своих чувств. Глубоко разочарованный в своих надеждах, Станкевич в то же время получил неожиданное утешение. Он подружился с Мишелем (находившимся в те дни в Премухине). «Чистая и благородная душа», — написал он о нем Неверову. Так при весьма романтических обстоятельствах началась дружба, которой суждено было сыграть большую роль в дальнейшем

развитии обоих молодых людей.

Мишель тем временем переселился в Москву. Пойдя против воли отца и отказавшись от службы, он не мог теперь рассчитывать на материальную помощь со стороны семьи. Бакунин решил, что сможет обеспечить себя уроками математики и физики. С этой целью он посетил одного из своих родственников, графа Строганова, бывшего в то время попечителем Московского учебного округа, и, получив разрешение давать уроки, заказал себе визитные карточки с обозначением профессии — учитель математики. Затем он разнес эти карточки по своим родственникам и высокопоставленным знакомым. Этот поступок не столько обеспечил его уроками, сколь вызвал скандал в среде, где сыну известного всем Александра Михайловича Бакунина зарабатывать хлеб уроками считалось непристойным. Но это обстоятельство мало обеспокоило Мишеля.

Серьезные занятия философией, поездка за границу для усовершенствования знаний и в итоге занятие университетской кафедры — такова была его программа.

Решение старшего сына посвятить себя занятиям философией огорчили Александра Михайловича, который ко всем философским суждениям молодежи относился скептически. 27 января 1836 года Александр Михайлович писал сыну: «Я получил письмо из Москвы и вижу, что та же горячка в голове твоей продолжается, а сердце молчит. Отъезд твой не столько удивил, сколько огорчил меня. Истинная философия заключается не в мечтательных теориях и пустословии, а в исполнении семейных, общественных и гражданских обязанностей нашего быта, а ты увлекаешься химерами, пренебрегаешь ими и толкуешь о какой-то внутренней жизни, которая все тебе заменяет; а между тем сам не знаешь, куда от себя деться. Эта хандра, которая тяготит тебя, — необходимое последствие оскорбленного самолюбия, праздной жизни и беспокойной совести».[17]

В этом суровом письме Александра Михайловича в полной мере выражена основная идея вечного конфликта отцов и детей. И хотя упрекам его («пустословие», «химеры» и пр.) нельзя отказать в некотором основании, но в то же время нельзя и не видеть полного непонимания естественного стремления молодого человека понять и самостоятельно, через свой личный опыт, осмыслить жизнь, ее назначение, ее цели.

А размышления Мишеля над смыслом и назначением жизни уже в эту пору приняли определенное направление, в последующие годы лишь развивавшееся в связи с изучением тех философов, система взглядов которых отвечала внутреннему

настрою молодого мыслителя.

В исторической литературе, под влиянием прежде всего свидетельств Герцена и Анненкова, утвердилось неверное представление о том, что молодой Бакунин ко времени сближения со Станкевичем не имел никаких собственных философских представлений и был «засажен» последним за изучение немецкой философии и прежде всего Гегеля. Но обратимся к свидетельству самого Бакунина и посмотрим, как он выражал свое кредо еще до сближения со Станкевичем. Это письмо от 7 мая 1835 года к Наталии Андреевне Беер. (Обе сестры Беер в это время стали близкими друзьями Мишеля и восторженными слушательницами его философских бесед.) «А в чем заключаются основные идеи жизни? — спрашивает он свою корреспондентку и тут же отвечает: — Это любовь к людям, к человечеству и стремление к совершенствованию…

Что же такое человечество? Бог — заключенный в материи. Его жизнь — стремление к свободе, к соединению с целым. Выражения его жизни — любовь. Этот основной элемент вечного» (т. I, стр. 170).

В этом письме вполне конкретно, хотя и наивно-идеалистически, выражены определенные религиозно-философские представления, и, что особенно важно, представления эти во многом совпадают с мыслями по этому поводу Станкевича. И тот и другой стремятся подчинить материальную природу идее, и тот и другой основу жизни видят в любви, и тот и другой приходят к подобным мыслям независимо друг от друга и от немецкой философии, с которой они еще не знакомы.

Не удивительно, что совпадение взглядов обусловливает и их близкую дружбу и их совместное серьезное занятие немецкой философией. Очевидно, объект изучения был подсказан Станкевичем. Еще ранее, прочтя Шеллинга и постигнув сущность его системы, убедившись в определенной правоте своих представлений, Станкевич пришел к выводу, что для того, чтобы возвести «свое горячее убеждение на степень знания, надобно хорошенько изучить основание, на котором утверждается новая немецкая философия. Это основание — система Канта».[18]

В ноябре 1835 года Бакунин и Станкевич начинают изучение «Критики чистого разума» Канта. Ефремов и Клюшников пытаются следовать их примеру. Дело это трудное. «Я благоговею перед Кантом, — сообщает Станкевич Мишелю, — несмотря на то, что от него болит у меня голова по временам».[19]

«Как идут твои дела с Кантом? — спрашивает Ефремов Бакунина. — Кто кого одолел? Станкевич напугал меня, он

говорит, что не понимает Канта… Страшно! Но что делать?»[20]

Мишель, со своей стороны, сообщил Станкевичу, что не может успокоиться, пока не войдет в дух Канта. Постичь «Критику чистого разума» ему мешали в это время переживания, связанные и с домашними конфликтами. Но, переехав в Москву и создав себе условия для углубленных занятий, Бакунин не стал продолжать работу над Кантом, а перешел на Фихте, чья система взглядов более импонировала ему. Он стал переводить для «Телескопа» лекции Фихте «О назначении ученых», читать с увлечением «Наставления к блаженной жизни» — трактат, где наиболее полно выражено религиозное кредо философа. Станкевич, которому Фихте также был близок, перешел к его изучению весной 1836 года. Направляясь лечиться на Кавказ, он успел прочесть в бричке его работу «О назначении человека».

Чем же так увлекает немецкий философ молодых русских идеалистов? Прежде всего совпадением его взглядов с их собственными, обоснованием и разработкой тех идей, которые волнуют и их.

«Любовь — выше всякого разума, она сама источник разума, она основа реальности и единственный творец жизни и времени; этим я ясно выражаю самую высшую точку зрения учения о бытии, о жизни и блаженстве» — так писал Фихте.

Нетрудно заметить, что это одно из основных положений немецкого философа было весьма близко к приведенным выше размышлениям Бакунина и Станкевича.

Идеи Фихте о необходимости просвещения или пропаганды религиозно-этических взглядов также отвечали стремлениям Бакунина. «Он родился проповедником», — скажет о нем впоследствии Герцен. Учить других, звать их к неведомым горизонтам только что открывшейся ему истины, проповедовать словом и делом — все это было органически свойственно Бакунину. Ему мало было открыть что-то для себя, утвердиться в истине самому — он должен был непременно создавать себе адептов.

Первой аудиторией, безусловно поверившей ему и готовой следовать его пророчествам, стали его сестры и сестры Беер. Его проповедь выражалась как в устных беседах, так и в весьма объемистых письмах, похожих скорее на философские трактаты.

«Цель жизни, предмет истинной любви — бог, — писал будущий борец против всех форм религии, — не тот бог, которому молятся в церквах; не тот, которому думают нравиться унижением перед ним; не тот, который отдельно от мира судит живых и мертвых, — нет! Но тот, который живет в человечестве; тот, который возвышается с возвышением человека; тот, который

языком Иисуса Христа произнес священные слова Евангелия; тот, который говорит в поэте» (т. I, стр. 211).

Общая религиозная направленность не мешает Бакунину отрицать многие ходячие представления — о любви к ближнему и т. д. «Что значит любовь к человечеству? Затверженные слова Евангелия: „Любите друг друга как самих себя“. Любовь к науке? Желание прослыть ученым. Любовь семейная? Привычка и обязанности. Любовь к богу? Боязнь ада и желание рая. Вот вам любовь нашего общества, вот вам и жизнь его» (т. I, стр. 210).

Эти разоблачения первое время не находят отклика среди сестер Мишеля, но сестры Беер безусловно и во всем верят ему, хотя далеко не все понимают. Они готовы следовать не только что теоретической проповеди, но и всем тем практическим советам, которые Мишель дает им. Сердечные дела молодых девушек, их отношения с матерью — все входит в его компетенцию. Вторжение, часто бесцеремонное и настойчивое, в интимную жизнь окружающих его близких людей вообще свойственно Бакунину. Так, он противится браку своей сестры Варвары с Н. Н. Дьяковым, а затем делает все возможное, чтобы развести ее с мужем, так как считает этого доброго, но в общем ограниченного человека неподходящей партией для такой одаренной натуры, как его сестра. Он пытается руководить сердечной жизнью и других своих сестер, особенно Татьяны, которую любит более остальных.

Деятельное же участие в личных, интимных делах Наталии и Александры Беер приводит к неожиданным результатам. Пережив безответную любовь к Станкевичу, Наталия влюбляется теперь в Мишеля. Молодой проповедник в ужасе, так как не может ответить взаимностью, «Ах, мои дорогие, мои друзья, — пишет он несколько позднее своим сестрам, — в душе моей был ад, я почти схватил горячку, я не знал, что делать, я не мог оставить их дома, это было бы низостью, недостойной меня… Я дошел до того, что решил жениться на Наталии… Впоследствии я убедился… что этот брак не мог составить счастья Наталии, ибо ей нужна любовь, а я не могу ей этого дать, ибо не питаю к ней такого чувства» (т. 1, стр. 283).

Роман этот кончился так же, как и предыдущая любовь Наталии Андреевны.[21] Ей пришлось довольствоваться платонической дружбой Мишеля; причем, по свидетельству Варвары, она примирилась с этим. «Да, Мишель, — писала ему сестра, — она (Наталия. — *Н. П.)*будет такой, какой ты желаешь, чтобы она стала. Она так хорошо сознает эту внутреннюю жизнь, которую ты столько ей проповедуешь, она хочет стремиться к этой небесной гармонии, которую находишь, лишь развивая свои

умственные способности. То, что она теперь будет делать из любви к тебе, то она научится, я надеюсь, делать впоследствии из любви к богу».[22]

Способности к абстрактному философскому мышлению, большая энергия и, наконец, обаяние самой личности Бакунина — все это привлекало к нему сердца не только юных девиц. Не могли избежать известного влияния Бакунина и молодые философы из кружка Станкевича, среди которых особое место занимал Белинский.

Виссарион Григорьевич Белинский был старше Бакунина на три года и имел уже в ту пору довольно широкую литературную известность. С 1833 года он сотрудничал в журнале «Телескоп», издаваемом профессором Н. И. Надеждиным. В 1834 году в приложении к журналу появилась и его первая большая статья — «Литературные мечтания», принесшая молодому литератору неожиданную славу.

Небольшого роста, сутуловатый, с неправильными, но очень выразительными чертами лица, большими серыми задумчивыми глазами, Белинский держался скромно, просто и спокойно, хотя видно было, свидетельствует Анненков, «что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу».

Характером он обладал трудным: был непримирим ко всему, что считал не истинным, чрезвычайно резок с идейными противниками. Но эти черты сочетались в нем с удивительной нравственной чистотой, огромным умом и блестящим литературным дарованием.

Багаж философских знаний Белинского был еще невелик. Основу его составляло шеллингианство, заимствованное из вторых рук, от Надеждина и Станкевича.

С Бакуниным Белинский познакомился в 1835 году. Помимо известной общности взглядов, молодых людей объединило сходство их темпераментов. Оба обладали неукротимой энергией, оба были непримиримы к тому, что считали ложным. В вопросах же философских Бакунин был более сведущ. Свободно читая по-немецки, Мишель черпал познания из первоисточника и в беседах, длившихся часто ночи напролет, делился ими с другом.

Впоследствии Белинский так вспоминал о начале их дружбы: «Твоя непосредственность не привлекла меня к тебе — она даже решительно не нравилась мне, но меня пленило движение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине, отчасти и идеальное твое положение к твоему семейству, и ты был для меня явлением интересным и прекрасным… Другие причины завязали еще более нашу дружбу… я стремился к высокому, ты также,

следовательно, ты мне друг… Ты перевел несколько лекций Фихте для „Телескопа“, и в этом переводе я увидел какое-то инстинктуальное знание языка русского, которому ты никогда не учился, увидел жизнь, силу, энергию, способность передавать другим свои глубокие впечатления. Я стал смотреть на тебя как на спутника по одной дороге со мной, хотя ты шел своею. Все это еще больше возвысило тебя в моих глазах, — и доляшо было возвысить, — и я все более смотрел па тебя, как на друга». Но было и еще одно обстоятельство, привлекавшее Белинского. «Сверх того, — писал он, — имя твоих сестер глухо и таинственно носилось в нашем кружке, как осуществление таинства жизни, и я, увидев тебя первый раз, с трепетом и смущением пожал тебе руку, как их брату».[23]

Слухи о сестрах Мишеля, да и обо всем этом замечательном семействе, волновали Белинского, не бывавшего еще в подобном женском обществе.

Вскоре после знакомства Мишель, собираясь в Премухино, пригласил туда и Белинского. «От этого приглашения… у меня потемнело в глазах и земля загорелась под ногами. Но я не умел представить себя в этом обществе, в этой святой и таинственной атмосфере».[24]

В конце лета 1836 года Белинский, наконец, решился посетить обетованную землю Премухина. Станкевич был доволен. «Я уверен, — писал он Неверову, — что эта поездка будет иметь на него благодетельное влияние… Как смягчает душу эта чистая сфера кроткой, христианской семейной жизни!.. Семейство Бакуниных — идеал семейства. Можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божьей! Нам надо туда ездить исправляться».[25]

Станкевич был прав. «Премухинская гармония», по свидетельству самого Белинского, стала главной причиной его душевного пробуждения. «Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире, окрест меня все дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частию проникали в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине: опыт утвердил мою веру».

Сестры Мишеля очаровали Белинского, но особенно он увлекся младшей — Александрой. И хотя впоследствии он признался в том, что чувство это было призрачным и скорее надуманным, чем идущим от сердца, но в то время он был увлечен, и это обстоятельство еще больше увеличивало его скованность в непривычной для него обстановке.

Чувство такта не было сильной стороной Мишеля. В обществе он позволял себе намеки на отношения своего друга к

Александре. «Но самые лютые мои минуты были, — писал впоследствии Белинский Бакунину, — когда ты читал с ними по-немецки: тут уже не лихорадку, но целый ад ощущал я в себе, особенно когда ты имел армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мной при всех, нимало не догадываясь о состоянии моей души».[26]

Но, несмотря на все эти обстоятельства, трехмесячное пребывание Белинского в доме Бакуниных имело большое значение для его развития.

«Когда я приехал в Премухино, — писал он спустя год, 21 мая 1837 года, — ты открыл мне новый мир — мир мысли… Ты первый показал и доказал мне, что мышление есть нечто целое, нечто одно, что в нем нет ничего особенного и случайного, но все выходит из одного общего лона, которое есть бог, сам себя открывающий в творении». «Много, много мыслей услышал от тебя первого — ты не навязывал на меня свой авторитет, его наложило на меня могущество твоей мысли, бесконечность твоего созерцания. Много я теперь понимаю глубоко и понимаю через тебя»,[27] — писал он в октябре 1838 года.

Однако личные отношения двух этих людей складывались крайне сложно. Оба были наделены слишком яркой индивидуальностью, для того чтобы жить одной жизнью. Белинский к тому же обладал более тонкой душевной организацией, сложность этой дружбы доставляла ему страдания. Для Бакунина же проблема человеческих отношений в эту пору не играла значительной роли. Та или иная философская система, в которую был он погружен, составляла для него в тот момент основное содержание жизни. «Для тебя идея выше человека» — вот главный упрек, брошенный ему Белинским. «Между нами есть что-то общее — это разрушительный элемент; и в то же время в нас есть что-то противоположное, враждебное: что для меня составляет сущность, значение жизни, то для тебя — *хорошо между прочим;* основа и цель твоей жизни для меня — *хорошо между прочим.* С обеих сторон — отчаянная субъективность, и много диссонансов производила враждебная противоположность наших субъективностей. Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, беспрестанное стремление вдаль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть к настоящему моменту и к себе самому… порывание к общему от частных явлений — вот твоя характеристика; к этому надо еще присовокупить недостаток задушевности… нежности, если можно так выразиться, в отношениях с людьми, близкими к тебе. От этого-то тебе так легко было всегда говорить и повторять: „Ну расстанемся так расстанемся“, или: „Коли не так, так и не нужно“

и тому подобное, от этого-то так ты давил собою всех и любовь к тебе всех и всякого была каким-то трудом. По крайней мере я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как *любовь, которая похожа на ненависть, и ненависть, которая похожа на любовь».* [28]

Надо отдать должное Белинскому — он не только хорошо понимал Бакунина, но и во всех случаях стремился сохранять объективность по отношению к нему. В октябре 1838 года, когда первый период их дружбы завершился разрывом, он писал: «Всегда признавал и теперь признаю я в тебе благородную львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум, но в то же время признавал и признаю чудовищное самолюбие, мелкость в отношении к друзьям, ребячество, леность, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других». [29]

Недостатки эти, однако, не мешали успеху философской проповеди Бакунина. В гостиной ли Бееров, где собирались друзья Станкевича, в доме ли Аксаковых или на Маросейке, где снимали комнату Белинский и Бакунин, над собравшимися часто возвышалась «львообразная» фигура Бакунина, часто ночи напролет звучал его голос, убеждая, доказывая, увлекая слушателей.

Среди московских литературных салонов немалую роль играл салон Екатерины Гавриловны Левашевой. «То было одно из тех чистых, самоотверженных, полных возвышенных стремлений и душевной теплоты существ, — писал о ней Герцен, — которые излучают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается. В гостиных г-жи Левашевой можно было встретить самых выдающихся людей России — Пушкина, Михаила Орлова (не министра полиции, а его брата, заговорщика), наконец, Чаадаева, ее самого задушевного друга, адресовавшего ей свои знаменитые письма о России». [30] С 1831 года П. Я. Чаадаев жил во флигеле дома Левашевой на Новой Басманной. В другом флигеле одно время (1836 г.) снимал квартиру Бакунин. М. К. Лемке полагает, что он немало обязан был своим развитием соседу по флигелю. [31] Никаким материалом, подтверждающим эту мысль Лемке, мы не располагаем, однако бесспорно одно, что Бакунин был действительно частым посетителем вечеров и в доме Левашевой.

Помимо салонов и гостиных, существовало в Москве и еще одно место, где собирались литераторы и артисты. Это была кофейня, расположенная неподалеку от Театральной площади и прозванная литературной. Постоянными посетителями ее были

Щепкин, Ленский, Самарин, Кетчер, Катков, Белинский и многие другие. По воспоминаниям А. Д. Галахова, бывал там и Бакунин. Разговорам, дискуссиям, спорам не было конца. Это потом, спустя несколько лет, в 1843 году, мог он с иронией и чувством собственного превосходства писать из Цюриха брату Павлу: «Что Москва? Что Елагина, Грановский, старые молодые профессоры? Болтают, чай, не на живот, а на смерть, констатируют от нечего делать, братец ты мой! Эх, народец!» Пока же он сам с огромным пылом предавался этому занятию.

П. В. Анненков пишет, что одно время вообще Бакунин «господствовал над кружком философствующих». «Страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и, наконец, всегда как-то праздничная по форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Бакунина, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, им возвещаемым».[32]

Иначе объясняет влияние Бакунина на окружающих А. И. Герцен. «Бакунин обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, — пишет он, — причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине… Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он был всегда готов разъяснять, объяснять, повторять без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел свою войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим. Вся жизнь его была посвящена одной лишь пропаганде».[33] Страсть к пропаганде была врожденной чертой Бакунина. Он, отрицавший впоследствии в споре с Герценом колоссальное значение и силу слова и противопоставлявший слово делу, был всегда величайшим мастером слова, причем не столько печатного, сколько устного, высказанного в горячем споре, когда во что бы то ни стало надо было убедить противника, вселить уверенность в колеблющегося, смелость в слабого. И. С. Тургенев, пытавшийся создать в «Рудине» портрет Бакунина, верно отметил именно эту черту своего героя.

«А что касается до влияния Рудина, — говорил он словами Басистова, — клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания тебя переворачивал, зажигал тебя!»

Сила слова Бакунина, сила его обаяния вдохновила и Константина Аксакова, посвятившего ему восторженные стихи («Молодой крестоносец»), где Бакунин был представлен отважным бойцом за правое дело, за обетованную землю.

….Плащ крестовый знаменитый
Он накинул на плечо,
И горят его ланиты,
Сердце бьется горячо.
Кровь по жилам, точно лава,
Льется пламенной струей, —
Добрый путь тебе и слава,
Крестоносец молодой!..[34]

Что же проповедовал Бакунин?

После Фихте он принялся за Гегеля, «которого методу и логику, — по словам Герцена, — он усвоил в совершенстве и кому не проповедовал он ее потом? нам (то есть кружку Герцена.—Я. *П.)*и Белинскому, дамам и Прудону».

В 30-х — первой половине 40-х годов Гегель был подлинным властителем дум не только в Германии, где он создал еще ранее целую школу своих последователей, но и во многих странах Европы.

Этот виднейший представитель немецкой классической философии «впервые, — по словам Энгельса, — представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития».[35]

Однако философия Гегеля глубоко противоречива. Так, с одной стороны, правильно решая проблему истины, видя ее в историческом развитии человеческого познания, в движении от неполного знания к более полному, Гегель, с другой стороны, пытался представить свою философскую систему как выражение абсолютной истины. Учение Гегеля было подхвачено и поднято на щит как теми, кто в реакционных политических взглядах самого Гегеля и в его идеализме находил оправдание своим воззрениям («правые гегельянцы»), так и теми, кто брал за основу диалектику Гегеля, которая, по образному выражению Герцена, была алгеброй революции («левые гегельянцы»).

«Кто не жил в то время, — вспоминал впоследствии Бакунин, — тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине».[36]

Горячие споры вокруг философии Гегеля стали главным содержанием полемики в московских литературных салонах. «Люди, любившие друг друга, — писал Герцен, — расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа“, принимали за обиды мнения об „абсолютной личности“ и „о ее по себе бытии“. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней».[37]

В кружке, над которым, по словам И. И. Панаева, «парила тень Станкевича», после отъезда его за границу Гегель стал главным и единственным предметом изучения. «Один, — писал Панаев, — разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь».[38]

С Гегелем Бакунин начал знакомиться в первые месяцы 1837 года. Первые месяцы он только читал, летом стал конспектировать. «Феноменология духа», с которой он начал свою работу, показалась ему слишком сложной, отложив ее, он принялся за «Логику», затем «Философию религии», а потом снова вернулся к «Феноменологии». Шесть раз составлял он конспект первой главы, пока, наконец, смог усвоить сложные построения Гегеля.

Еще в мае 1837 года Бакунин писал сестрам: «Гегель дает мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им» (т. I, стр. 428).

В августе, обретя себя полностью «в абсолютном бытии», он перешел к толкованию новых философских истин, и, как всегда, первыми жертвами его пропаганды стали собственные сестры и сестры Беер. «…Я нашел полную истину своего существования, — писал он Наталии и Александре, — и туда я хочу перенести все, что дорого мне в этом мире. О, приходите туда, добрые, восхитительные друзья: только там дышится свободно, только там чувствуешь себя действительно свободным и преображенным. Сестрицы мои в отчаянии, что они так глупы, что, как ни бьются, никак не войдут в абсолютную жизнь» (т. I, стр. 57–58).

Но вскоре Мишель перешел к более широкой аудитории. По

свидетельству И. И. Панаева, он «с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей».

Как-то раз Бакунин пришел к Панаеву и принялся толковать ему «о примирении» на совершенно непонятном слушателю философском языке. «Утро было жаркое, — вспоминает Панаев, — пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом».[39]

Если Бакунин был главным теоретиком гегельянства в кружке Станкевича, то Белинский был первым его учеником в догматическом толковании отдельных положений немецкого философа, превзошедшим, как увидим дальше, своего учителя. В учении Гегеля, а главным образом в его знаменитом положении «все действительное разумно, все разумное действительно», Бакунин, а вслед за ним и Белинский нашли, казалось им, ответ на все волную щие их вопросы.

Это глубоко противоречивое высказывание Гегеля вызывало различные его толкования.

А. И. Герцен вернее других понимал эту формулу, полагая, что она выражает лишь закон причинности и вполне вмещается в рамки исторического детерминизма. Но среди современников Герцена многие склонны были рассматривать гегелевскую формулу буквально и крайне односторонне, обожествляя и превознося существующую действительность.

«Понять и полюбить действительность — вот все назначение человека», — толковал Бакунин сестрам.

Все, что разумно, то «благо и прекрасно», а разумна существующая действительность.

Свои восторги по поводу этой действительности Бакунин и изложил в статье — предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля, переведенным и опубликованным им в журнале «Московский наблюдатель», редактируемом Белинским.

«…Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности, — пишет Бакунин. — Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же. Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени… Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны.

…Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашей прекрасной русской действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительно русскими людьми» (т. II, стр. 177–178). Так писал в 1838 году будущий революционер, один из отважных борцов против «гнусной российской действительности».

Как случилось, что Бакунин и особенно Белинский (который пошел в восхвалениях всего существующего еще дальше своего друга) — люди, безусловно, честные — могли стать на эти позиции, поднять знамя борьбы против всякой критики существующего, против всех форм проявления какого бы то ни было либерализма? Причем оба они не были одиноки, напротив, они лишь выражали мнение всего кружка философствующих. «Дурно понятая фраза Гегеля, — писал по этому поводу Герцен, — сделалась в философии тем, чем некогда были слова христианского жирондиста Павла: „Нет власти, как от бога“».[40]

Но ведь были вокруг и другие люди и другие мнения. Ведь понял же Герцен, что если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него оправдана.

Но в том-то и было различие двух течений общественной мысли конца 30-х — начала 40-х годов, что одно из них — политическое, представленное Герценом и его кругом, — шло от конкретных задач борьбы с существующей действительностью; другое — аполитичное — шло от абстрактных поисков абсолютной истины, от абстрактного гуманизма.

Любовь к людям, к человечеству, о которой столь много говорили и писали Бакунин и его друзья, не была любовью действенной, любовью к конкретному русскому мужику, задавленному и униженному крепостной действительностью. Пренебрежение действительностью, политический индифферентизм дают горькие плоды. Человек, уходящий все дальше в область чистой мысли, теряет ориентацию в мире, его окружающем, и, возвратившись на землю, нередко путает правое с левым. Так случилось и с молодыми московскими философами.

Проблема «примирения с действительностью» лишь вначале понималась друзьями одинаково. По свидетельству Герцена, Бакунин ранее Белинского стал ощущать ложность подобного толкования Гегеля. «Революционный такт толкал его в другую сторону».

С Герценом Бакунин познакомился в 1839 году, близко же сошелся весной 1840-го. Герцен вернулся тогда из первой ссылки. Москва за его отсутствие стала иной. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Из прежних его друзей лишь Н. П. Огарев, Н. Х.

Кетчер и Н. М. Сатин были налицо. «Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевской философии в руках и с юношеской нетерпеливостью, без которой нет кровных, страстных убеждений».

Дружески сойдясь с Герценом, Бакунин и его попытался обратить в свою веру. «Мы провели вместе год, — писал Герцен, — Бакунин все более и более побуждал меня к изучению Гегеля; я же пытался внести в его суровую науку побольше революционных элементов».[41] Возможно, что в 1839–1840 годах известное влияние Герцена и сыграло свою роль. Однако еще осенью 1838 года Бакунин стал не столь прямолинейно относиться к проблеме действительности.

Обстоятельства личного порядка заставили его серьезнее призадуматься о жизни и о своем назначении в ней. В августе 1838 года он впервые столкнулся со смертью близкого человека. Умерла его сестра — Любаша. Эта юная девушка, исполненная, по словам Анненкова, «кроткой прелести», прожила недолгую жизнь. Ее любовь к Станкевичу, завершившаяся их обручением, не принесла ей счастья. Став женихом девушки, которую он, как казалось ему, любил, Станкевич начал сомневаться в полноте своего чувства к ней. «Я надеялся сделаться счастливым, счастливым безгранично, — писал он Неверову, — и думал получить это счастье внешним образом. Любовь — ведь это род религии, которая должна наполнить каждое мгновение, каждую точку жизни».[42] Но такого с ним не произошло. Измученный сомнениями и тяжелой болезнью, он уехал сначала на Кавказ, а потом осенью 1837 года за границу. Болезнь (туберкулез легких) Любаши развивалась стремительно, но письма Станкевича поддерживали ее. «Тотчас получила письмо ваше, — писала она 2 декабря 1838 года, — так весело, так светло сделалось на душе. Оно придало мне сил, здоровья — это лучшее лекарство».[43] Но лекарство это приходило все реже и реже. «Когда-то я получу от вас письмо? — писала она незадолго до смерти. — Бог знает, что я передумала в эти два месяца вашего молчания».[44]

Смерть Любови Александровны потрясла не только членов семьи Бакуниных, но всех их друзей. «Да, ее смерть — это откровение таинства жизни и смерти, — писал Белинский Мишелю. — Да, благодарность небу! Я знал, я видел ее, я знал великое таинство жизни не как предчувствие, но как дивное гармоническое явление… Мой милый, как бесконечно, как глубоко люблю я тебя в эту минуту. Не говори мне, что мы разошлись с тобой. Крепка наша связь, неразрывна, пока мы будем расходиться только в болезнях наших индивидуальностей».

[45]

«Индивидуальности» сказались тут же и выразились в острой полемике по вопросу о действительности. Трагическое событие, происшедшее в семье, заставило Бакунина серьезнее посмотреть на реальную жизнь. Он понял, что «отвлеченный идеализм, отвлеченная любовь» и «проза жизни» — разные вещи, что «идеальный дух» не знает ни жизни, ни самого себя, а «узнать себя можно только в осуществлении, в действительности» (т. II, стр. 202). Сама же действительность не казалась ему более достойной слепого поклонения.

Еще в конце августа Бакунин писал Белинскому: «Между нами явился новый предмет для полемики, — да, для полемики, будем называть вещи своими именами» (т. II, стр. 198). Этим предметом и была проблема действительности. Белинский, продолжая восхвалять действительность, упрекал Бакунина в слабости, в уступках, в непоследовательности. Признавая, что Бакунин сильнее его в теоретическом плане, тут же писал о том, что практически он не может «жизнью осуществить свои понятия».

«— Почему знать? — отвечает Бакунин. — Может быть, я нашел бы в своем запасе трансцендентальностей и логических штук такие доказательства, которые могли бы потрясти даже твою страшную действительность с ее стальными зубами и когтями» (т. II, стр. 204). В этих словах звучит не только ирония в отношении представлений Белинского, здесь заложена возможность иначе, не столь прямолинейно, понять «трансцендентальности» и «логические штуки» гегелевской системы.

Итак, уже в 1838 году у Бакунина появились элементы критического отношения к «всеобъемлющей и всеобъясняющей» формуле Гегеля. Год спустя, по свидетельству Герцена, Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться. Характерно, что похожее впечатление произвел Бакунин осенью 1839 года и на Т. Н. Грановского. 28 ноября он писал Станкевичу, что Мишель «стал смирнее и не так резок и абстрактен, как прежде».[46]

Но с Белинским ничего подобного пока не произошло, напротив, он пока все дальше и дальше шел вперед по пути обожествления действительности, отрицания в литературе и искусстве всего того, что не отражало эту повседневную действительность.

Непримиримость Белинского, его резкие выпады против всех, кто не разделял его взглядов, привели к распаду дружественного круга людей, к ссорам его с Бакуниным, Катковым, Боткиным. Впрочем, с Бакуниным дело было сложнее. Здесь виноваты были

оба, и оба во взаимных оценках, которые они высказывали в письмах к Станкевичу, были в чем-то правы.

«С Мишелем я расстался, — писал Белинский Станкевичу. — Чудесный человек, глубокая, самобытная, львиная природа! — этого у него нельзя отнять; но его претензии, мальчишество, офицерство, бессовестность и недобросовестность — все это делает невозможным дружбу с ним. Он любит идеи, а не людей, хочет властвовать своим авторитетом, а не любить».[47]

В свою очередь, Бакунин писал Станкевичу о Белинском: «Грустно за него, в нем так много благородного, так много святых элементов; его душа — широкая душа. Знаешь ли, Николай, страшно смотреть на него; да, я живо чувствую, что, несмотря на все его несправедливости ко мне, несмотря на грязное проявление этих несправедливостей, я не перестал любить его, не перестал принимать в нем самое живое участие» (т. II, стр. 242).

Один из главных источников расхождений в дружеском кругу заключался в непримиримом характере «неистового Виссариона». Вскоре он рассорился не только с Бакуниным, но и с Боткиным, которого горячо любил и в противоположность Бакунину считал натурой, отвечающей его представлениям о любви и дружбе.

Василий Петрович Боткин был сыном богатого московского купца, ведшего большую торговлю чаем. Отец не дал ему возможности получить университетское образование, а сразу же после окончания пансиона заставил молодого человека вести торговые дела. Однако стремление к знаниям и неплохие способности помогли молодому Боткину преодолеть недостатки образования. Проведя день в чайном амбаре, вечером он усиленно читал, совершенствовал свои познания в немецком и французском языках. Путешествие в 1835 году в Европу, знакомство с новейшими философскими учениями завершило его образование. Вернувшись в Москву, он познакомился с Белинским, который и ввел его в круг Станкевича. Друзья часто собирались в доме Боткиных. В беседке, находившейся в саду, он устроил изящный летний кабинет, где, по свидетельству П. В. Анненкова, проводил все свободные часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него европейских исследователей. Последнее обстоятельство объяснялось тем, что Боткин работал тогда над статьей о Шекспире.

Боткин близко сошелся с Бакуниным. Стиль, которым изъяснял он Мишелю свои дружеские чувства, был весьма характерен для идеалистов 30-х годов. «Я, Миша, понял и сознал в тебе то, что составляет святую сущность твоей жизни… И я люблю тебя в этой таинственной сущности твоего бытия, и с нею,

с этой сущностью, составляющей твое истинное „я“, навсегда я чувствую себя соединенным». Далее шел уже текст более конкретный, говорящий о том идейном влиянии, которое испытал Боткин от общения с Бакуниным. «…Через тебя первого узнал я те идеи, от которых спала повязка с моих глаз и я вошел в свободную сферу бытия…»[48]

Боткин стал частым гостем в Премухине. Вскоре у него завязался роман с сестрой Мишеля — Александрой. Любовь, казалось, была взаимной, но Бакунины не давали согласия на этот брак и пока просили Боткина подождать год. Василий Петрович «страдал», писал отчаянные и «страшные», по словам Т. Н. Грановского, письма невесте, а тем временем весело проводил время в кругу московских друзей.

«Вчера мы с ним были на вечере у Огаревых, — сообщал Грановский. — Очень весело было. Была музыка: играли квинтеты Бетховена и Гебеля… и потом играли комедию, в которой Боткин с достоинством представлял сержанта. В заключение Катков прочел приличное Gelegenheitsgedicht (подходящее к случаю. — *Н.П.*), в котором говорилось о всех участниках в этом празднике, о Боткине:

> Лицо от радости блистает,
> Но не от радости чело:
> Оно безрадостно блистает,
> Оно безрадостно светло».[49]

Подобные увеселения ранее были редкими в среде друзей Станкевича. Но теперь, когда кружок идеалистов распадался, когда появились новые люди, когда не было более, по существу, обособленных кругов Герцена — Огарева, Станкевича, а литераторы, философы, историки и журналисты разных в прошлом и в будущем направлений собирались в одних и тех же домах, — жизнь приобрела иной колорит.

Друзья Станкевича и друзья Герцена часто бывали вместе в гостеприимном доме М. С. Щепкина, собирались у Аксаковых, у Боткина, у Огарева. А однажды, как рассказывает Грановский, вся компания, где были и Бакунин, и Боткин, и многие другие, после бала в Дворянском собрании отправилась на веселый ужин, где Крюков предложил тост за категории гегелевской логики. «Я удрал, — пишет Грановский, — когда еще стояли в сфере Wesen (1-я часть логики), но Боткин der hat bis zu der Idee gebracht.[50] А весело было — кутили как-то от души».[51]

Белинский не принимал тогда участия в этих развлечениях. Он совсем «оторвался от нас, — жаловался Бакунин

Станкевичу, — я, Боткин и Катков сделались предметами его ненависти; и если верить его словам, то он даже презирает меня и Боткина» (т. II, стр. 239). Ближе легкомысленного в общем Боткина для Бакунина в конце 30-х годов был М. Н. Катков. Белинский тоже был с ним в дружеских отношениях. В ноябре 1837 года он писал Бакунину: «Славный малый — он далеко пойдет, потому что уже и теперь у него убеждение в мире с жизнью. Голова светлая, сердце чистое — вот Катков». Но у «славного малого» была одна особенность, которая, по словам Белинского, «дико поражала его». Это были глаза Каткова — «зеленые и стеклянные».[52] Бакунин же этой особенности не замечал. Его объединяли с Катковым философские поиски «внутреннего идеального мира». «Этим идеальным миром, — писал Бакунин, — должна быть, по крайней мере для меня, религия и философия, как единственно удовлетворяющие формы познания истины, а я крепко верю словам Спасителя: „И познайте истину, и истина освободит вас“» (т. II, стр. 244).

Потребность знания, «жажда ничем не удовлетворенная», как говорил Мишель, звала его в Берлин, в эту Мекку всех философов того времени. Он ждал от него «перерождения, крещения от воды и духа». Внутренняя неудовлетворенность, сложности характера, приводившие к ссорам с друзьями, стремление к деятельности при отсутствии возможности приложить к подлинному делу свои силы — все это создавало невыносимые для Бакунина условия жизни, заставляло его искать средства для поездки за границу.

Тонкий наблюдатель, Т. Н. Грановский, относившийся к людям без восторженности Боткина и резкостей Белинского, дал любопытную характеристику Мишелю: «в науке он может совершить великое, …но в сферах деятельной жизни он пикуда не годится. Для него нет субъектов, а все объекты — чудная натура! Может быть, без этих недостатков она не была бы так сильна. Любить его теплым чувством нельзя, но он у каждого вынудит удивление, уважение и участие. Что из него будет? Дай бог ему скорее попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности — иначе его убьет внутренняя работа. Разлады с собой и с миром у него каждый день сильнее…»[53]

Но с поездкой дело обстояло плохо. Денег не было. И пока шли хлопоты о средствах на путешествие, Мишель отправился в Петербург с целью добиться там разрешения на развод его сестры Варвары с мужем ее Дьяковым. Эта борьба «за освобождение Вареньки», которую с таким пылом вел Мишель, вообще занимала у него массу времени и стоила множества неприятностей в семье. Главная инициатива этого «освобождения» исходила не о г Вареньки, а от Мишеля. Причем шаги, им предпринимаемые,

часто были весьма фантастичны. Так и поездка в Петербург без всякого официального полномочия не могла, естественно, дать никаких результатов.

Однако Бакунин прожил в столице четыре месяца (с 16 июля до 14 ноября 1839 года). Он познакомился для Варенькиных дел с Л. В. Дубельтом, а для собственных литературных планов с редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским, возобновил свои связи с семьей Муравьевых, сначала примирился, затем снова поссорился с переехавшим в Петербург Белинским. По свидетельству А. Я. Панаевой, Бакунин в эти месяцы часто бывал у них в доме, где собирались Белинский, Н. В. Кукольник, И. П. Сахаров, К. П. Брюллов и др., по своему обыкновению знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов. «Бакунин был замечательным диалектиком, и я заслушивалась его из своей комнаты, отделявшейся только драпировкой от кабинета».[54]

За время, проведенное в Петербурге, Бакунин ничего не смог сделать для того, чтобы добыть денег на поездку в Берлин. Тогда 22 марта 1840 года он пишет длинное и весьма красноречивое письмо родителям, суть которого сводится к двум пунктам:

«1. Прошу Вас позволения ехать в Берлин.

2. Прошу Вас дать мне средства к совершению этой поездки».

Вскоре от Александра Михайловича приходит ответ нравоучительный и, как всегда, колоритный по стилю: «Письмо твое, друг мой Михайло Александрович, от 22 марта мы получили, и вот ответ наш, которого, по словам твоим, ожидаешь ты с каким-то новым страхом, опасаясь, чтоб просьба твоя о денежном пособии не умножила еще нашего к тебе презрения — за преступные поступки, в которых мы, по недостатку любви, тебя обвинили. Мы по врожденному чувству родительской любви не переставали тебя любить, несмотря на все твои не преступные, а совершенно безрассудные поступки. Ты, как новый Дон-Кихот, влюбился в новую Дульцинею и, увлекаясь мечтательными ее прелестями, совершенно позабыл все твои обязанности. Ты неоднократно повторял нам, что мы тебя не понимаем, но я, к сожалению своему, вижу, что именно ты не понимал нас и не понимал потому, что не понимал святой любви, в недостатке которой ты нас упрекаешь. Любовь точно так же мертва без дел, как и вера».[55] Далее Александр Михайлович соглашается с намерением Мишеля продолжать образование в Берлине, но сообщает, что денег в настоящее время дать не может и лишь обещает их в будущем по 1500 рублей в год.

Письмо это приводит Мишеля в отчаяние. Ехать он хочет немедленно, не ожидая поправки семейных материальных

обстоятельств. Из приятелей лишь один Герцен обещал ему ссудить денег, и вот теперь он пишет ему: «Ты видишь, Герцен, что я обращаюсь к тебе прямо и просто без всяких околичностей и отложив в сторону все 52 китайские церемонии. Я делаю это потому, что я беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни».[56] Герцен ответил, что он ссужает Бакунину 2000 рублей на неопределенное время. Так главный денежный вопрос был решен.

В конце мая 1840 года Мишель поехал в Премухино, пробыл там месяц перед отъездом в чужие края, а затем направился в Петербург. Билет на пароход был куплен заранее, и Бакунин успел лишь три дня провести в столице, но и эти дни были омрачены для него весьма скверной историей, происшедшей между ним и Катковым. Возможно, что известная бесцеремонность Мишеля в отношении чужих тайн сыграла здесь свою роль. Так или иначе, но по приезде в Петербург он был обвинен Катковым в том, что будто бы рассказывал московским знакомым о его романе с М. Л. Огаревой. Объяснение, происходившее на квартире Белинского и в его присутствии, кончилось тем, что Бакунин стукнул Каткова палкой по спине, а тот его ударил по лицу. После этого Мишель вызвал обидчика на дуэль, но на другой день одумался и послал ему записку с просьбой перенести место действия в Берлин, так как по русским законам оставшийся в живых поступает в солдаты. Так дело было отсрочено и, по существу, замято, но все общие приятели: И. И. Панаев, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, Языков — были в этом инциденте на стороне Каткова. Лишь Герцен держал нейтралитет, хотя и вынес впечатление, очевидно из этого случая, о «дурном характере» Бакунина.

Во всяком случае, 4 октября 1840 года, когда Бакунин покидал пределы своей родины, один лишь Герцен провожал его до Кронштадта. «Я расстался с ним, — писал он много лет спустя, — и до сих пор еще в моей памяти сохранилась его высокая и крупная фигура, закутанная в черный плащ и яростно поливаемая неумолимым дождем, помню, как он стоял на передней палубе парохода и в последний раз приветствовал меня, махая мне шляпой…»[57]

ГЛАВА II
«БЫТЬ СВОБОДНЫМ И ОСВОБОЖДАТЬ ДРУГИХ…»

Искать своего счастья в чужом счастье, своего достоинства в достоинстве всех окружающих, быть свободным в свободе других — вот вся моя вера.

М. Бакунин

Путешествие на пароходе от Кронштадта до Травемюнде заняло шесть дней. Несмотря на скверную погоду и шторм, Бакунин почти не покидал палубы. Море, в котором он очутился впервые, благотворно действовало на него.

«Оно, — писал он, — мало-помалу освободило мою душу от всех мелочей, томивших ее, и настроило ее к чему-то торжественному».

Из Травемюнде через Гамбург он направился в Берлин, куда и приехал 9 июля.

Берлин понравился путешественнику. Проживя здесь некоторое время, он констатировал: «Город хороший, музыка отличная, жизнь дешевая, театры очень порядочные, в кондитерских журналов много…» (т. III, стр. 33). Немцы, по его мнению, «ужасные филистеры» и вообще «пресмешной народ». Его особенно восхитили вывески на домах. На мастерской портного был изображен прусский орел, а под ним человек с утюгом. Надпись гласила: «Под твоими крыльями я могу спокойно гладить». На другом доме просто в стихотворной форме высказывались добрые пожелания королю. Звучало это так: «Да здравствует королевская чета, если возможно, тысячу лет. А если это кажется невозможным, то все же пожелание подсказано хорошим чувством».

Поселился Бакунин вместе с сестрой Варварой, которая приехала в Берлин, после того как на руках ее в Нови умер Станкевич. Приезд Мишеля и совместное их устройство отвлекли Варвару от грустных мыслей. Новые знакомые и весь образ жизни «отвечали потребностям нашего духовного существа» — так говорил Бакунин.

Начался последний период «духовного запоя». Он с азартом накинулся на изучение истории философии, логики, эстетики,

теологии, физики. Для порядка он даже стал студентом Берлинского университета. Днем, когда начинались занятия, он слушал лекции, вечерами занимался или вместе с Варенькой и новыми друзьями читал что-либо вслух, иногда все вместе слушали музыку, пели, спорили, веселились.

К науке он относился с полнейшим доверием. «Теперь я чувствую, что узнаю все, что мне нужно, и потому покоен». И далее в том же письме к Герцену: «Приезжай скорее сюда; наука разрешит все сомнения или по крайней мере покажет путь, на котором они должны разрешиться» (т. III, стр. 33–34).

Первым, с кем сблизился Бакунин в Берлине, был Иван Сергеевич Тургенев. Будущий писатель в то время переживал период духовного пробуждения. Вот как сам он писал о себе в письме к Бакунину: «Вообрази себе: в начале января (1840) скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение, его волнуют смутные мысли, он робок и бесплодно-задумчив… В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот или нет — начало развитие моей души?.. Станкевич, тебе я обязан моим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель… Я приехал в Берлин, предался науке — и, наконец, я узнал тебя, Бакунин! Нас соединил Станкевич и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, я едва ли могу сказать и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова» (т. III, стр. 430–431).

Весной Тургенев отправился в Россию. Там он познакомился с другими членами семьи Бакуниных, подружился с братьями и влюбился в Татьяну. Роман этот, как и другие романы сестер Мишеля с его друзьями, был неудачен. Возможно, по рассказам Мишеля о его любимой сестре Тургенев создал себе придуманный образ, который некоторое время оставался в его воображении и после знакомства с оригиналом. Татьяна вскоре поняла характер увлечения Тургенева и предложила ему «вечную дружбу». Спустя некоторое время появился рассказ Тургенева «Андрей Колосов», где нашел свое отражение этот «философский роман», а затем в 1848 году в другом рассказе, «Татьяна Борисовна и ее племянник», писатель зло и насмешливо изобразил и свое увлечение и его героиню — «добрейшее существо, но исковерканное, натянутое и восторженное».

Не лучше поступил Тургенев впоследствии и с самим Бакуниным. Образ Рудина, о котором мы говорили выше, написанный с точным портретным и некоторым психологическим сходством с Бакуниным, представляет человека хотя и весьма одаренного, но в общем холодного и даже пустого, растратившего весь свой пыл на поучения и ничего практически в жизни не

создавшего.

«Львиная грива» Бакунина, его рост, его внешняя привлекательность, красноречие, увлекавшее слушателей и заставлявшее их на время следовать призывам этого Демосфена, и вместе с тем его манера жить на чужой счет, его бестактность, страсть вникать во все чужие личные дела, все определять и разъяснять — все эти черты Рудина — Бакунина, убедительно и художественно правдиво написаны Тургеневым. Но другой, главной правды, правды революционной, страстной, самоотверженной натуры Бакунина, Тургенев не увидел. А ведь писал он свой роман в 1855 году, когда Бакунин был уже в Алексеевском равелине.

Недаром Н. Г. Чернышевский писал, что Рудин «вовсе не портрет Бакунина и даже не карикатура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина».[58]

Но «Рудин» писался через 15 лет после начала их дружбы, а пока, в Берлине, — все было иначе.

Год спустя после отъезда Тургенева в Россию Бакунин в письме к Татьяне просил ее напомнить Тургеневу обстановку их совместной жизни. «Напомни ему наши общие фантазии, предчувствия, надежды, напомни также, как, сознавая, что жизнь наша при всей полноте своей еще отвлеченная, идеальная, мы решились броситься в действительный мир, для того чтобы жить и действовать, и как вследствие такого благородного решения мы на другой день отправлялись к m-lle Solmar: он в зеленом, донжуановском бархатном, а я в лиловом, также бархатном жилете… Напомни ему также наши вечера у Вареньки после бетховенских симфоний, где за чаем и копчеными языками мы долго, долго говорили, и пели, и смеялись» (т. III, стр. 85–86).

Другом Бакунина и Тургенева вскоре стал тридцатилетний профессор Вердер. Несколько месяцев до этого он давал уроки логики Станкевичу. «Редкий молодой человек, — писал он тогда о Вердере, — наивный, как ребенок. Кажется, на целый мир смотрит он, как на свое поместив, в котором добрые люди беспрестанно готовят ему сюрпризы. Его беседы имеют спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, и становится самому лучше и сам становишься лучше».[59]

Чтобы не стеснять сестру, при которой был и ее маленький сын Саша, Мишель переехал на другую квартиру и поселился вместе с Тургеневым. Вечерами же они вместе отправлялись к Варваре Александровне, куда приходили Вердер со своей приятельницей мадемуазель Фроман, литератор Варнгаген фон

Энзе, поддерживавший и в последующие годы дружеские отношения с Бакуниным; бывал здесь Н. Г. Фролов — бывший гвардейский офицер, затем географ, живший в Берлине с 1837 года. Иногда все собирались у Фролова или в немецком доме, у Генриетты Зольмар.

Помимо философии, молодые люди серьезно занимались музыкой и литературой. «Часто слушаем вместе симфонии, квартеты (большей частью Бетховена) и оратории», — писал Бакунин.

Увлечение Бетховеном и Гёте было вообще характерным в те годы для русских. «Знание Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье, — замечал по этому поводу Герцен. — Философия музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них».[60]

В первое время своей жизни в Берлине Бакунин сошелся и с Германом Мюллером-Стрюбингом, вернувшимся после семилетнего тюремного заключения за участие в попытке организации восстания во Франкфурте. За время заключения Мюллер-Стрюбинг серьезно изучил древнюю и новую филологию и, живя теперь в Берлине, сотрудничал в ряде журналов и газет. Ко всем русским, попадавшем в Берлин, Мюллер испытывал огромную симпатию. «Виргилий философского чистилища, — писал о ном Герцен, — он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens»[61] (чистою мышления и немецкой выпивки). Однажды весной Мюллер пригласил Бакунина и Тургенева отдохнуть в городке Ней-Бранденбург, расположенном на берегу живописного озера. Здесь приятели предавались «трогательной лени». Только Бакунин, как писал Мюллер, «ежедневно после обеда удалялся на два часа под предлогом занятий логикой. Но когда я на днях как-то зашел в это время в соседнюю комнату, то через закрытую дверь услышал ужасающий храп и соп, показавшийся мне в высшей степени подозрительным. Бакунин утверждает, будто эти звуки производились сильным движением его духа в дидеротовской борьбе с объектом» (т. III, стр. 432).

Хорошо и в общем беззаботно прошел первый год берлинской жизни Бакунина. Принципиально ничто не изменилось в нем. Он

оставался тем же идеалистом, мечтателем, «студентом с Маросейки», как позднее назовет его Герцен, ищущим абсолютной истины в области духовной жизни и не замечающим, по существу, всего того, что бурно развивалось вокруг, в реальной живой действительности. Возможно, это была инерция московской жизни.

По крайней мере его многочисленные и, как всегда, весьма объемные письма к родным, особенно к своим сестрам и сестрам Веер, ничем по тону и стилю не отличаются от его московских писем-проповедей.

Но как ни отгораживался Бакунин от действительности категориями Гегеля, теологией и другими науками, рано или поздно этому должен был прийти конец. И если в России, где свободное слово было редкостью, где рутина повседневности, казалось, затягивала все живое, смелое, самостоятельное, политический индифферентизм Бакунина мог бы еще продолжаться, то здесь, па Западе, где политическая жизнь была открытой, он при своем активном характере не мог долго удержаться на вершинах философских абстракций.

В «Исповеди» потом он напишет, что первый год жизни в Берлине не читал газет, и это будет сознательной или скорее бессознательной ошибкой. Из письма его к Герцену от октября 1840 года известно, напротив, что всю прессу, обнаруженную в кондитерских, он читал подряд. Возможно, что это помогло ему в какой-то мере войти в курс политической жизни.

Осенью 1841 года Бакунин с Варварой Александровной и приехавшим в Берлин младшим братом Павлом отправились в Дрезден. Здесь он познакомился с одним из лидеров левых гегельянцев, Арнольдом Руге.

Руге заинтересовал Бакунина. «Он интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли и ясностью своего рассудка, чем спекулятивной способностью. Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического» (т. III, стр. 437) — так характеризовал он своего нового знакомого в письме к родным.

И Руге молодой русский гегельянец понравился. «Бакунин очень образованный человек и обладает крупным философским талантом», — заметил он в письме к своему брату. Вскоре их знакомство переросло в дружбу, причем молодой (Бакунин был моложе Руге на 12 лет) и безвестный еще русский философ стал оказывать влияние на признанного вождя левых гегельянцев.[62] Вскоре круг знакомств Бакунина в демократических немецких слоях стал более широким. Он познакомился с дрезденским

демократом Кесслером, издателем Вигандом и многими другими.

По пути из Дрездена в Берлин Бакунин открыл книгу Ламенне «Народная политика». Во время чтения «мне пришло много хороших мыслей о том, как теперь должно заниматься историей и политикой. Нынешней зимой я непременно стану осуществлять их; и это занятие мне тем ближе к сердцу, что именно теперь настало время, когда политика есть религия и религия — политика» (т. III, стр. 437).

Живой интерес к окружающей действительности, знакомство с политическими деятелями, политической литературой — с одной стороны, а с другой — философия в ее отвлеченных, абстрактных формах. Такое противопоставление при характере и темпераменте Бакунина было не в пользу науки. Впрочем, он писал, что сама Германия излечила его от «преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизнь, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье».[63]

Это слова из «Исповеди», написанной спустя много лет и со специальной целью.[64] Бакунин подчеркивал здесь лишь то, что считал нужным или интересным для человека, которому он адресовал свое послание.

Его корреспондент не любил Германии, ему приятно было прочесть, что в германской науке царят «смерть и скука». Писать же, что в той же Германии политическая жизнь была интересна и что именно она отвлекла его от абстрактной науки, он не стал.

В черновике письма графу Элиодору Сторжевскому, отобранном у Бакунина при аресте, он, не объясняя причин перехода к практической жизни, писал лишь, что в конце концов он образумился и понял, что «жизнь, любовь, действие могут быть поняты только через жизнь, через любовь и через действие. Тогда я совершенно отказался от трансцендентной науки… и душой и телом погрузился в практическую жизнь».[65]

Действительность, но не та идеальная, которой он поклонялся раньше, а живая, кипучая, революционная стала теперь его богом, и он тут же принялся внушать новую истину своим сестрам: «Только действительность может удовлетворить нас, и это потому, что только действительность есть сильная, энергическая, т. е. истинная истина. Все же остальное есть вздор, призрак и, если Варенька позволит употребить это выражение, постный идеализм» (т. III, стр. 437).

Вот как описывает этот «поворот» Бакунина А. И. Герцен: «Бакунин вначале поразил берлинских профессоров своим

воодушевлением, талантами и смелостью выводов… но скоро он соскучился и порвал с квиетизмом немецкой науки. Бакунин не видел другого средства разрешить антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы, и он все более и более становился революционером. Он принадлежал к числу тех молодых литератороз, которые протестовали в „Галльских летописях“, руководимых Арнольдом Руге, против бесплодного, аристократического и бесчеловечного понимания науки… против их бегства в область абсолюта, против их бездушного воздержания, мешавшего им принимать какое-либо участие в горестях и трудах современною человечества».[66]

В характеристиках, которые давал Герцен Бакунину, почти всегда присутствовало что-то от литературы. Впрочем, это относилось не только к Бакунину. Блестящий писатель, художник, обладающий своеобразным языком и литературным стилем, Герцен, создавая портреты своих современников, не стремился к фотографическому воспроизведению образа, тех или иных обстоятельств. Его мемуары, хотя в чем-то порой неточные, создавали картину эпохи, в целом, бесспорно, достоверную и исторически глубоко правдивую.

К Герцену, его словам о Бакунине, их личным отношениям нам придется обращаться еще по раз. Теперь же вернемся к приведенному выше отрывку.

«…Но скоро он соскучился», — пишет Герцен по поводу разрыва Бакунина с немецкой наукой, однако это лишь литературная фраза. Действительно, Бакунин по видел другого средства разрешить «антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы». К самой же идее борьбы пришел он потому, что не мог больше не принимать участия «в горестях и трудах современного человечества».

Ощущение своей сопричастности к человечеству и раньше было свойственно Бакунину. Но связанный путами идеалистической философской мысли, он искал эту сопричастность в сфере чистого разума. Постепенно живая (а не придуманная по Гегелю) действительность стала вторгаться в созданный им мир абстракций. Этот процесс начался еще в Москве, подспудно продолжался в последующие 3–4 года и, наконец, в Дрездене в 1842 году был завершен переходом на новые идейные позиции.

Известная сложность в духовном развитии молодого Бакунина, его весьма длительные и порой мучительные размышления над проблемой действительности заставляют не соглашаться с мнением биографа Бакунина Вяч. Полонского, считавшего, что «переход от философии к политике произошел

быстро, без борьбы, без думы роковой. Точно жил человек под властью наваждения. Но, проснувшись однажды, тряхнул кудрями — и наваждения как не бывало».[67]

Была и внутренняя борьба, были и думы, они помогли ему найти свое место в той обстановке политических дискуссий, которые царили в Германии 1842 года.

Время, проведенное в Дрездене, стало значительным для Бакунина. Он много размышлял о новом направлении своей жизни и пришел к выводу: чтобы освобождать других и призывать их к новой жизни, надо прежде всего освободиться и начать новую жизнь самому.

«Быть свободным и освобождать других — вот обязанность человека» — так сформулирует он эту мысль позднее, но уже теперь, порывая с областью чистого мышления и вступая в сферу практической борьбы, он прежде всего думает о внутренней свободе.

Самоотречение во имя борьбы за свободу — одна из определяющих черт Бакунина-революционера. Но эта черта не была для него органической, напротив, она сознательно усваивалась им. «Мне нужно много страсти и много самоотречения, забвения о себе самом», — размышлял он, вступая на новый путь.

Ну, а как же любовь? Ведь нашему герою только 28 лет и серьезного увлечения еще не было в его жизни.

«Знаете ли, друзья, — говорит он по этому поводу, — я почти отказался от нее; по крайней мере особенно искать не буду. Двум господам служить нельзя, а я хочу хорошо служить своему господину» (т. III, стр. 164).

В июле 1842 года Бакунин принялся за дело, которому суждено было положить начало его новой жизни.

«Я пишу статью на немецком языке, где сильно достается немцам и философам. Статья выходит изрядная и скоро кончится» (т. III, стр. 408).

Это и было первое упоминание в письмах Бакунина о его статье «Реакция в Германии. Отрывок, составленный французом». Статья была опубликована в октябре 1842 года за подписью Жюль Элизар в журнале «Немецкие ежегодники», издаваемом Руге. Псевдоним понадобился Бакунину для того, чтобы не привлечь внимания русского посольства в Дрездене.

Дав анализ направлений философской мысли в Германии, Бакунин остановился на роли народа. «Народ, — писал он, — бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему рождению и положению осужден

на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, — этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде угрожающее положение, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже признанных за ним». В осуществлении лозунга французской революции: «Liberté, egalité, fraternité» «(Свобода, равенство, братство») — увидел Бакунин возможность полного уничтожения существующего политического и социального мира. Он провозгласил: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!» (т. III, стр. 148).

Еще недавно далекий от политических и революционных интересов, Бакунин стал теперь в круг политических борцов и выдвинул революционные положения.

Выступление Жюля Элизара взволновало всех, кто интересовался вопросами философскими и политическими. С огромным интересом отнеслись к его статье в России. 7 января 1843 года А. И. Герцен записал в своем дневнике: «…Это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатии в настоящем и всего мира в будущем; он протягивает руку консерваторам, как имеющий власть, раскрывает им с неимоверной ясностью смысл их анахронического стремления и зовет в человечество. Вся статья от доски до доски замечательна».[68] Все это Герцен писал, еще не зная, кто в действительности является автором статьи.

Спустя месяц, 15 февраля, получив письмо от Бакунина, Герцен записал в своем дневнике, что Бакунин умом дошел до того, чтобы выйти из положения, в котором находился.

Статья Жюля Элизара произвела огромное впечатление на В. Г. Белинского. Оставив далеко позади ошибочные увлечения «идеальной действительностью», он занимал теперь подлинно революционные позиции, был властителем дум читающей молодежи. Статья старого друга заставила его пересмотреть свое отношение к нему. «М[ишель] во многом виноват и грешен, — писал он его брату Николаю, — но в нем есть нечто, что превышает все его недостатки, — это вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа».[69] Белинский и Боткин послали Бакунину свои восторженные отзывы о статье, он ответил им. Прерванные отношения с далекими друзьями были восстановлены.

Слова Бакунина о том, что страсть к разрушению есть творческая страсть, сказанные в 1842 году, стали как бы девизом

его жизни. Историк А. А. Корнилов назвал их пророческими и был прав. Прав он был и тогда, когда писал, что в то время они могли показаться «громкими, но лишенными смысла». Да вряд ли, думается нам, и сам Бакунин полностью понимал их смысл. Ведь не только анархистской, но и никакой другой программы он еще не имел. Мировоззрение его только начинало формироваться. Скорее всего это была мгновенная вспышка не разума только, но и чувства.

Со статьей, в которой впервые были сформулированы новые, революционные мысли Бакунина, было связано и его решение не возвращаться на родину.

Мир дела и борьбы был для Бакунина в Западной Европе, в России же его ждал жребий всех тех, кто осмеливался мыслить, протестовать, бороться, — тюрьма, ссылка, каторга.

9 октября он пишет брату Николаю: «После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думай, чтобы это было легкомысленное решение. Оно связано с внутренним смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это, — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россией и со всеми вами, как теперь, и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно ожидающая меня впереди на чужбине, и, несмотря на это, я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы» (т. III, стр. 121).

В письме к другому брату, Павлу, и Тургеневу Бакунин писал: «Что же мне делать, если я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что здесь мое место, что здесь я яснее все вижу, чувствую и знаю, что нужно? Я вас люблю, друзья, горячо люблю — и остаюсь здесь, потому что должен остаться» (т. III, стр. 163–164).

Эти строки бакунинских писем невольно напоминают письмо к друзьям другого изгнанника — Герцена, семь лет спустя также принявшего решение не возвращаться на родину. В марте 1849 года Герцен писал друзьям: «Остаюсь, потому что в Европе есть гласность, что борьба открыта, что можно будет работать и жить для „нашего“ дела».

И Герцен и Бакунин оставались в Европе для дела, для борьбы. Но положение Герцена было значительно тяжелее. Он

оставался в Европе после разгрома революций 1848 года, в Европе, в революционность которой он больше не верил, оставался для борьбы за освобождение России, хотя на близость этого освобождения не имел надежды. Бакунин же в 1842 году остался еще в предреволюционной Европе, полной революционных порывов и свежих мыслей.

Идеи, брошенные в начале века великими утопистами, давали теперь повсеместные всходы. Демократическая и революционная мысль росла, опережая развитие освободительного и революционного движения. На поверхности официальной европейской жизни порой все казалось спокойным, но мысли, которые не могли удержать ни режимные, ни сословные, ни цензурные преграды, невидимо подтачивали основы всех монархических систем. Среди различных политических направлений все большую роль начинает играть утопический коммунизм. Его идеи пропагандирует Кабе на страницах своего издания «La Populaire». К середине 40-х годов «Коммунистический катехизис», вышедший из-под пера Кабе, распространяется среди французских рабочих.

В 1836 году возникаем целая организация, проповедовавшая идеи утопического коммунизма: «Союз справедливых». Во главе союза стоят журналист Теодор Шустер, башмачный мастер Генрих Бауер, часовщик Иосиф Моль, студент Карл Шаннер и молодой портновский подмастерье Вильгельм Вейтлинг.

Борьбу католической церкви объявляет бывший священник, порвавший с церковью, Фелиситэ Робер Ламенне. Его книга «Слова верующего к народу» становится весьма популярной.

В 1840 году выходит «Что такое собственность?» Прудона. Резким обличением буржуазного мира звучат слова этого апостола анархизма: «Собственность — это кража».

Революционная, демократическая мысль пронизывает не только публицистику и философию. Она становится достоянием художественной литературы и поэзии. На сторону революции переходит Виктор Гюго, демократическими идеями наполняется творчество Жорж Санд. Поэты Гейне и Гервег призывают в своих стихах и песнях к борьбе против реакции. В эго же время несколько молодых поэтов, поклонников Гейне, образуют литературную группу «Молодая Германия».

Георг Гервег не был глубоким мыслителем, но демократическая настроенность его, стихи, полные гражданских и острых политических мотивов, создавали ему шумную славу.

В то время умы в Германии были сильно возбуждены. «Можно было ожидать, — пишет Герцен, — что пород этот, поседевший за книгой, как Фауст, захочет, наконец, как он, выйти на площадь

посмотреть на белый свет… В самый разгар этого времени показались политические песни Гервега. Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Гервега с Гейне могла только его жена. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а беранжеровы песни и „Марсельеза“, переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Гервега оканчивались иной раз in crudo[70] французским криком: „Vive la Republique!“,[71] и это приводило в восторг в 42-м году…»[72]

Отношение Герцена к Гервегу но ряду личных причин не было объективным, однако в общей оценке обстоятельств, сопутствующих успеху его музы, он был прав.

После выхода в свет книги «Стихотворения живого человека» Гервег совершает триумфальную поездку по Германии. Вся радикально настроенная интеллигенция приветствует его. Весной 1842 года Гервег приезжает в Дрезден.

Здесь-то Бакунин и познакомился с ним. Быстрое сближение с людьми, в чем-то ему импонирующими, было свойственно Бакунину. Вскоре Гервег уже жил в одной квартире с ним. С этих пор и началась его дружба с поэтом, а затем и с его невестой Эммой Зигмунд.

В начале 1843 года последовал указ о высылке Гервега из Пруссии. Бакунин также был взят под наблюдение прусской полицией.

Поэт решил не оставаться далее *вообще* в пределах Германии и отправился в Швейцарию. Бакунин уехал вместе с ним.

В Цюрихе, где поселились оба эмигранта, Бакунин вращался сначала среди радикально настроенной интеллигенции. Наиболее близок был он с Паоло Фридерико Пескантини, итальянским республиканцем, сторонником Мадзини, доктором прав и певцом, и женой его Иоганной. «Пескантини — это прекрасный и великодушный тип итальянца: очень страстный, очень образованный и вполне артист» (т. III, стр. 183) — так охарактеризовал его Бакунин в письме к брату.

С Иоганной отношения Бакунина приняли более сложный характер. Эта дама была настроена мистически-религиозно, но была умна, обаятельна, обладала большой волей и сильным характером. Мужа своего она не любила. Бакунин серьезно увлекся ею. Она отвечала ему взаимностью, но была весьма сдержанна. Несколько позднее, уже в Париже, в 1845 году, Бакунин решил начать борьбу за ее освобождение. «Я должен ее освободить… зажигая в ее сердце чувство ее собственного достоинства, возбуждая в ней любовь и потребность свободы,

инстинкта, возмущения и независимости…» — писал он Павлу, не называя имени дамы. Это инкогнито вызвало потом большой спор среди историков. Ю. Стеклов, полагая, что Бакунин был не способен на подобное увлечение, утверждал, что речь идет о революции. Нетлау, А. Корнилов и Вяч. Полонский считали, что слова: «Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, люблю свято и деятельно», относятся именно к Иоганне. Я думаю, что как письмо к Павлу, как и тюремная переписка 1850 года (о которой речь будет ниже) с сестрой Рейхеля Матильдой — приятельницей Иоганны — свидетельствуют об определенных чувствах Бакунина к этой женщине.

Но вернемся к событиям начала 1843 года, к тому кругу, в котором вращался Бакунин в Швейцарии. В январе в письме к А. Руге, приглашая его в Цюрих, Бакунин писал: «Я думаю, что Вам здесь понравится. Кружок не велик, но действительно очень приятен и душевен» (т. III, стр. 174).

В кружок этот входили: Гервег, семья Пескантини, немецкий поэт и политический деятель Август Фоллен, ученый и публицист Юлий Фребель, уехавший из Германии и основавший в Цюрихе издательство с целью пропаганды демократических республиканских идей.

Дружеские отношения завязал Бакунин и с семьей профессора Филиппа Фридриха Фохта. Это была свободомыслящая и даже радикально настроенная семья, в которой было четверо взрослых сыновей, со старшим из них Карлом, профессором-натуралистом, впоследствии был близко связан и А. И. Герцен. Бакунин же из сыновей Фохта наиболее близок (в течение всей жизни) был с Адольфом.

Материальное положение Бакунина во время жизни в Цюрихе оказалось почти катастрофическим. Еще в Берлине, а затем в Дрездене он сделал массу долгов. Руге отдал ему значительную часть своих сбережений и поручился за него у других кредиторов. Бакунин надеялся на деньги из дома. К тому же Тургенев, уезжая в Россию, обещал выслать ему необходимую сумму и попробовать уладить его материальные отношения с семьей.

Но время шло, а денег или надежд на их получение не было. Александр Михайлович не хотел продавать части имения, для того чтобы выделить старшему сыну его долю. Свободных же денег у него не было. Пятеро других сыновей и три оставшиеся дочери требовали немалых расходов.

Легкомысленное отношение к деньгам с ранних лет было свойственно Бакунину. Первые свои долги он сделал еще в 16 лет в артиллерийском училище. Живя потом в Москве и постоянно нуждаясь в деньгах, он брал в долг у всех, кто мог ему дать,

нимало не беспокоясь о том, когда и как он сможет их вернуть. Но надо сказать, что с той же легкостью он раздавал деньги всем нуждающимся в те редкие моменты, когда эти деньги появлялись у него. Эта черта характера Бакунина вызывала постоянное раздражение у Белинского.

«Тебе спросить у другого: „Нет ли у тебя денег?“ — все равно что спросить: „Нет ли у тебя щепок?“ — говорил он Мишелю, — и ты берешь деньги как щепки; но зато ты и отдаешь их как щепки». Разночинец, упорным трудом зарабатывавший каждую копейку, не имевший возможности и морального права рассчитывать на чью-либо помощь, Белинский не мог понять этой дворянской распущенности своего друга.

Впоследствии один из парижских знакомых Бакунина, Карл Грюн, заметил, что Бакунин, очевидно, не понимал, «что человек должен жить трудами рук своих, а думал, наоборот, что „жить“ есть нечто такое, что разумеется само собой».[73] Однако следует заметить, что в привычках своих и быте Бакунин был крайне сдержан. Он действительно умел сводить свои потребности к нулю, как свидетельствует Герцен. Отказывая себе во всем, он не только не жаловался, но и страдал от этого меньше, чем другие.

Как в молодые годы, так и на закате своих дней Бакунин не изменял своего отношения к деньгам. Вот какой эпизод рассказывает В. Дебогорий-Мокриевич. Однажды, будучи у Бакунина, он сказал ему о своем намерении отправиться в Богемию. Бакунин тут же достал путеводитель, высчитал, сколько понадобится средств на это путешествие, и после этого «потребовал, чтобы я показал ему свой кошелек».

Дебогорий объяснил ему, что в Богемии у него есть приятели, которые смогут помочь ему.

«— Ну-ну, рассказывай, — возразил Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил ее и, сопя, отсчитал 30 с лишним франков и передал мне.

Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я принужден был их взять.

— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю, — проговорил я.

Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.

— Кому? Мне вышлешь? — спросил, наконец, он, потом добавил: — Это я тебе даю не свои деньги.

— Кому же переслать их в таком случае?

— Большой уж ты собственник. Да отдай их на русские дела, если уж хочешь непременно отдать».[74]

Однако, если в зрелом возрасте безденежье стало привычным и естественным состоянием Бакунина, хотя и доставлявшим ему, связанному уже семьей, немалые страдания, то в молодости он

первое время еще пробовал иногда отдавать долги. Вот что, например, писал ему Боткин в июне 1839 года:

«Письмо твое, но главное, не письмо, а 800 рублей — я с величайшим наслаждением получил и распорядился ими, как ты пишешь. Клюшникову вчера отвез сам; Северину (книгопродавец) отдал ныне, хоть книги твои и не получены, — но ничего, это будет больше чести. Сам с благоговением взял 60. Эти деньги постараюсь сохранить на память, как вещь необыкновенную, т. е. выходящую из твоего обыкновения!!!»[75]

Невозможность отдать долги, сделанные за первые два года жизни в Европе, и отсутствие средств к дальнейшему существованию заставили Бакунина серьезно задуматься над своим положением. Зарабатывать литературным трудом в то время он не хотел, так как считал, что подобная работа, обусловленная получением гонорара, стеснит свободное изложение его мыслей. Выход из положения он увидел в том, чтобы стать пролетарием и зарабатывать деньги «в поте лица».

Решение это он принял в марте 1843 года. Сообщив о нем Руге и брату Павлу, он совершенно успокоился насчет своей будущности.

Не спеша претворять в жизнь свои планы, он отпра вился в апреле на Женевское озеро, к Пескантинн, откуда послал Руге письмо, полное бодрости и революционного оптимизма: «…Так сильно наше дело, — писал он, — что мы, кучка разбросанных повсюду людей со связанными руками, приводим в ужас и отчаяние мириады наших врагов нашим боевым кличем» (т. III, стр. 215).

Письмо это и ответ на него Руге были опубликованы в «Немецко-французских ежегодниках» (№ 1–2, 1843), издававшихся в Париже под редакцией К. Маркса и А. Руге. Журнал открывался письмами Маркса, Фейербаха, Руге и Бакунина.

Превратности судьбы человека, отдавшегося служению революции, не позволили Бакунину практически осуществить свое намерение стать пролетарием. Естественно, что профессиональный революционер, преследуемый, как увидим дальше, почти во всех странах Европы, влекомый своими революционными планами, а также политическими обстоятельствами в различные города, не имеющий никакой определенной рабочей профессии, не мог так просто стать рабочим. Обстоятельства же и собственный революционный темперамент все больше и больше втягивали его в водоворот политической борьбы.

Определенную роль в дальнейшем развитии его взглядов и

деятельности сыграло знакомство с Вильгельмом Вейтлингом. С идеями Вейтлинга Бакунин познакомился впервые в январе 1843 года. «Недавно вышло первое немецкое коммунистическое сочинение некоего портного Вейтлинга,[76] — писал он А. Руге. — …Это действительно значительная книга». Далее он выписывал наиболее поразившие его места. Характерно, что все они говорили о необходимости социальной революции, которая решительно бы расправилась «со всем старым хламом».

«Налогами и милостынею, законами и карами, прошениями и религиозными утешениями здесь горю не поможешь. Старое зло въелось слишком глубоко. Разрыв между добром и злом должен быть произведен путем катастрофы. Она не преминет разразиться, если каждый по мере сил будет стараться ее подготовить» (т. III, стр. 176), — писал Вейтлинг. Именно эти его мысли и привлекли Бакунина, вызвали желание познакомиться с их автором.

Вейтлинг был незаурядной фигурой и среди пестрых рядов европейской демократии.

Внебрачный сын французского офицера и немки из Магдебурга, Вейтлинг с ранних лет познал все виды лишений. Единственное образование, которое могла дать ему мать, состояло в том, что он был отдан в учение к портному. Когда подошел срок военной службы, молодой подмастерье решил уклониться от этой нелегкой и бессмысленной в его глазах обязанности и, покинув родной город, отправился путешествовать по разным странам Европы. Очутившись в Париже, он попал в сферу влияния бланкистских кружков и вскоре сам стал исповедовать идеи утопического коммунизма. Лишенный систематического образования, Вейтлинг много читал, хорошо знал полную нищеты и горя жизнь пролетариев Европы, обладал искренностью, темпераментом и страстью подлинного борца за интересы угнетенных.

В 1836 году в Париже Вейтлинг примкнул к организации утопических коммунистов — «Союзу справедливых» — и вскоре написал для него программную работу «Человечество каково оно есть и каким должно быть». Весной 1841 года он переехал в Швейцарию с тем, чтобы вести здесь революционную агитацию среди немецких ремесленников. Ему удалось выпустить четыре номера журнала «Крик о помощи немецкой молодежи», а с 1842 года начать издание ежемесячника «Молодое поколение». В том же году он опубликовал и основное свое произведение «Гарантии свободы и гармонии». Издать эту книгу при отсутствии средств было нелегко. Четверо рабочих отдали Вейтлингу для этой цели все свои сбережения, а когда тираж (2 тыс. экз.) был отпечатан,

около трехсот рабочих выкупили его у издателя и распространили в Германии, Швейцарии, Австрии.

Что же проповедовал Вейтлинг?

Он отрицал правительства, частную собственность, буржуазные свободы и борьбу за них, высмеивал все формы и виды парламентаризма, считал единственным средством раскрепощения человечества — революцию. Задачу же революционеров видел он в возбуждении недовольства — «чувства возмущения», которое и должно привести к целому ряду социальных переворотов. Для ускорения этого процесса он предлагал использовать социальные низы города, вплоть до уголовных преступников, чьи действия помогут дезорганизовать жизнь современного общества.

В книге «Гарантии…» эту последнюю идею он выразил еще несколько туманно.

Подробнее же он высказался в переписке с руководителями «Союза справедливых». Он предлагал создать армию в 20–40 тысяч человек из деклассированных, отчаявшихся городских низов и начать борьбу с существующим общественным порядком, и прежде всего с институтом частной собственности.

Предложение это вызвало единодушный отпор среди руководителей «Союза». Эвербек писал Вейтлингу: «Конечно, передача частной собственности во всеобщее пользование является нашим принципом, но этому принципу не должны противоречить те средства, которые мы выбираем для его осуществления… Неверными средствами нельзя достигнуть правильно намеченной цели… Если постоянно соприкасаться с этими 20 000 молодцами, к[оммунис]ты начнут действовать с ними заодно, кто их тогда отличит от этих 20 000?.. Предложенное тобой средство вредно, потому что оно безнравственно и никакого противоядия против этой безнравственности оно не содержит в себе».[77]

«Подобные предприятия являются истинными рассадниками предательства, — отвечал Вейтлингу Август Беккер. — А атмосфера мрака и тайны и революционное возбуждение, господствующие вокруг, необычайность и рискованность предприятия, в котором можно себе шею сломать, неуверенность в успехе всей затеи, — все это возбуждает самые дурные страсти человеческой души, все это нарождает предателей и ренегатов».[78]

Авантюристические планы Вейтлинга вызвали вполне справедливую критику его товарищей, но на Бакунина они произвели совсем иное впечатление.

Вопрос о роли социальных низов города в будущей

революции занял впоследствии определенное место и в его взглядах. Впервые же теоретически он столкнулся с этой проблемой в беседах с Вейтлингом.

Познакомились они зимой 1843 года. Для Бакунина в Вейтлинге было интересно все: его идеи, его жизнь, его опыт борьбы. Это был первый пролетарий, которого он близко узнал. В «Исповеди» Бакунин писал, что был рад «узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился; он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства».[79]

Вейтлинг часто навещал Бакунина; раскрывая перед русским эмигрантом незнакомый ему быт рабочих, рассказывал об их надеждах и тайной борьбе, вводил его в курс своих планов преобразования мира.

Оценив, очевидно, потенциальные возможности блестящего пропагандиста и агитатора уже по его первой статье «О реакции в Германии», руководители «Союза справедливых» сочли небесполезным привлечь Бакунина на свою сторону. «Мы хотели бы, — писали они Вейтлингу, — чтобы ты заключил очень тесный и интимный союз с Фребелем и Бакуниным; это будет полезно тебе и твоему делу».[80]

С несколько иными целями решено было привлечь к деятельности «Союза» и Георга Гервега. Вот как весьма откровенно писал по этому поводу Вейтлингу Август Беккер: «И я, милый друг, заметил его желтые сапоги и морщил по этому поводу нос (это насчет щегольства Гервега. — *Н. П.)*. Но это ничего. Его жена, милая, задорная бабенка, гак наряжает его. Его не следует отпугивать. Погоди немного; мы потом воспользуемся для наших целей частью его дукатов, а если он их не даст, то выпустим книжку под заглавием: „Гервег — обыкновенный смертный“ и т. д. Однако все это между нами. Этих строк не показывай ни одной собаке».[81]

Сделать Гервега коммунистом не удалось. Не спешил примкнуть ни к какому определенному социальному учению и Бакунин, хотя идеи утопического коммунизма не прошли мимо его сознания и даже на какой-то период сильно увлекли его.

Свою точку зрения выразил он в статье «Коммунизм», опубликованной в июне 1843 года в газете «Швейцарский республиканец», издаваемой в Цюрихе.

Отмежевавшись от коммунизма в начале статьи («Во избежание недоразумений мы раз навсегда заявляем, что мы

лично не коммунисты…»), Бакунин писал, что само по себе учение это содержит элементы, «которые мы считаем в высшей степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования, а в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы» (т. III, стр. 224).

Для доказательства жизненности этого учения Бакунин прибегает к бесспорному, с его точки зрения, аргументу: «Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается».

Как и в первой своей статье, Бакунин обращается к народу, называя его «единственной творческою почвою, из которой только и произошли все великие деяния, все освободительные революции».

Подчеркивая революционный характер эпохи, начатой Великой французской революцией, Бакунин пророчествует, что грядущий «всемирно-исторический переворот» будет не только политическим, но и религиозным. «Не следует предаваться иллюзиям: речь будет идти не меньше, чем о создании новой религии, о религии демократии, которая под старым знаменем с надписью „Свобода, равенство и братство“ начнет свою новую борьбу, борьбу на жизнь и смерть» (т. III, стр. 230–231).

Статья «Коммунизм» была вторым произведением, свидетельствующим о взглядах Бакунина периода 1842–1843 годов. Взгляды эти, как видно из сказанного выше, все еще находились в стадии становления. Бесспорными были лишь его революционно-демократические позиции. Во всем остальном он продолжал жадно впитывать в себя все новые учения, теории, ни к чему не примыкая, ни за кем не следуя. Однако швейцарские власти были другого мнения о деятельности и идеях Бакунина.

В мае 1843 года Вейтлинг объявил в печати о готовящемся выходе своей новой книги — «Евангелие бедных грешников». В этой работе он попытался поставить христианство на службу революции. Уже одно изложение содержания книги дало повод духовной консистории Цюриха обвинить автора в богохульстве. Против Вейтлинга было возбуждено судебное преследование. 9 июля 1843 года, возвращаясь ночью с рабочего собрания, он был схвачен и заключен в тюрьму. Среди материалов, отобранных у Вейтлинга при обыске, были и письма, в которых упоминался «великолепный парень» Михаил Бакунин. Цюрихская полиция проявила сильный интерес к этому «парню», и Бакунину срочно пришлось покинуть пределы кантона.

Варвара Александровна Бакунина.

Александр Михайлович Бакунин.

Михаил Бакунин. Автопортрет, ориентировочно 1829 г.

Премухино. Рис. Н. С. Бакуниной.

Премухино. Церковь, архитектор Н. А. Львов.

Премухино. Комнаты в доме Бакуниных.

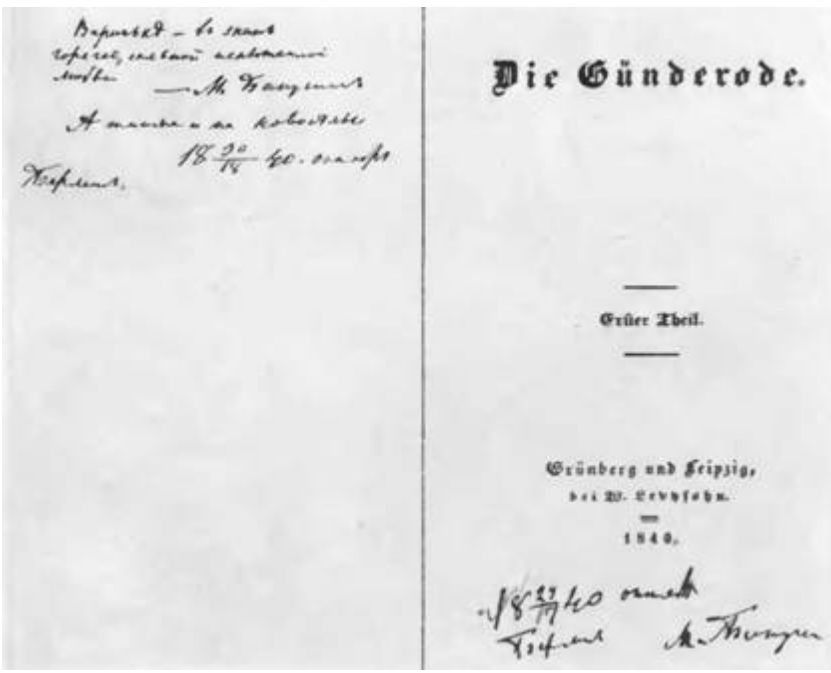
Сестры. Рис. из альбома Н. С. Бакуниной.

Михаил Бакунин. Автопортрет, 1838 г.

В. Г. Белинский.

Н В. Станкевич.

В. А. Бакунина, сестра М. А. Бакунина.



Die Günderode.

Erster Theil.

Gründberg und Leipzig,
bei W. Levysohn.
1840.

Титульный лист книги Гёте, подаренной М. А. Бакуниным сестре Варваре. 1840 г.

Гегель. Портрет работы М. А. Бакунина.

В. Вейтлинг.

А Руге.

П. Ж. Прудон.

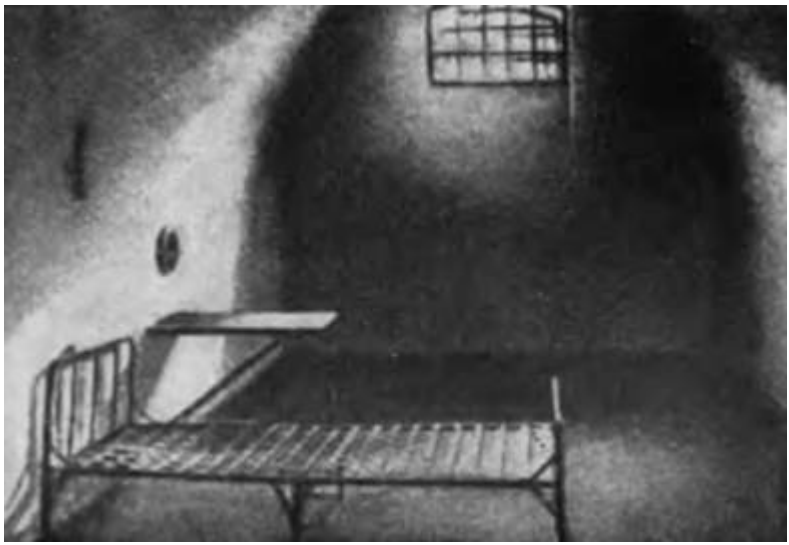
Карл Маркс.

Парижский клуб. 1848 г.

Париж. Вторжение в зал Национального собрания 15 мая 1848 года.

М. А. Бакунин. 1843 г.

Майское восстание в Дрездене. Штурм арсенала. 1849 г.



Камера М. А. Бакунина в Шлиссельбургской крепости.

Т. А. Бакунина, сестра М. А. Бакунина.

Сосна близ Премухина, у которой М. А. Бакунин простился с семьей, уезжая в ссылку.

Н. Н. Муравьев-Амурский.

М. С. Корсаков.

Томск. Вторая половина XIX века.

Иркутск. Вторая половина XIX века.

В связи с делом Вейтлинга цюрихским правительством была создана специальная комиссия по расследованию коммунистической пропаганды в Швейцарии. Профессор И. К. Блюнчли, возглавлявший комиссию, опубликовал свой доклад правительству: «Коммунисты в Швейцарии». Ф. Энгельс писал по этому поводу: «Доклад был составлен доктором Блюнчли, аристократом и фанатическим сторонником христианства, и все им написанное поэтому больше напоминает пристрастный донос,

нежели хладнокровный официальный доклад».[82]

4 ноября 1843 года Герцен, внимательно следивший за европейской прессой, записал в своем дневнике: «Первое, что удивило в этой книге (доклад. — *Н. П.*), — это фамилия Бакунина, названного не токмо в числе коммунистов, но упомянутого как один из menins (руководителей. — *Н. П.*). Они были захвачены, след., и он. Странная судьба этого человека. Пока он был в России, этого конца предсказать было нельзя. Jules Elysard указал великую перемену — его консеквентность (последовательность. — *Н. П.*) не могла остановиться. Что с ним будет?»[83]

Предположение Герцена о том, что и Бакунин был «захвачен», было лишено оснований, однако ряд неприятных последствий не замедлил сказаться. Помимо агентов цюрихского правительства, за ним стали следить и русские агенты III отделения собственной его величества канцелярии.

В сентябре 1843 года русский поверенный в делах в Швейцарии А. Струве сообщил министру иностранных дел Нессельроде о связи русского подданного М. Бакунина с коммунистами, а также о его переездах из кантона в кантон в Швейцарии и о том, что в русские посольства он нигде не являлся. В числе преступных деяний Бакунина Струве перечислял и знакомство его с Гервегом, «составившим себе печальную репутацию своими революционными и безбожными стихами».

5 октября копию сообщения Струве Нессельроде передал шефу жандармов графу Бенкендорфу. Через министра внутренних дел тверской губернатор был запрошен о семье Бакуниных. В ответе, пришедшем из Твери, сообщались в общем положительные данные, однако оговаривалась особенность детей старика Бакунина: «…любя все отвлеченное, они занимаются исключительно изучением систем новейших философов, тем самым выводят себя из круга обыкновенных людей. Более прочих отличался восторженностью своею старший сын сего семейства Михаил, находящийся за границей. Его внушениям приписывают нынешнее положение братьев и сестер, которые, находясь при родителях, умствованиями своими… нередко нарушают семейное спокойствие».[84]

Получив это донесение, Бенкендорф лаконично написал на нем: «К отцу. Денег не посылать, его вытребовать. А когда приедет — надзор».

Однако отец к этому времени сам не знал, где находится его блудный сын. Он мог сообщить только, что ввиду расстройства своих дел уже несколько месяцев не посылал сыну денег. В отношении же возможных прегрешений Мишеля сообщал, что не

может поверить, «чтобы он, изменив долгу своему и присяге, действительно питал какие-либо вредные отечеству своему замыслы».

1 декабря 1843 года Бенкендорф распорядился поручить всем русским заграничным посольствам и миссиям объявить Михаилу Бакунину, чтобы он немедленно, не ссылаясь ни на какие предлоги, возвратился в Россию.

В феврале 1844 года находящийся в Берне Бакунин был вызван к Струве, который и передал ему предписание Бенкендорфа. Бакунин выдал Струве расписку в том, что он знаком с предписанием, а на другой день уехал из Берна, послав Струве по дороге записку, в которой сообщал, что не может выполнить распоряжения русских властей, так как срочные дела призывают его в Лондон.

Однако на самом деле он оставался в Швейцарии, переезжая из города в город и, по сообщениям агентов, повсюду поддерживая сношения «с самыми радикальными элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительств и существующего общества».

Царь, которому Бенкендорф доложил об ослушнике, распорядился поступить с ним «по всей строгости закона».

Все российские послы получили задание сообщить «правительствам всех земель», где может оказаться Бакунин, о его вредности для всех государств. Франкфуртские власти Германии в угоду русскому царю издали циркуляр, обязывающий все немецкие правительства арестовать Бакунина в случае, если он появится на их территории.

Министр юстиции Панин предложил Правительствующему сенату рассмотреть дело о Бакунине. Сенат признал его виновным «в преступных за границей сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, за что постановил лишить его чина и дворянского достоинства и сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь, в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде таковое окажется, взять в секвестр» (т. III, стр. 468). На этом решении Сената 12 декабря 1844 года царь написал: «Быть по сему».

Так политическая эмиграция Бакунина стала юридическим фактом. Он же тем временем, порвав последние нити, официально связывающие его с родиной, отправился из негостеприимной Швейцарии в Брюссель.

В 1843 году Бакунин близко познакомился и подружился с германским музыкантом и композитором Адольфом Рейхелем, с

которым встретился еще в Дрездене. Последний был увлечен Бакуниным, его многообразной одаренностью, в том числе и музыкальной, и стал верным спутником во многих его скитаниях. Дружба эта продолжалась в течение всей жизни Бакунина. Мария Каспаровна Рейхель (урожд. Эрн), вторая жена Рейхеля, близкий друг и помощник А. И. Герцена в делах «Колокола», стала также другом Бакунина.

Вот что пишет Бакунин о Рейхеле в своей «Исповеди»: «Я должен сказать о нем несколько слов, [ибо] имя его упоминается довольно часто в обвинительных документах: Adolph Reichel, прусский подданный, компонист и пианист, чужд всякой политики, а если и слышал об ней, так разве только через меня. Познакомившись с ним в Дрездене и встретившись потом опять в Швейцарии, я сблизился, подружился; он мне был постоянным истинным и единственным другом; я жил с ним но разлучно, иногда даже и на его счет, до самого 1848 года».[85]

Из Швейцарии Бакунин выехал вместе с Рейхелем. По пути они на несколько дней заехали в Париж, куда Бакунина влекло теперь так же, как в пору увлечения гегельянством в Берлин. Из столицы Франции распространялись многие социальные идеи, которые так живо интересовали его.

Несколько дней, проведенных в Париже, оказались весьма плодотворными для Бакунина. Сохранилось одно его письмо, которое Ю. М. Стеклов датирует мартом 1844 года: «Милый Бернайс! Толстой хотел еще вчера пойти со мною к Вам, но ему что-то нездоровится. Он просит Вас сегодня вечером между 7 и 12 зайти к нему. Будут также Гервег, Маркс и компания» (т. III, стр. 233).

Существует и письмо Руге к Кехли от 24 марта 1844 года: «Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела: русские — Бакунин, Боткин, Толстой (эмигранты, демократы, коммунисты), Маркс, Рибентроп и я, и Бернайс; французы — Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер» (т. III, стр. 461).

Оба эти письма свидетельствуют как о знакомстве Бакунина с К. Марксом, очевидно состоявшемся в его первый приезд в Париж, так и вообще о довольно широких связях, которые уснел он установить к этому времени.

Кто же были эти люди, с кем встретился Бакунин? Фердинанд Бернайс, немецкий журналист, эмигрировавший в Париж, сотрудничал в это время с К. Марксом в «Немецко-французских ежегодниках», был также соиздателем Г. Бернштейна в газете «Форвертс».

Видным представителем утопического социализма и

писателем был Пьер Леру. Основрхую его философскую работу «Человечество, его начало и его будущее», вышедшую в 1840 году, хорошо знал Бакунин. Другой утопический социалист, Луи Блан, был уже с 30-х годов известным и популярным журналистом, членом редакции демократической газеты «Реформа» (с 1843 г.). Наибольшую известность принесли ему книги «Организация труда», вышедшая в 1840 году и представлявшая собой своеобразный план социального преобразования общества, и историко-публицистическая работа «История десяти лет (1830–1840)» (изд. 1841–1844), направленная против Июльской монархии во Франции.

Так же как Луи Блан, немалую роль в последующих революционных событиях во Франции играл и другой знакомый Бакунина — Феликс Пиа. Но если первый стал в общем умеренным либеральным деятелем, то последний прославился своим крайним революционным авантюризмом. Уже в начале 40-х годов этот политический деятель, публицист и драматург был широко известен как боевой сотрудник левой республиканской парижской прессы.

Колоритной фигурой в этом обществе был Григорий Михайлович Толстой. Богатый казанский помещик, известный в своем кругу как отличный исполнитель цыганских песен, ловкий игрок, опытный охотник, он в то же время с молодых лет отличался большим свободомыслием. Так, будучи в дальнем родстве с декабристом В. П. Ивашевым, он в 1838 году тайно ездил в Туринск к нему на свиданье.

Большую часть времени Толстой жил за границей, сначала в Германии, затем в Париже, где вращался в кругах демократических и радикальных. В 1841 году в Дрездене у Е. П. Языковой (сестра Ивашева) он познакомился с Бакуниным. Однако дружеские отношения между ними установились лишь спустя несколько лет, в Париже.

Зиму 1844/45 года они провели вместе. «Были мы здесь… — писал Бакунин, — неразлучны. Проводили целые дни вместе, и не прошло почти ни одного вечера, в котором бы мы, читая и разговаривая, куря цигаретки и запивая их чаем, не засиживались до трех часов ночи… Мы слились духом и сердцем; у нас — общая цель и общий путь, хотя и в разных краях и обстоятельствах».

Не будучи сам активным революционером, Толстой стоял на демократических позициях. Его убежденность, очевидно, влияла и на Бакунина. Он восхищался своим новым другом и со свойственным ему пылом идеализировал его. «Могу тебя уверить, — писал он Павлу, — не знаю ни одного человека,

который был бы ниже его в демократическом отношении; я не знаю демократа, которого мог бы сравнить с ним, потому что то, что в других слова, теории, системы, слабые предчувствия, то стало в нем жизнью, страстью, религией), делом» (т. III, стр. 243).

Установив ряд новых связей и посетив старых друзей (Руге и Гервега), Бакунин отправился дальше — в Брюссель, где и провел весну и лето 1844 года.

В июле, вскоре после приезда, он изложил свои парижские впечатления в письме к Августу Беккеру, немецкому революционеру, эмигранту, принимавшему участие в пропагандистской работе, которую вел Вейтлинг среди швейцарских рабочих, и на этой основе познакомившемуся с Бакуниным.

Письмо это свидетельствует о продолжающемся интересе Бакунина к утопическому коммунизму. Он сообщает о своем посещении в Париже одного из основателей этого направления во Франции, Этьена Кабе, сравнивает черты немецких и французских коммунистов, высказывает большое беспокойство судьбой арестованного Вейтлинга. «Жаль его, — восклицает он, — жаль из-за него и из-за дела!»

Последние слова также говорят о заинтересованности Бакунина «делом», то есть пропагандой коммунистических идей.

Однако за несколько месяцев, проведенных в Брюсселе (весна и лето 1844 г.), взглядам и интересам Бакунина суждено было принять иное направление. Во многом решающее значение для него сыграла встреча с Иохимом Лелевелем.

Лидер революционного крыла польской эмиграции, историк и общественный деятель, человек зрелого возраста, за плечами которого была борьба с оружием в руках против российского самодержавия, произвел большое впечатление на Бакунина.

«В Брюсселе я познакомился с Лелевелем. Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше», — свидетельствует он в «Исповеди».

Лелевель часто встречался с Бакуниным. Они долго беседовали о судьбах Польши и России. Бакунин расспрашивал о польской революции, о планах польских революционеров. Мысли Бакунина, уже склонившиеся в сторону утопического социализма, стали приобретать определенную направленность. Сторонник решительной, непримиримой борьбы против всякого угнетения, поборник освобождения всех народов, он постепенно начинает формулировать свою собственную программу борьбы за освобождение России и славянства.

Однако политическая жизнь Европы не меньше, чем прежде, интересует Бакунина. В конце лета он снова направляется в

Париж, где на этот раз на долгое время погружается в атмосферу бурных споров, борьбы различных мнений и политических конспирации.

«Мы оба, т. е. Рейхель и я, в Париже: я — навсегда, Рейхель — до будущего лета, — сообщает он своему швейцарскому знакомому Зольгеру. — Ты знаешь, что я присужден к лишению дворянства и к ссылке в Сибирь, но у меня дурной вкус, и я предпочитаю Париж Сибири» (т. III, стр. 237).

Поселился он здесь у издателя «Форвертс», в прошлом актера, предпринявшего издание газеты с коммерческими целями, Генриха Бернштейна. После прекращения издания «Немецко-французских ежегодников» Бернштейн пригласил сотрудничать в газете Маркса, Руге, М. Гесса, Гервега, а также Бакунина.

«У меня в квартире, — писал впоследствии в своих воспоминаниях Бернштейн, — было несколько свободных комнат; в самой обширной из них жил русский Бакунин, то есть у него имелась в большой комнате складная кровать, сундук и цинковый бокал, составлявшие все его состояние. Это был самый нетребовательный человек в мире. В этой комнате собиралась редакция, 12–14 человек, которые частью сидели на кровати или на сундуке или прохаживались взад и вперед по комнате; все ужасно много курили, возбужденно и горячо споря» (т. III, стр. 467).

Идеи, занимавшие немецких демократов, на время захватили Бакунина. Он принялся за книгу о Фейербахе. Работал, по его собственному признанию, «очень прилежно», но книга так никогда и не увидела света. Неизвестно, сохранилась ли где-либо хотя бы часть ее рукописи. Доведение до конца больших работ редко удавалось Бакунину. Чаще всего новое дело или новые идеи отвлекали его от начатой работы. Так, очевидно, случилось и с книгой о развитии идей Фейербаха. Однако в конце 1844 — начале 1845 года он серьезно занимался как этой работой, так и политической экономией.

Очевидно, что подобное направление его интересов определилось под известным влиянием Карла Маркса.

П. В. Анненков, который встретился впервые с Марксом на два года позднее Бакунина,[86] писал в своих воспоминаниях: «… Маркс представлял из себя тин человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения — тип, крайне замечательный и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, — он имел, однако же, вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами и что бы ни делал. Все

его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли наперекор с принятыми обрядами в людских сношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые произносил».[87]

Но если Анненкова поразили черты внешнего образа Маркса, то на Бакунина произвели большое впечатление черты его духовного облика: огромная убежденность, эрудиция, железная логика, страстная преданность делу пролетариата. «Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал и читал так умно, как г. Маркс, — писал Бакунин. — Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая.

С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других положительностью познаний и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г. Маркс прибавлял еще два новых элемента — диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля, и точку отправления коммунистическую».[88]

Бакунин был первым русским, серьезно познакомившимся уже в 40-х годах с идеями Маркса. Причем материализм и атеизм Маркса, его политическая экономия, бесспорно, повлияли на него. Отсутствие у Бакунина в это время каких-либо догматических представлений, несвязанность его с тем или иным политическим или философским течением, направлением, школой способствовали сравнительно легкому усвоению ряда импонирующих ему идей Маркса. «Маркс был тогда гораздо более крайним, чем я, — вспоминал он спустя почти 30 лет, — да и теперь он, если не более крайний, то несравненно ученее меня. Я тогда и понятия не имел о политической экономии, и мой социализм был чисто инстинктивным.

Он же, хотя и был моложе меня, уже был атеистом, ученым-материалистом и сознательным социалистом. Именно в это время он вырабатывал первые основания своей настоящей системы. Мы довольно часто встречались, потому что я очень уважал его за его знания и за его страстную и серьезную преданность делу пролетариата».[89]

Помимо Маркса, Бакунин поддерживал связи со многими немецкими коммунистами, был частым посетителем немецких коммунистических клубов в Париже.

О сближении Бакунина с коммунистами свидетельствует и Руге, который сам к этому времени, напротив, стал переходить на

позиции мещанского либерализма. «В то время, — пишет он, — в Париже экономические вопросы стояли в центре внимания и обсуждались все формы социализма. При этом я с Марксом разошелся, Бакунин же примкнул к нему и к коммунистам» (т. III, стр. 469).

Но живой интерес к идеям Маркса, известное влияние их на Бакунина никак не означали еще, что он действительно стал коммунистом. Впитывая в себя многие политические учения, с которыми ему приходилось сталкиваться, он иногда на время увлекался ими, иногда брал из них что-то, иногда просто та или иная мысль откладывалась в его сознании, а затем спустя много лет появлялась вновь, обогащенная собственными размышлениями, опытом, практикой.

Немалый след в сознании Бакунина в парижский период его жизни оставили идеи Прудона.

Пьер-Жозеф Прудон, сын мелкого служащего, сначала работал наборщиком. Обладая недюжинным умом и талантом, страстно увлекаясь социальными проблемами, он в 1840 году опубликовал первую свою работу «Что такое собственность?».

Написанная темпераментно и убедительно, языком свежим и самобытным, работа эта клеймила экономическое неравенство, царящее в современном обществе.

Ниспровергая авторитеты собственности, буржуазного политического устройства, буржуазной морали, Прудон призывал к разрушению существующих норм жизни.

«Что касается меня, — заявлял он, — я поклялся и останусь верен своему разрушительному делу, буду искать истину на развалинах старого строя. Я ненавижу половинчатую работу; и вы можете мне верить, читатель: если я осмеливался занесть руку на новые заветы, я не ограничусь уже только тем, что сниму с него крышку. Надо развенчать таинства святая святых несправедливости, разбить скрижали старого завета и бросить все предметы старого культа на съедение свиньям».[90]

Провозгласив разрушение существующего строя, Прудон тут же сам ставил вопрос о том, какова будет форма общественного устройства, когда будет уничтожена собственность.

«Единственно возможной, справедливой и истинной формой общественного устройства, — отвечал он, — является свободная ассоциация, свобода, ограничивающаяся соблюдением равенства в средствах производства и эквивалентности в обмене».[91]

Книга Прудона произвела большое впечатление на радикально настроенную интеллигенцию. Вот как объяснял ее успех К. Маркс:

«Вызывающая дерзость, с которой он посягает на „святая

святых“ политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающее тут и там глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга *„Что такое собственность?“* электризовала читателей и при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление».[92]

Все недостатки, свойственные мелкобуржуазной системе взглядов, вся поверхностность экономических исследований, наконец, вся недостаточность эрудиции автора сказались в его второй работе — «Система экономических противоречий или философия нищеты» (1846 г.), резко раскритикованной Марксом.

Но в первое время личного знакомства Маркса с Прудоном Маркс оказывал на французского философа известное влияние. «Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь напролет, — вспоминал Маркс, — я заразил его, к большому вреду для него, гегельянством…

…Прудон по натуре был склонен к диалектике. Но так как он никогда не понимал подлинно научной диалектики, то он не пошел дальше софистики».[93]

В тайны диалектики посвящал Прудона и Бакунин. Французскому философу явно не хватало образования. До знакомства с Марксом и Бакуниным он, по существу, не знал Гегеля. Герцен впоследствии описывал, как выглядели беседы Прудона и Бакунина.

«Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Burgogne. Прудон часто приходил туда слушать рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всеиощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фохт, живший тоже в rue de Burgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем… его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приоткрыл дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор».[94]

В полемике Маркса и Прудона Бакунин часто становился на точку зрения первого. «Прудон, — писал Бакунин, — несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления — абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс, в

противоположность ему, высказал и доказал несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву».[95]

Однако не ко всем идеям Прудона Бакунин относился критически. Было во взглядах французского философа и то, что привлекало его русского оппонента. К числу таких мыслей принадлежал и призыв Прудона «разбить скрижали старого завета», разрушить современные государственные формы.

Бакунину — выходцу из России, где царил беспросветный гнет и где власть монарха олицетворяла собой власть государственную, само государство казалось как бы искусственной и ни с каким классом не связанной надстройкой. Здесь сказалась известная неразвитость политического мировоззрения Бакунина, весьма неполное знакомство его и с русской жизнью. Годы, которые он провел на родине, были наполнены увлечением абстрактными теориями, не оставляющим места для глубокого изучения русской действительности. Единственным, что он вывез в Европу, было ощущение страшного гнета, давившего там все живое. Когда же под влиянием европейского революционного и демократического движения в нем стали созревать собственные взгляды и мысли его обратились к России и славянству, то багаж его представлений о родине оказался весьма незначительным. Крестьянские восстания (С. Разина и Е. Пугачева), потрясавшие ранее основы империи, да неверные представления о самой организации русского монархического строя — вот две посылки, из которых он уже тогда стал строить прогнозы возможной крестьянской революции и уничтожения самодержавного строя. Когда же мысль Бакунина дошла до определения будущих форм жизни, то тут под известным влиянием Прудона появилась идея федерации, прочно укоренившаяся в системе его взглядов.

Вот как довольно неопределенно формулировал Бакунин свое кредо весной 1845 года: «Все то, что освобождает людей, все то, что заставляет их сосредоточиваться, пробуждает в них начало собственной жизни, самобытной и действительно самостоятельной деятельности, все то, что дает им силу быть самими собою, — истинно; все остальное — ложно, свободоубийственно, нелепо. Освобождать человека — вот единственно законное и благодетельное влияние. Долой все религиозные и философские догмы! Они представляют сплошной обман. Истина это не теория, а факт, сама жизнь, это общение свободных и независимых людей, это — святое единение любви,

вытекающей из таинственных и бесконечных глубин личной свободы» (т. III, стр. 246).

Форма, в которой выражена здесь мысль Бакунина, напоминает его обычные письма-проповеди родным. Но, во-первых, это и есть отрывок из письма к брату, во-вторых, терминология («святое единение любви» и т. д.) навеяна в какой-то мере тем чувством к Иоганне Пескантини, о котором сообщал Бакунин в том же письме.

Послание это кончается выпадом против христианства, призывом к «беспощадной борьбе с теми, кто против нас», и предупреждением брату: «Только ради бога будь осторожен, Павел!.. не болтайте по-пустому; научитесь хитрить у врагов ваших и бейте их собственным оружием…»

В первое время парижской жизни Бакунину представляется случай и в письмах к родным и в широкой прессе высказать некоторые свои политические воззрения.

Парижская «Судебная газета» в начале января 1845 года опубликовала указы русского правительства, лишающие всех прав и приговаривающие в случае возвращения к ссылке в Сибирь Бакунина и И. Головина.

Иван Гаврилович Головин не был представителем революционной эмиграции. Богатый помещик, служивший в России в министерстве иностранных дел, он остался за границей, обидевшись на министра Нессельроде. В Париже он издал две свои посредственные работы по политической экономии и книгу «Рассуждения о Петре Великом» (1843), представлявшую собой опровержение книги Кюстина «Россия в 1839 году». И хотя последнее произведение было лишь апологией Петра, Николаю I все это не понравилось. Он приказал Головину вернуться, тот отказался. Тогда-то последовал указ Сената и Государственного совета, лишающий его чинов и дворянства и приговаривающий в случае возвращения в Россию к ссылке в Сибирь, в каторжные работы.

В той же «Судебной газете» Головин опубликовал свое письмо в редакцию, в котором возмущался нарушением царем прав российского дворянства. В этих условиях Бакунин счел невозможным промолчать. 27 января в газете «Реформа» он выступил с резким опровержением аргументации Головина. Он рассказал французским читателям о мнимости так называемых прав дворянства перед царем. «Все эти привилегии являются сквернейшей иллюзией, ибо всякий дворянин, невзирая на свой чин, состояние и положение, может быть брошен в тюрьму, сослан в Сибирь или принужден нести службу по простому приказу императора» (т. III, стр. 240).

В резких чертах изображая самовластие царя, жалкое и ничтожное положение дворянства, особенно крупного, пресмыкающегося у подножья трона («В С.-Петербурге нет аристократов, а есть только холопы»), Бакунин пишет и о тех молодых силах, зарождающихся в России среди передовых представителей образованного общества. Но эти люди будут действовать на пользу родине «не потому, что они дворяне, а несмотря на то, что они дворяне».

Пишет он и о русском народе, в котором заключено все будущее России. Разрозненные, но весьма серьезные и все более учащающиеся бунты крестьян приводят его к выводу, что: «Быть может, недалек момент, когда все они сольются в великую революцию, и если правительство не поспешит освободить крестьян, то прольется много крови» (т. III, стр. 242).

С волнением читает в Москве Герцен слова Бакунина.

«Вот язык свободного человека, — записывает он в своем дневнике 2 марта 1845 года, — он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории, к смелому слову intra muros (между стен), и нас удивляет свободная речь русского так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре».[96]

На статью в «Реформе» реагирует и польская эмиграция. Лидер аристократической партии Адам Чарторижский приглашает Бакунина к себе. Из Лондона он получает письмо с предложением выступить на очередном митинге (29 июля 1845 г.) в память пяти казненных декабристов. Этот митинг проводят поляки под лозунгом «За вашу и нашу свободу!». «Я, — пишет по этому поводу в „Исповеди“ Бакунин, — благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции, да и западной публике вообще».[97]

Слова эти, возможно, были правдивыми. Несмотря на явные симпатии к полякам, пробужденные еще в период бесед с Лелевелем, несмотря на вполне определенные демократические позиции, он все еще не выработал своей собственной тактики в славянском вопросе. Последующие события помогли ему определить свою линию борьбы как в польском, так и во всем славянском движении.

ГЛАВА III
«ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ»

Монах воинствующей церкви революции, он бродил по свету, проповедуя отрицание христианства, приближение страшного суда над этим феодально-буржуазным миром, проповедуя социализм всем и примирение — русским и полякам.

А. Герцен

«Я — русский и люблю мою страну, вот почему я подобно очень многим другим русским горячо желаю торжества польскому восстанию.

Угнетение Польши — позор для моей страны, а свобода Польши послужит, быть может, началом нашего освобождения» (т. III, стр. 257). Этими словами Бакунин впервые публично высказал свою ориентацию в польском вопросе.

Статья, написанная 6 февраля 1846 года в виде письма в редакцию газеты «Конституционалист», была откликом на преследование монахинь-униаток в Литве и Белоруссии, о котором много писала в те дни парижская пресса.

Польская эмиграция с большим интересом отнеслась к этому выступлению Бакунина. Однако когда он через несколько дней отправился к деятелям Польской Централизации с тем, чтобы предложить им «совокупное действие на Русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии», то получил отказ. Проникнутые крайним национализмом, да и не привыкшие к сочувствию, а тем более к поддержке со стороны русских, лидеры Польского демократического общества недоверчиво встретили эту попытку к сближению и союзу.

Для Бакунина наступило нелегкое время. Отсутствие живой деятельности, неопределенность собственного положения тяготили его. И хотя в письме от 5 августа 1847 года к Луизе Фохт он писал, что «всецело бросился в польско-русское движение», это были только слова.

Движения такого летом 1846 года еще не было, да и позиция поляков была осторожной.

Другого конкретного дела он не видел. Ему было 33 года, а он все еще не пришел к чему-либо положительному, все еще

«состоял в поисках жизни и истины».

«От конца лета 1846 года до ноября 1847 года я… — писал он, — оставался в полном бездействии, занимаясь по-старому науками, следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного».

«Я… жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и со своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия… Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование».[98] Эти слова Бакунина отражают, очевидно, то настроение, которое лишь иногда овладевало им.

Бедность и борьба с обстоятельствами никогда, как известно, не угнетали его. Отсутствие средств к существованию уже несколько лет стало для него нормой жизни. Его крайне скромные потребности в эти парижские годы помогал обеспечивать А. Рейхель, зарабатывавший сам одними уроками музыки. Однако, как всегда, теми небольшими деньгами, которые время от времени появлялись, Бакунин готов был поделиться с друзьями.

Так, А. Панаева рассказывает о том, как в 1847 году он «спас от голода» одно русское семейство, оказавшееся в Париже без денег. Сам он, писал Фохт, послал Августу Беккеру 50 франков, так как тот находился «в очень тяжелом положении», и сожалел, что не мог послать более.

Итак, отсутствие денег не было причиной его тоски в это время. Не было у него и политического пессимизма. Напротив, европейские дела внушали ему скорее надежды на близкую революцию. Он писал, что «во всем и во всех чувствуются все более определенные очертания брожения. Высшее общество и официальный мир в большой тревоге. …Говорят о скором и серьезном восстании народа» (т. III, стр. 265).

«Рейхель женился, — сообщал он в том же письме к Гервегам, — я же жду своей, или, если хотите, нашей суженой революции».

В своем ожидании Бакунин оказался значительно дальновидней Герцена, который, приехав в Париж и пробыв там несколько месяцев, не заметил ветра революции, не понял, что Франция стоит накануне великих событий.

Так или иначе, но ни положение политическое, ни дела личные не могли вызвать того отчаяния, о котором писал

Бакунин в «Исповеди». Источник этих временных настроений был один — отсутствие живой, конкретной революционной деятельности.

Круг старых русских друзей, собравшихся летом 1847 года в Париже, помог Бакунину избавиться от чувства одиночества.

Герцен приехал в Париж в марте 1847 года. Вырвавшись, наконец, из-под самодержавного гнета, восторженный и счастливый, он в первый же день отправился на улицы «бродить зря… искать Бакунина, Сазонова… Вот rue St. Honori, Елисейские Поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин». Шел он с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь, махая сигареткой. «На этот раз, — продолжает Герцен, — проповедь осталась без заключения: я ее прервал и пошел вместе с нимя удивлять Сазонова моим приездом».[99]

Вскоре (в июле 1847 г.) в Париж из Зальцбруна приехали Белинский, лечившийся там, и Анненков. На Avenue Marigny, где жил Герцен, снова, как и в Москве, собрался старый круг друзей. Здесь были Тургенев, Сазонов, Анненков, Белинский, Бакунин. Но отношения, так же как и взгляды этих людей, сильно изменились. Слишком разно сложились их судьбы за последние годы. Прожив уже несколько лет на Западе, войдя в круг политических интересов и стремлений лидеров европейской демократии, Бакунин был настроен значительно радикальней Герцена. Его интересовали конкретные сведения о движении в России, о собственных планах и надеждах Герцена. Бакунин и Сазонов, вспоминал Герцен, были поражены и недовольны, что новости, «мной привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозициях (1847 г.), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы „всемирной“ революции и французских вопросов, чтобы понимать, что у нас появление „Мертвых душ“ было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали».[100]

Герцен был прав. Бакунин действительно отошел от российской действительности, да и, по существу, раньше знал ее недостаточно. Однако главные его стремления были обращены именно к русской жизни, к возможным путям освобождения и

развития России. Друзья много спорили по этим вопросам, сравнивали жизнь Франции и России, говорили о буржуазии и ее роли в общественном развитии.

Но споры с русскими друзьями, споры и долгие беседы с Прудоном не отвлекали, однако, Бакунина от его идей о польско-русском союзе. 12 октября 1847 года он писал Варнгагену: «В настоящее время я работаю над сочинением о России и Польше, которое я не замедлю преподнести Вам, как только оно будет закончено.[101] Примирение этих двух народов, столь долго враждовавших друг с другом, их союз, основанный на единстве расы, на взаимной независимости и свободе и спаянный общей оппозицией императорскому деспотизму, представляется мне существенным условием их процветания и могущества, и я решил посвятить все мои слабые таланты и все мои убеждения и силы служению этому великому делу» (т. III, стр. 266).

Связь русского и польского революционного движения в то время стала уже традиционной. Декабристы первыми перешагнули пропасть, разделявшую русских и поляков. Скованные одной цепью народы обеих стран должны были вместе бороться против царизма. Но если в Польше, испытывавшей двойной гнет, по существу, не прекращалось революционное национально-освободительное движение, то в России борьбу против самодержавия вели лишь дворянские революционеры да немногие еще выходцы из разночинной среды, никак не связанные с народом. В этих условиях Польша могла стать передовым отрядом в борьбе против царизма, поднять и увлечь за собой революционные силы России.

Именно поэтому мысли русских революционеров обращались к полякам, уже не раз показавшим миру свое мужество в борьбе с русским самодержавием.

Бакунин впервые обратился к идее польско-русского революционного союза еще в 1844 году в Брюсселе, под влиянием Лелевеля. Выступив в 1844 году в газете «Конституционалист», он попытался сблизиться с поляками. Тогда этот шаг не имел практических последствий, но вот спустя год он, наконец, получил возможность реального участия в создании союза польских и русских революционеров.

29 ноября 1847 года исполнялась очередная годовщина польского восстания 1831 года. В этот день в Париже собиралось традиционное собрание поляков и сочувствующих им французов. На этот раз Бакунин получил приглашение выступить на нем.

В «Исповеди» он рассказывает, как, будучи болен, он сидел дома «с выбритою головой», когда к нему пришли с приглашением двое поляков. «Я с радостью ухватился за эту

мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании».[102]

Речь его была направлена прежде всего против российского самовластия. «У нас нет ни свободы, ни уважения к человеческому достоинству, — говорил он. — У нас царит отвратительный деспотизм, не знающий никаких границ своей разнузданности, никаких препон своим поступкам. У нас нет никаких прав, никакой справедливости, никакой защиты против произвола. У нас нет ничего из того, что составляет достоинство и гордость нации». Не лучше обстоит дело и с внешнеполитическим положением России. «Было ли, — восклицал Бакунин, — начиная с 1815 года хоть одно благородное дело, против которого мы бы не боролись, хотя бы одно злодеяние, которого бы мы не поддержали; хотя бы одна крупная политическая несправедливость, где мы не были бы подстрекателями или сообщниками?»

Далее Бакунин называл врагов самодержавной власти, способных, по его мнению, подняться на борьбу. Это прежде всего огромная масса крестьян, «восстания которых с каждым днем учащаются», потом «многочисленный промежуточный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов»,[103] затем армия и, наконец, часть дворянской молодежи.

«Господа, — призывал Бакунин, — от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. Да придет же этот великий день примирения, день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело и против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы: „Еще Польска не сгинела!“» (т. III, стр. 270–279).

Успех был огромным. Аплодисменты не раз прерывали оратора, а последние слова его были встречены бурной овацией.

14 декабря речь была напечатана в «Реформе».

В предисловии от редакции говорилось, что речь русского эмигранта исполнена «самых благородных чувств» и содержит «совершенно новые и чрезвычайно смелые взгляды на положение России». Вскоре текст речи появился в немецкой и чешской печати.

Если польская, да и вся демократическая общественность Европы с восторгом встретила речь Бакунина, то на правящие круги России она, естественно, произвела обратное впечатление. Союз демократических сил Польши и России был действительно опасен царизму.

5 декабря российский посол в Париже Н. Д. Киселев сообщил

о происшествии министру иностранных дел К. Р. Нессельроде и одновременно потребовал от правительства Гизо высылки Бакунина из Франции.

Реакционный кабинет министров под давлением российского и австрийского правительств 9 декабря принял декрет о высылке русского эмигранта. 14 декабря, в день опубликования речи в «Реформе», это решение было сообщено Бакунину.

Демократические круги Парижа попытались защитить Бакунина, но тщетно, он вынужден был вскоре покинуть пределы Франции.

Высылка Бакунина совпала с появлением слуха о том, что он не кто иной, как агент царского правительства. Несмотря на полную, казалось бы, абсурдность этого утверждения, слух этот, раз появившись, не исчезал многие годы, доставляя Бакунину немало горьких минут.

Вяч. Полонский и Ю. Стеклов пытались объяснить появление этой версии стараниями российского посла Киселева. Действительно, схема казалась простой. Именно российское правительство, более всего заинтересованное в том, чтобы скомпрометировать Бакунина, сделать невозможным его дальнейший союз с поляками, вполне могло пойти на распространение подобных слухов. Да и примеры подобной «административной грации» встречались в русской истории.

Однако, очевидно, здесь дело было сложнее. В примечаниях к III тому сочинений Бакунина тот же Стеклов приводит один интересный документ. Это доклад парижского префекта полиции министру внутренних дел от 6 февраля 1847 года (т. е. задолго до польского митинга):

«Некий Бакунин, русский офицер, давно уже известный моей администрации в качестве активного участника политических происков, неоднократно указывался мне, как человек, стремящийся установить связь с польской эмиграцией. Мое внимание было также обращено на него в 1845 году по случаю крайне резких его нападок на особу российского императора, допущенных им в газете „Реформа“. Мне сообщают, что этот иностранец привлекает и принимает у себя значительное количество польских эмигрантов; уверяют, что хотя он и выступает в качестве самого преданного их друга, но вместе с тем стремится раздуть среди них разногласия и восстановить их против Франции и французского правительства. Некоторые лица утверждают, что указанный Бакунин является тайным агентом русского правительства, которому поручено разведать намерения эмиграции и на которого, в частности, возложена миссия внести в нее раскол» (т. III, стр. 486).

Из документа этого становится ясно как то, что слухи эти появились еще до произнесения Бакуниным его речи, так и то, что первоисточником их не было русское посольство. Скорее всего они возникли в среде демократической польской эмиграции. Часть поляков поверила этому слуху. Уж слишком ново и малопонятно для них было появление союзника в лице русского дворянина.

Сам Бакунин так и остался в неведении относительно источника всех этих разговоров. Однако когда он в январе 1848 года впервые узнал о том, что в Париже говорят о нем, то, естественно (так же как и позднейшие исследователи), увидел источник слухов «в русском правительстве и его агентах».

Бурные события, с которых начался 1848 год, на несколько месяцев отвлекли Бакунина от этого вопроса.

В январе, живя в Брюсселе, он интересовался лишь польскими делами. Снова встретившись с Лелевелем, он отнесся к нему более критически, чем в первый раз. Другой лидер поляков, Винцент Тышкевич, показался ему лишь «хорошим изданием старой истории». Как человек новый, приглядывавшийся к польскому движению со стороны, он замечал то, чего не видели деятели польской эмиграции, погруженные часто во внутренние дрязги, обращенные в значительной мере в прошлое и не слышавшие тех «сильных и свежих струн… единственно способных заставить трепетать сердце нового поколеления».

Наиболее теплые дружеские отношения поддерживал он в это время с Михаилом Лемпицким, с которым еще в Париже говорил о судьбах польского и русского движения, и, что особенно важно, о роли крестьянской общины в славянском мире, и о том, что она ничуть не похожа на фаланстер, предлагаемый французскими утопистами.[104]

Постепенно у Бакунина складывалась революционно-демократическая мелкобуржуазная по своей классовой сути система взглядов.

В западноевропейском движении Бакунин был к этому времени, по существу, крайним демократом, а во взглядах на Россию — крестьянским социалистом. Именно поэтому Бакунин теперь не смог понять Маркса. Встретились они в Брюсселе, куда Маркс был выслан двумя годами ранее. Контакта между ними не установилось. Строгая логика Маркса, его беспощадная критика всех мелкобуржуазных представлений показалась Бакунину лишь проявлением «теоретического высокомерия». Его больше влекло в среду польской эмиграции.

Поляки на этот раз отнеслись к нему иначе. В первые же дни пребывания в Брюсселе он получил приглашение выступить на

польском собрании в память пяти казненных декабристов и польского патриота С. Конарского, повешенного в 1839 году. Цель собрания, по словам Бакунина, была в том, чтобы «сделать дальнейший шаг к сближению наших обеих стран».

Собрание состоялось 14 февраля 1848 года. «Согласно трогательному обычаю изгнанников, — писала „Реформа“, — председательствование было предоставлено теням мучеников, изображавшихся венками из иммортелей с именами поляка Конарского и русских Пестеля, Рылеева, Бестужева, Муравьева и Каховского».

Текст речи Бакунина не сохранился, сам же он писал в «Исповеди», что «много говорил о России, о ее прошедшем развитии…, говорил также о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую Европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разоружение Австрийской империи, я кончил следующими словами: будем готовы, и, когда час пробьет, каждый из нас исполнит свой долг».[105]

Не прошло и десяти дней после выступления Бакунина, как революция действительно началась. Она вспыхнула 23 февраля в Париже.

Но это было лишь начало движения, охватившего всю Западную Европу. В течение 1848–1849 годов революции прокатились по Франции, Германии, Италии, Австрии, потрясая до основания монархические режимы.

Революции в разных странах были различны по своим целям и задачам. Различие это зависело от конкретных исторических условий, от соотношений классовых сил, от своеобразия обстановки в каждой отдельной стране. Во Франции, где с феодализмом и абсолютизмом было покончено еще во время Великой революции 1789–1794 годов и где король Луи-Филипп представлял лишь интересы финансовой олигархии, стояла задача свержения ее господства и установления буржуазной республики. В Германии основная задача революции состояла в ликвидации политической раздробленности, создании государственного единства. Похожая задача стояла и перед раздробленной Италией, но здесь она дополнялась необходимостью освобождения северной части страны от австрийского ига. В самой же Австрии революция должна была покончить с реакционным режимом монархии Габсбургов и освободить угнетенные, в частности славянские, народы от национального порабощения.

Активное участие народа, а главное — рабочих, впервые в

таком широком масштабе проявивших себя как класс, придавало демократический характер революциям, буржуазным по своим задачам.

Во Франции в свержении монархии участвовали различные силы. Здесь были и социалистические доктринеры, и республиканцы, которым, но словам Маркса, «требовался весь старый буржуазный порядок, но только без коронованного главы; династическая оппозиция, которой случай преподнес вместо смены министерства крушение династии; легитимисты, стремившиеся не сбросить ливрею, а только изменить ее покрой, — таковы были союзники, с которыми народ совершил свой февраль… *Февральская революция* была *красивой* революцией, революцией всеобщих симпатий, ибо противоречия, резко выступившие в тот момент против королевской власти, еще дремали мирно, рядышком, находясь в *неразвитом виде,* ибо социальная борьба, составлявшая их подоплеку, достигла пока лишь призрачного существования, существования фразы, слова». [106]

Вот в эту-то пору медового месяца революции Бакунин и оказался среди ее участников.

«Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию, — писал он впоследствии. — Но паспорт был не нужен, первое слово, встретившее нас на границе, было „La Republique est proclamée a Paris“».[107]

Поезда не ходили, и до Валансьена Бакунин шел пешком. По пути он видел толпы ликующего народа, красные знамена на всех улицах, площадях, общественных зданиях.

От Валансьена до Парижа пришлось добираться где в объезд, где пешком, но так или иначе, а через три дня — 26 февраля — он был уже в Париже. Столица Франции поразила его. Баррикады покрывали почти все ее улицы. Между грудами камней, сломанной мебелью, перевернутыми экипажами занимали боевые посты вооруженные с головы до ног рабочие в живописных блузах, почерневшие от пороха.

Из окон домов со страхом выглядывали толстые лавочники с лицами, поглупевшими от ужаса. Улицы к бульвары были свободны от той толпы, которая обычно заполняла их. Не было франтов с тросточками и лорнетами, не было нарядных дам, не было экипажей.

Их место заняли «благородные увриеры, торжествующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победой!».[108]

Чувствуя себя удивительно на месте в этой бурлящей

революционной обстановке, Бакунин устроился жить не далеко от Люксембургского дворца, в казармах гвардии Коссидьера.

Один из отважных руководителей революции, Марк Коссидьер, в ходе баррикадных боев овладел префектурой и создал из членов тайных заговорщических обществ и политических заключенных пролетарского происхождения вооруженную охрану революционной власти, носившую название монтаньяров и как бы продолжавшую традицию старых санкюлотов.

«Из всех вождей февральской революции Коссидьер, — по словам Маркса, — единственный человек веселого нрава. Представляя в революции тип loustic (весельчака. — *Н. П.*), он был вполне подходящим вожаком старых заговорщиков по профессии. Чувственный и остроумный, старый завсегдатай кафе и кабачков самого различного рода, придерживавшийся принципа — живи и жить давай другим, при этом по-военному отважный, скрывающий под добродушным видом и свободой манер большую пронырливость, хитрость и осмотрительность, а также тонкий дар наблюдения, он обладал известным революционным тактом и революционйой энергией».[109]

В 24 часа Коссидьер превратил префектуру в крепость, наполненную монтаньярами, бывшими большей частью в дружеских отношениях со своим префектом. В эту-то обстановку, полную революционных страстей, бесконечных споров и невероятных проектов, и попал Бакунин. «Он не выходил из казарм монтаньяров, — писал Герцен, — ночевал у них, ел с ними… и проповедовал коммунизм et l'egalité du salaire (и равенство заработной платы), нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрии, революцию en permanence (непрерывно), войну до избиения последнего врага».[110]

По словам самого Бакунина, месяц, проведенный им в революционном Париже, был временем «духовного пьянства».

«Я вставал в пять, в четыре часа поутру, а ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях — одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялось в одной бесчисленной толпе, — говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия».[111]

Единственная статья, написанная им за этот месяц и

опубликованная в «Реформе», была посвящена, конечно, февральской революции. Он отметил в ней, что демократическая революция еще не закончена, а только начинается, что она еще победоносно обойдет всю Европу. Разрушится «чудовищная» Австрийская империя, итальянцы и немцы провозгласят свои республики; польские республиканцы вернутся к своим очагам.

«Революционное движение прекратится только тогда, когда Европа, вся Европа, не исключая и России, превратится в федеративную демократическую республику.

Скажут: это невозможно. Но осторожнее! Это слово не сегодняшнее, а вчерашнее. В настоящее время невозможна только монархия, аристократия, неравенство, рабство.

…Эта революция, призванная спасти все народы, спасет также и Россию, я в этом убежден» (т. III, стр. 296).

Пророчество Бакунина стало, казалось, сбываться уже через два дня после опубликования статьи. Революция началась в Австрийской империи. Оставаться в этих условиях далее во Франции Бакунину не было смысла.

«Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе. Туда стремится теперь Польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я для того, чтоб действовать в одно и то же время на русских и на поляков». Если бы Польша восстала и Варшава стала бы независимой, то «революционная война велась бы у самой русской границы, потому что полная горючего материала Россия ждет только воспламеняющей искры»[112] — таков был ход его рассуждений.

Но как содействовать восстанию Польши и освобождению России? Ни друзей, разделявших его весьма неопределенные планы и готовых следовать за ним, ни какой-либо организации, ни денег у Бакунина не было. Но это обстоятельство ничуть не смущало его. За деньгами он решил обратиться непосредственно к Временному правительству Франции. Свое письмо он адресовал четырем его демократическим членам: Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю Роллену.

«Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в герцогство Познаньское, для того чтоб действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов провизорного правительства дать мне 2000 франков, не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа, обещая возвратить эту сумму, когда будет только возможно».[113]

Посоветовавшись с польскими эмигрантами, Флокон выдал

Бакунину деньги и предложил писать ему с места действия для газеты «Реформа».

Герцен впоследствии весьма вольно изложил эпизод отъезда Бакунина из Парижа.

«Префект с баррикад, делавший „порядок из беспорядка“, Коссидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянам с братской окколадой (объятьем. — *Н. П.*) и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. „Quel Homme! Quel Homme!“ („Какой человек! Какой человек!“ — *Н. П.*), — говорил Коссидьер о Бакунине. — В первый день революции это просто клад, а на другой день его надобно расстрелять».[114]

Ни Коссидьер, ни Флокон «не выживали» Бакунина и тем более не придумывали ему поручений к славянам. Ехал он потому, что именно там, на границе с Россией, видел свое место.

Получив у Коссидьера два паспорта, один на свое, другой на чужое имя, 31 марта 1848 года он сел в дилижанс и направился в Страсбург.

«Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки и я бы захотел отвечать ему, — писал он в „Исповеди“, — то между нами мог бы произойти следующий разговор:

— Зачем ты едешь?

— Еду бунтовать.

— Против кого?

— Против императора Николая.

— Каким образом?

— Еще сам хорошо не знаю.

— Куда же ты едешь теперь?

— В Познаньское герцогство.

— Зачем именно туда?

— Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции.

— Какие у тебя средства?

— 2000 франков.

— А надежды на средства?

— Никаких определенных, но авось найду.

— Есть знакомые и связи в Познаньском герцогстве?

— Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю.

— Есть рекомендательные письма?

— Ни одного.

— Как же ты без средств собираешься бороться с русским

царем?

— Со мной революция, а в Познани надеюсь выйти из своего одиночества».[115]

По дороге он останавливался на несколько дней во Франкфурте, Кёльне, Берлине, Лейпциге, присматривался, надеялся увидеть тот революционный подъем, который так увлек его во Франции.

Но немцы сильно отличались от экспансивных французов. Ни ликующих толп с красными знаменами, ни баррикад он не встретил на улицах Франкфурта и Кёльна.

«Странная вещь! — писал он в письме к Анненкову. — Большая часть Германии в беспорядке, но без собственной революции, что не мешает немцам говорить, запивая рейнвейном, „Unsere Revolution“ („Наша революция“. — *Н. П.*)».

Однако за внешним спокойствием он видит силы, способные подняться на борьбу. «Что живо в Германии, — пишет он далее, — это начинающий двигаться пролетариат и крестьянское сословие; здесь будет еще революция страшная, настоящий потоп варваров; потоп этот смоет с лица земли развалины старого мира, и тогда доброму, говорливому Bürger'y (бюргеру. — *Н. П.*) будет плоха, очень плохо» (т. III, стр. 298).

В Берлине Бакунин не хотел задерживаться долее двух дней, а следовать дальше, в Позен — ближе к границам Польши и России. Однако планы его были неожиданно нарушены. На второй день своего пребывания в Берлине он был арестован.

В «Исповеди» он писал, что произошло это, потому что его приняли за Гервега. На самом деле все было несколько иначе.

Гервег в это время, находясь в Париже, формировал корпус из немецких рабочих-эмигрантов для революционного похода в Германию. Затея эта была авантюристической и потерпела вскоре полный крах. Полиция, зная о действиях Гервега, естественно, следила за домом его род ных в Берлине. Явившийся туда с визитом Бакунин был принят за эмиссара Гервега, тем более что ехал он из Парижа.

После допроса ему было предложено немедленно покинуть город, причем президент полиции Минутоли, запретив ему следовать в герцогство Познаньское, назвал Бреславль как город, где, по его мнению, польское патриотическое движение было незначительным и где русский агитатор не мог принести большого вреда.

Из двух паспортов, врученных Бакунину Коссидьером, один, на его собственное имя, был отобран Минутоли. К другому же, на имя Леонарда Неглинского, полицейский президент добавил еще один, «на имя Вольфа или Гофмана, не помню, — писал Бакунин

потом, — желая, очевидно, чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами». Обстоятельство это может показаться странным: начальник полиции вручает высылаемому фальшивый паспорт. Зачем? Оказывается, он действительно пытался помочь Бакунину скрыться, но не от своих агентов, а от агентов III отделения. Такая забота объясняется не личными симпатиями Минутоли к Бакунину, а его политическими махинациями. Минутоли принадлежал к антироссийской группировке прусских бюрократов. Выдача Бакунина России была не в его интересах, но вред, который тот мог причинить прусским властям, заставлял Минутоли преследовать русского агитатора в пределах Германии. В сопровождении полицейского Бакунин покинул Берлин и направился в Бреславль.

По пути произошла еще одна небольшая задержка — в Лейпциге, на этот раз по инициативе Бакунина.

Старый приятель А. Руге находился в это время в городе, где на выборах в предварительный германский парламент должна была баллотироваться его кандидатура.

Во время предвыборного митинга Руге передали, что его хочет видеть «господин из Парижа», он ответил, что занят, «тогда, — пишет он, — мне передали карточку с именем Бакунина. Этому я не мог противостоять. Я поспешил выйти и нашел его в коляске.

— Садись сюда, — закричал он, — брось своих филистеров и поезжай со мной в Hotel du Pologne. Я тебе расскажу бесконечно много.

Я протестовал и просил его дать мне пару часов времени, выражая твердое убеждение, что в мое отсутствие меня вычеркнут из списка кандидатов.

— Пойдем, старый друг, мы выпьем бутылку шампанского, а тех оставим выбирать, кого они хотят. Ничего из этого не выйдет — одним обществом упражнения в красноречии больше, и больше ничего! Ты разве много ожидаешь?

— Не очень много. Но нельзя их бросить. Одни они не выпутаются из затруднений.

— Ну так ты, наконец, действуешь лишь из сострадания! История будет испорчена еще раз, и если тебя при этом не будет, то ты не будешь в ответе. Ну, садись сюда!»

Руге дал себя уговорить и отправился вместе с Бакуниным. Кандидатура Руге тем временем была забаллотирована, и, когда он упрекнул за это Бакунина, тот ответил: «Ну когда пойдет наша славянская революция, мы тебя вознаградим за неблагодарность этих саксонских филистеров».

Весь вечер друзья провели вместе, предаваясь юмору и

легкому разговору. Причем каждый раз, «когда я, — писал Руге, — собирался уходить, мой любезный русский удерживал меня, восклицая: „Руге, ты знаешь, что утрачено во мгновение, того никакая вечность не возвратит“».[116]

На другое утро Бакунин уехал в Бреславль, где и пробыл около месяца. Он быстро сошелся здесь с местными демократами, был везде хорошо принят «ради своей симпатичной и остроумной личности», так по крайней мере говорит о его успехах в Бреславле Руге, но главное, к чему стремился он, — сближения с поляками — не произошло. Поляков собралось в тот момент много: из Кракова, из герцогства Познаньского, из Лондона и Парижа. Все они приехали на съезд, чтобы решить судьбы дальнейшего польского движения.

Разногласий между ними было много, и съезд, по существу, ничем не кончился.

Бакунина все знали, с ним были любезны, говорили комплименты, но за этим стояла некая настороженность. Объяснялась она новой волной неблагоприятных слухов, распространявшихся, по его словам, главным образом полякамя-эмигрантами. В такой обстановке Бакунин вынужден был предпочитать общество немецких демократов. «Немцы, — писал он, — играли в политику и слушали меня как оракула. Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шуму, песней, потребления пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно не было ни законов, ни начальства: полная свобода, и каждый вечер, как бы для забавы, маленькое возмущение».[117]

Все это было слишком несерьезно и совсем не соответствовало твердой решимости Бакунина отдать все силы польскому и русскому движению. «Наконец, — пишет он, — стали говорить о Славянском конгрессе; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедову точку опоры для действий».[118]

Прага была одним из центров национально-освободительного движения, охватившего всю Австрийскую империю. После победы революции в Вене чехи обратились в правительство с петицией, требующей восстановления чешского королевства. В Праге создалось правительство во главе с Ф. Палацким, ставившее перед собой, однако, задачи чисто национальные, или скорее националистические.

Историк и политический деятель Франтишек Палацкий был лидером так называемого австрославизма — националистического движения, стремившегося не к разрушению Австрийской империи, а к господству в ней чешской национальности, «так что уж не немцы более и не мадьяры, — по

словам Бакунина, — притесняли бы славян, но обратно».

Тем временем за свое национальное самоопределение выступили и венгерские славяне, собравшиеся на съезд в Загребе.

Вековое господство немцев в Австрии и мадьяр в Венгрии, угнетение ими славян давало теперь свои плоды. Славянское национальное движение не могло слиться с революционным движением немцев и мадьяр. Слишком горек был исторический опыт, слишком неразвиты были еще социально-экономические отношения в империи Габсбургов.

Общегерманское национальное собрание, состоявшееся во Франкфурте-на-Майне, выдвинуло свой план — включение всех владений Австрии в общегерманскую империю. Перед славянами возникла новая угроза подчинения немецкому господству. В этих условиях славяне и решили созвать съезд, чтобы сплотить свои силы и противостоять возможному порабощению.

Делегаты от чехов, моравов, словаков, русинов (украинцев), поляков, хорватов и сербов собрались в Праге 1 июня 1848 года. 340 делегатов съезда делились на 3 секции: чешско-словацкую, польско-русинскую и южнославянскую. Председателем съезда был Палацкий.

Приехав в Прагу и остановившись в отеле «Голубая звезда», Бакунин отправился в здание Чешского музея, на заседание съезда. Там он был зарегистрирован по польско-русинской секции и избран в члены дипломатического комитета.

Вместе с моравином Захом и поляком Либельтом он принял участие в составлении Манифеста к европейским народам. Документ этот провозглашал свободу всех народов и призывал к созыву общеевропейского конгресса.

Кроме Бакунина, в польско-русинской секции оказался еще один делегат, зарегистрировавшийся русским. Это был старообрядческий священник из великорусской колонии Белая Криница в Буковине — Алимпий Милорадов. При знакомстве с ним у Бакунина мелькнула мысль: «Употребить этого попа на революционную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смышленый, настоящий русский плут и пройдоха… но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана действий, ни связей, а главное, не имел денег».[119]

При вступлении в секцию Бакунин произнес краткую речь, заявив, что Россия, отошедшая от славянских народов благодаря порабощению Польши, должна вернуться в славянское единство прежде всего через освобождение последней. Поэтому он как

русский видит свое место на славянском съезде только между поляками.

Две недели, проведенные в Праге, были наполнены для Бакунина не только заседаниями, выступлениями, спорами, но и работой над серьезной статьей «Основы новой славянской политики», опубликованной (в сентябре 1848 г.) в журнале «Славянские летописи». В ней излагался утопический и мало конкретный, но демократический по идее план создания свободной славянской федерации, управляемой общеславянским советом.

Призывая славян к объединению в федерации, он в то же время в ряде выступлений на съезде пытался представить слушателям всю обманчивость их иллюзий по поводу возможной «свободы» в рамках Австрийской империи и призывал к разрушению ее, как к необходимому условию подлинного освобождения славян.

Еще с большим пылом обрушился он на тех, кто видел возможного освободителя славян в лице русского царя. Вот как он сам передавал свои слова в «Исповеди»: «…Вам (славянам) нет места в недрах Русского царства: вы хотите жизни, а там механическое послушание. Желаете воскресения, возвышения, просвещения, освобождения, а там смерть, темнота и рабская работа. Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы».[120]

Призывы Бакунина имели определенный успех лишь у части делегатов. Да иначе и не могло быть. Слишком неоднороден был состав съезда, слишком различны стремления делегатов.

Закончить работу съезду не удалось. 12 июня в Праге вспыхнуло восстание.

Выступления студентов, ремесленников и рабочих Праги были стихийными, но почва для них была подготовлена всем ходом национально-освободительной борьбы.

Поводом к восстанию стали новые полицейские правила, изданные командиром войск и начальником администрации князем Шварценбергом. Правила ограничивали демонстрации в районе музея, где заседал съезд.

Студенты, входившие в народную гвардию и несшие почетный караул на съезде, собрались на митинг и послали депутацию к фельдмаршалу князю Виндишгрецу с требованием отменить правила и выдать их легиону 60 тысяч патронов. Виндишгрец ответил отказом.

12 июня был праздник — день Святого духа. На обедню, которую служил священник на одной из площадей, собрались внушительные толпы народа. По окончании службы люди с

пением направились по улицам. Когда они проходили мимо дворца Виндишгреца, оттуда выскочили солдаты и принялись разгонять шествие. Раздались первые выстрелы. Студенты и рабочие начали строить баррикады. Вскоре почти весь город был в руках восставших.

Правительственные же войска были по приказу Виндишгреца выведены из Праги и заняли позицию на возвышенностях вокруг города. 16 июня началась бомбардировка города, вызвавшая как разрушения, так и сильные пожары. На другой день восставшие сдались.

Ни о каком возобновлении работы съезда не было и речи. Часть делегатов разъехалась еще в начале восстания. Но Бакунин, конечно, остался.

О своем участии он пишет: «Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера: ходил с ружьем от одной баррикады к другой, несколько раз стрелял, но был, впрочем, во всем этом деле как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ратушу, которая (дня четыре) вела тайные переговоры с князем Виндишгрецем, и посадить на ее место военный комитет с диктаторской властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капитулировала».[121]

Бакунин вернулся в Бреславль. Здесь его ждали новые неприятности. 6 июля «Новая Рейнская газета» поместила сообщение из Парижа, в котором говорилось: «По поводу славянской пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж Санд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского М. Бакунина, которые изображают его как орудие или как недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж Санд показывала эти документы некоторым из своих друзей. Мы здесь нпчего не имеем против славянского государства, но когда оно не создается посредством предательства польских патриотов» (т. III, стр. 305).

Казалось, чья-то злая воля упорно преследовала Бакунина как раз тогда, когда он направлял все усилия для сближения с поляками. Причем слухи, повторенные на этот раз авторитетной демократической газетой, приобретали, казалось, известное основание. Другое дело, что публикация подобного сообщения со ссылкой на Жорж Санд без всякой проверки, без разрешения самой писательницы была по меньшей мере бестактностью редакции.

Бакунин познакомился с Жорж Санд еще в Париже. Между ними установились хорошие отношения. Получив приказ

покинуть столицу Франции, он написал ей, благодаря «за благосклонность и доброту», которые она ему всегда оказывала. И вот теперь это сообщение со ссылкой на бумаги, будто бы имеющиеся у писательницы.

Прочтя газету, Бакунин прежде всего взялся за перо, чтобы писать ей: «Я слишком Вас уважаю и считаю Вас слишком благородной и добросовестной, для того чтобы допустить, что Вы могли легкомысленно и, не будучи сама в этом убежденной, высказать против меня такое обвинение.

…Я предлагаю Вам немедленно опубликовать все те бумаги, которые меня якобы компрометируют, дабы я мог их опровергнуть. Я имею право требовать этого, так как, обвинив меня, Вы сами этим самым взяли на себя священную обязанность передо мною и перед общественным мнением доказать свои обвинения» (т. III, стр. 305).

Копию этого письма, а также объяснение для редакции Бакунин опубликовал во «Всеобщей Одерской газете», выходившей в Бреславле. «Новая Рейнская газета» перепечатала как протест Бакунина, так и последующий ответ Жорж Санд, отвергшей всякое свое участие в этой клевете. В личном письме к Бакунину Санд писала:

«Нет, никогда у меня не было в руках никаких обвинений против Вас, да я бы им и не придала никакой веры, будьте в этом уверены… Статья „Новой Рейнской газеты“, которую я самым формальным образом опровергаю, представляет ни на чем не основанную возмутительную выдумку, которой я чувствую себя лично задетой. Я полагаю, что корреспондент, доставивший эту заметку, спятил с ума, если мог сочинить подобную нелепость на Ваш и на мой счет… Я выражаю Вам уважение и симпатию, каких Вы заслуживаете и какие я никогда не переставала питать к Вашему характеру и к Вашим действиям, примите же в них уверение в большей мере, чем когда-либо» (т. III, стр. 311–312).

Пока шла борьба за восстановление его честного имени, Бакунин жил сначала в Бреславле, затем в Берлине. К этому времени его деятельность стала сильно беспокоить царское правительство. Агенты III отделения за границей уже давно следили за ним. Донесения их часто были фантастичны, но, очевидно, на месте им верили. Так, еще в самом начале революционных событий во Франции русское посольство в Париже сообщало графу Орлову, что «Тургенев, Головин, Бакунин и Лавров находились в числе лиц польской депутации, которая представлялась временному правительству во Франции с поздравлением и изъявила готовность составить для национальной гвардии отдельный легион».[122]

Основанием для подобной информации послужил донос известного агента III отделения Я. Н. Толстого. Помимо примера заведомо ложной информации, донос интересен еще и упоминанием в связи с Бакуниным колоритной фигуры Лаврова. Это бывший священник русского посольства, с 1844 года ушедший со службы, но отказавшийся, ссылаясь на болезнь, вернуться в Россию. В Париже он согласно донесениям вел жизнь «самую безнравственную и, питая республиканские идеи», высказывал «ненависть не только к России и государю императору, но даже и к самой религии».

Об участии Лаврова в мифической депутации к Временному правительству и об отказе его вернуться на родину А. Ф. Орлов сообщил в Святейший синод гр. Н. А. Протасову, тот, в свою очередь, доложил о происшествии царю. В итоге Лавров был «извержен из духовного чина», а затем, как сообщал Протасов Орлову, дело о преступлениях его решено было «оставить без дальнейшего производства, по причине отсутствия его из России». [123]

Но если дело священника Лаврова можно было оставить без последствий, то дело Бакунина было совсем иным. И здесь русские посольства как в Париже, так и в Берлине старались как могли.

Следующий донос на Бакунина поступил, очевидно, в первых числах июня 1848 года. По крайней мере Орлов 6 июня сообщал уже всем губернаторам западных губерний о том, что согласно полученному им донесению «бывший российский чиновник, лишенный, за невозвращением из-за границы в отечество, всех прав состояния, Михаил Бакунин, находясь ныне в Вроцлаве, в Пруссии, подкупил двух польских выходцев… братьев Станислава и Антона Виговских отправиться в Россию с преступным намерением посягнуть на жизнь государя императора».

Бакунин, сообщалось далее, успел снабдить своих эмиссаров паспортами. Кроме того, он направил двух неизвестных поляков в Ригу, на случай путешествия императора в этот город.

Циркуляр о задержании Виговских в Санкт-Петербургской губернии дошел даже до сельских управлений и вызвал много толков. Губернаторы, опасаясь за жизнь императора, старались не на шутку. Донесения о ходе поисков двух злоумышленников и обо всех слухах, связанных с ними, составляют толстую папку.[124] Но поймать никого не удалось. Скорее всего злоумышленников не было вовсе, и уж во всяком случае, они не были посланы, да еще за большие деньги (как говорилось в донесении), Бакуниным. Но так или иначе, а материал этот был использован против Бакунина во время его пребывания в Берлине. Русский посол Майендорф

уже 15 июня посетил прусского министра иностранных дел и сообщил ему о преступных действиях Бакунина.

21 сентября Бакунин был вызван в Берлинскую полицию, допрошен и отпущен с условием немедленного отъезда из города.

На следующий день он снова направился в Бреславль. Но ни там, ни в Дрездене ему не удалось остаться. Единственный город Германии, из которого его не высылали, оказался Котен, где он временно и поселился. Но это не могло успокоить его противников.

4 октября Рохов сообщал, из Петербурга, что русское правительство не может сократить на прусской границе свои вооруженные силы ввиду тревожного состояния в Польше, а также ввиду того, что Мерославский и Бакунин пользуются в Пруссии свободой действий.

Так в общем одинокий, преследуемый всеми правительствами, ничем не вооруженный, кроме мужества и веры в революционное дело, человек стал пугалом для могущественного аппарата самодержавной России. Начался поединок, в котором, с одной стороны, была не партия, не «горстка героев», как во времена будущей «Народной воли», а один человек, а с другой — не одна монархия, а три: Россия, Пруссия, Австрия.

Славянский вопрос, все более поглощавший мысли и чувства Бакунина, стал для него теперь, во вторую половину 1848 года, единственной надеждой на спасение Европы от захлестывающих ее волн реакции.

Контрреволюция победила в Неаполе, Париже, Вене, Берлине. «…Падение Милана, война против Венгрии; вместо братского союза народов — возобновление Священного союза на более широкой основе под покровительством Англии и России»[125] — так характеризовал Ф. Энгельс политическую обстановку в Европе в феврале 1849 года.

Непосредственно наблюдая события в Германии, Бакунин не ждал ничего от страны, в которой «официальная реакция и официальная революция соперничают в ничтожестве и глупости». Особое раздражение его вызывали бесконечные и бесплодные парламентские дебаты. Под влиянием этой обстановки в августе 1848 года он писал Г. Гервегу: «Я не верю в конституции и в законы: самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное: порыв, и жизнь, и новый, беззаконный, а потому свободный мир» (т. III, стр. 318).

В создании этого свободного мира большая, а в той обстановке, по его мнению, главная роль принадлежала славянам. Основной вопрос современности, считал он, состоял в

следующем: «…Деспотическая Россия, усиленная славянами, задавит ли Европу и всю Германию или Свободная Европа с освобожденными и самостоятельными уже славянами внесет под покровительством Польши свободу в Россию?»

Обстановка вокруг славянского вопроса была чрезвычайно сложной. На пути национально-освободительной и революционной борьбы славян стояла не только сила реакции, стояла и национальная ограниченность лидеров славянского движения, не понимавших необходимострг объединения всех революционных сил Европы, как славянских, так немецких и венгерских. В это сложное для судеб революции время Бакунин понял, что, только объединившись, международные силы демократии смогут смести со своего пути реакционные правительства Европы. Эта идея и заставила его взяться за перо и написать свое «Воззвание к славянам».

Более месяца писал и снова переписывал он это обращение. Сохранившиеся черновые наброски говорят о разных редакциях документа. Большой интерес представляет обращение Бакунина в первом варианте «Воззвания» к социальной проблеме. Погруженный в борьбу за «свободу», которую он понимал весьма широко (как «полное и действительное освобождение всех личностей и всех наций, наступление политической и социальной справедливости… царство любви, братства»), он, как правило, не останавливался конкретно на проблеме освобождения пролетариата, отмене частной собственности, уничтожении эксплуатации. Однако предпринятая им в «Воззвании» попытка объяснить пути и судьбы революции 1848 года неизбежно подвела его к этой проблеме.

Но и здесь он смог ограничиться лишь декларацией, заявив, что социальный вопрос чрезвычайно труден, «преисполнен опасностей и чреват бурями» и что он не может быть разрешен «ни с помощью предвзятой теории, ни с помощью какой-либо отдельной системы» (т. III, стр. 340).

Если в области социальной воззрение Бакунина было расплывчатым, то в национальном вопросе он высказывался вполне определенно. Он предлагал славянам отбросить узконациональные рамки движения, включить в революционный союз мадьяр, подать руку помощи германскому народу. В тех условиях, когда в армиях, идущих походом против революционной Вены, преобладали славянские войска, призыв Бакунина был чрезвычайно актуален.

С большой убежденностью и страстностью звучал в «Воззвании» призыв к революции. «Оглянитесь вокруг: революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей

разрушающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев.

И революция не успокоится, пока не разрушит старого одряхлевшего мира и не создаст из него нового, прекрасного мира. Поэтому в ней и только в ней вся сила и крепость, вся уверенность в победе. Только в ней — жизнь; вне ее — смерть» (т. III, стр. 361).

Наибольшей силы революция достигнет в России, считал Бакунин. «В Москве будет разбито рабство соединенных теперь под русским скипетром славянских народов и всех вообще славянских народов, а вместе с тем и все европейское рабство, и навеки погребено под своим собственным мусором и развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве из моря крови и пламени созвездие революции и станет путеводной звездой для „блага всего освобожденного человечества“» (т. III, стр. 360).

«Воззвание» Бакунина было напечатано в Лейпциге отдельной брошюрой и довольно широко распространено в Германии, Чехии, Польше. Ф. Энгельс отозвался на «Воззвание» в «Новой Рейнской газете» статьей «Демократический панславизм».

«Бакунин — наш друг, — писал Энгельс. — Но это не помешает нам подвергнуть критике его брошюру».[126]

Справедливо упрекнув Бакунина в абстрактности его представлений о свободе, в отсутствии в его брошюре конкретных сведений о сложной политической действительности стран, связанных со славянским вопросом, Энгельс обрушил главные свои обвинения против того, что он называл «демократическим панславизмом». В этом вопросе он был не прав. Все славянские народы, за исключением поляков, представлялись ему контрреволюционными по своей природе, а потому призывы к объединению и совместной освободительной борьбе их против деспотизма выглядели в его глазах хотя и демократическими по форме, но панславистскими по существу.[127]

Историческая правда в этом споре была на стороне Бакунина. Ни один народ по своей природе не может быть контрреволюционным, что позднее и доказала марксистская теория национального вопроса. Панславизм же в любой его форме в эпоху революции 1848–1849 годов был чужд Бакунину. Борьба его «за революционный союз славянских народов, за совместную борьбу славян с немцами и венграми» была борьбой не панслависта, а революционера и демократа.

«Воззвание» Бакунина встревожило силы реакции в Австрии и России. Австрийские власти начали судебное преследование против брошюры и ее автора, обвинив его «в государственной измене».

В России Дубельт писал шефу жандармов графу Орлову: «Я с ужасом читал ядовитые возгласы Бакунина, и простите меня, ваше сиятельство, ежели осмелюсь сказать, что грешно будет нашим посольствам не употребить тайных стараний задержать его и доставить в Россию». На докладе Дубельта граф Орлов надписал: «Об этом лично я докладывал г. императору и сказал его величеству, что у меня не только духу недостало представить ему сих скверностей, но сам едва мог оные прочитать с омерзением» (т. III, стр. 535).

Сам Бакунин в общем был доволен успехом «Воззвания». В январе 1849 года он писал Гервегу: «Я проживаю теперь тайно в Лейпциге и работаю изо всех сил: моя цель заключается в том, чтобы оторвать славян от реакции, в которую ее бросили низость их предательских вождей, а равно как и недемократическое и государственническое настроение немцев и мадьяр. Моя работа оказывается не бесплодною, и теперь австрийское правительство преследует меня всевозможными способами» (т. III, стр. 371).

Наблюдая близко жизнь Германии 1848 года, видя низость и ограниченность ее буржуазных лидеров, равнодушие массы городского населения, он приходил к мысли, что лишь «анархическая крестьянская война» может спасти Германию. «Анархия, разрушение государств, все же скоро должна будет наступить», — писал он Герцену.

Вряд ли можно сказать, что подобные мысли свидетельствовали об анархическом кредо Бакунина. Анархистом он тогда не был. Но ориентация на мелкобуржуазные слои прослеживается в его выступлениях и письмах 1848–1849 годов. В отношении будущей организации общества он был федералистом, рассматривая этот вопрос пока лишь в применении к славянским странам.

Основу для особого пути развития России и славянства Бакунин так же, как позднее и Герцен, видел в общинной организации крестьянского мира.

Ставка на крестьянскую общину как социалистический институт народной жизни была отличительной чертой революционно-демократической идеологии. Другие важнейшие черты этой системы взглядов: народная революция как путь социального преобразования общества, отстаивание права на самоопределение порабощенных народов, бескомпромиссная борьба со всеми видами социального и национального гнета и прежде всего с крепостничеством и самодержавием — все то, что легло в основу программы русской революционной демократии 50—60-х годов, было в общей форме сказано Бакуниным в конце 40-х годов.

Свои взгляды на русскую революцию наиболее полно Бакунин изложил в анонимной брошюре «Русские дела».

Русская революция была главной, конечной его целью. Обосновать неизбежность ее считал он своей задачей. Однако теоретический багаж его в этом отношении был невелик. Характерно его признание на этот счет в «Исповеди»: «За границей, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции, — натягивая или обрезывая на прокрустовой кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство».[128]

Написать большую работу о России Бакунин собирался давно. Еще в Швейцарии в 1843 году этот вопрос стоял перед ним. Однако постоянные скитания, всегдашняя бурная и многогранная деятельность все время отвлекали его от этого намерения. События 1848 года и та позиция, которую он занял как теоретик славянского движения, настоятельно требовали его выступления. Необходимость подобной работы обусловливалась также той ролью, которую играла Россия в эпоху революции.

Один из участников Дрезденского восстания, проведший в одной камере с Бакуниным некоторое время, Ф. Кюрнбергер, обосновывает появление брошюры о России именно ее международной ролью.

В борьбе между реакцией и революцией «обе стороны, — пишет он, — сражались не только своим собственным оружием, — в борьбе принимала участие тень, кажущаяся величина, призрак. Этой кажущейся величиной была Россия. Надежда на русский союз и страх перед русским нашествием — вот действительно один из решающих моментов в борьбе между революцией и реакцией. Бакунин верным глазом распознал это моральное положение. Он видел немецкую демократию, лишенную мужества и раздавленную перед этим призраком, он видел немецкую реакцию набирающейся гордости и силы при помощи все того же призрака». Он сделал попытку, «поскольку это было в его силах, заклясть злого волшебника, освободить немецкую грудь от невидимого, призрачного гнета».[129]

Возможно, что Кюрнбергер отчасти прав и Бакуниным, с одной стороны, руководило подобное намерение, с другой же стороны, он действительно натягивал на прокрустово ложе своих демократических желаний российскую действительность.

В итоге брошюра его преувеличивает слабость самодержавия и силы русских революционеров. Ничто, «никакие национальные,

никакие религиозные узы не связывают народ с царем», — утверждает Бакунин. Единственная сила, на которую может опереться царь, — это армия, но и здесь уже не все спокойно.

Солдаты, прошедшие воинскую службу, являются в деревни и становятся вожаками крестьянских бунтов. А бунты и восстания все учащаются, причем значительную роль в них играют сектанты, преследуемые более других властями и церковью. «Русский народ вообще легко возбудим… и достаточно какой-нибудь небылицы, чтобы толкнуть его на выступление».

«Радикальная молодежь… пренебрегает государственной службой и стремится к народу, стараясь слиться с ним в деревне». Итак, Россия накануне революции. И это в 40-х-то годах! Поистине, революционный оптимизм Бакунина не знал преград.

Но, помимо преувеличений и фактических ошибок, в брошюре есть и другое: революционно-демократические взгляды Бакунина. Те самые взгляды, с которыми он вскоре не по своей воле сойдет с политической арены и с которым вновь спустя 12 лет появится в Европе.

Но вернемся к его деятельности эпохи «бури и натиска».

Год назад, в марте 1848 года, уезжал из Парижа в Германию, с тем чтобы потом оказаться ближе к границам России и поднять там польское движение, Бакунин, как говорилось выше, не имел ни определенных, конкретных планов, ни достаточных средств, ни связей. Теперь за исключением денег у него было все, и прежде всего десятки людей, главным образом в славянских странах, готовых следовать его революционным планам.

Был и конкретный план революции, исходным пунктом которого стала Богемия (часть современной Чехословакии — Чехия, входившая тогда в состав Австрийской империи). На Богемии Бакунин решил остановиться потому, что там вследствие сохранившихся во всей тяжести феодальных повинностей легче было поднять крестьян.

Богемское восстание должно было далее слиться с революцией в Германии. Общей революционной волной должна была быть захвачена Венгрия. Польское же и русское движение мыслилось как естественное продолжение европейской революции.

В плане богемской революции Бакуниным предусматривался ряд конкретных мер, весьма напоминавших казарменно-коммунистические идеи Вейтлинга.

После победы революции, уничтожения всех замков, правительственных учреждений и долговых бумаг революционное правительство, облеченное «неограниченной диктаторской властью», должно изгнать и уничтожить всех

«противоборствующих», за исключением некоторых чиновников из главных, оставленных для совета и статистических справок. «Уничтожены также все клубы, журналы… Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю для того, чтоб дать ему провизорную революционную и воинскую организацию».[130]

План этот для Бакунина уникален. Не будучи еще анархистом, он тем не менее не высказывал ни ранее, ни позднее этого пристрастия к «неограниченной диктаторской власти», а также к строгой регламентации жизни общества. Возможно, что подобная постановка вопроса обусловливалась самой логикой борьбы, необходимостью иметь какие-то твердые установки на случай скорой победы, в которую он верил.

Однако не утопичность теоретических построений Бакунина в это время, а именно его колоссальная организаторская деятельность сделала его одной из центральных фигур революционной борьбы, развернувшейся весной 1849 года в Богемии и Саксонии.

Из Лейпцига, где он опасался ареста после преследования, возбужденного против него властями в связи с его «Воззванием к славянам», Бакунин направился нелегально в Дрезден. Этот город был выбран им также и потому, что благодаря своим многочисленным связям с дрезденскими демократами он мог благополучно скрываться там и одновременно следить за ходом событий в Богемии.

Первые несколько дней он жил у Карла Августа Реккеля. Директор саксонской музыкальной капеллы и издатель «Народного листка», человек демократических, революционных убеждений, Реккель близко сошелся с Бакуниным.

Позднее Реккель писал о Бакунине: «Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импонирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко удавалось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от национальной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознательным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призванной к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообману насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского царизма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные личные связи

с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день» (т. III, стр. 505).

В отношении «самообмана» и его причин Реккель, очевидно, прав. Однако и он переоценивал возможности Бакунина, считая фактом наличие у него многочисленных единомышленников в России.

Таких просто не было. Но в Европе по тем масштабам борьбы их было не так уж мало. К тому же сила убеждения и личное обаяние его были таковы, что всегда под рукой у него оказывались люди, готовые идти вслед за ним или ехать с его весьма опасными поручениями в другой город или страну, сражаться, а порой и гибнуть в тюрьмах или на баррикадах. Другое дело, что порыв, часто увлекавший этих людей, не всегда выдерживал испытаний, но на первых порах все шло так, что давало повод Бакунину верить в неотразимость своих идей, планов, акций.

Так и теперь студенты Иосиф Фрич, братья Густав и Адольф Страка, Геймбергер; поляк, сведущий в военном деле, Иосиф Аккорт стали эмиссарами Бакунина в Праге, приняв нелегкую миссию подготовки восстания на месте.

Сведения, получаемые из Праги, в середине марта потребовали, по мнению Бакунина, его присутствия.

В своих воспоминаниях Рихард Вагнер не без иронии описал эту поездку Бакунина: «Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского купца. Ему пришлось остричь бороду, и обрить свои великолепные кудри, и придать себе филистерски культурный вид. Так как пригласить парикмахера было нельзя, Реккель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствии небольшого кружка знакомых тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка полувзрослых студентов».[131]

Вагнер не точен. Студенты действительно составляли большинство адептов Бакунина в Праге. Но были там и вполне взрослые люди, члены демократической чешской организации «Славянская липа», явившиеся к нему на совещание по поводу организации восстания.

Среди них можно назвать и ранее привлеченных плаком Бакунина издателя «Известий Славянской липы», политического деятеля и писателя Карла Сабину,[132] известного публициста и политического деятеля, лидера левого крыла «Славянской липы» Эммануила Арнольда, журналистов и редакторов демократических изданий: Вильгельма Гаука, Винцента Вавру, Яна Кнедльганса, Люблинского, депутата австрийского рейхстага Франтишека Гавличека и др.

И хотя в среде этих людей не было полного единомыслия, однако основания для веры в серьезность их намерений у Бакунина могли сложиться.

После его отъезда в апреле 1849 года в Праге была создана тайная группа, действовавшая в духе указаний Бакунина. Велась пропаганда между немецкими и чешскими студентами и ремесленниками, обсуждались вопросы, связанные с распределением обязанностей в момент захвата власти, намечались стратегические планы.

Решающее условие победы Бакунин видел в преодолении национальных границ движения; поэтому революционный союз чехов и немцев был наиболее важным моментом его планов. Агенты Бакунина в Праге немец Оттендорфер и чех Г. Страна во многом помогли созданию первых смешанных чешско-немецких организаций.

Находясь в Дрездене, Бакунин пытался держать в руках все нити пражского заговора. 30 апреля через Реккеля он послал в Прагу письмо и записку К. Сабине и Э, Арнольду, он писал, что «податель сего письма Реккель», вполне надежный и дельный человек, едет, чтобы сговориться об объединении чешского и немецкого движения. «Нам нельзя упускать времени, — его очень немного в нашем распоряжении, — чтобы все подготовить. Если в ближайшем будущем не вспыхнет восстание, то придут русские, так как реакция в Европе действует по одному плану, а Россия — опора всех реакционных предприятий» (т. III, стр. 397).

Записка И. В. Фричу и братьям А. и Г. Страка была предельно лаконична. «Милые друзья, вам уже известен податель этой записки, — окажите ему полное доверие. Он является к вам по моему поручению. Ваш Максимилиан».

Документы эти потом, во время следствия, стали серьезной уликой против Бакунина, пока же они сыграли свою роль, активизировав действия чешских демократов.

Торопя заговорщиков с выступлением, Бакунин собирался сам отправиться туда, где, по его мнению, был решающий очаг борьбы.

Пока в Праге шли приготовления, в Дрездене вспыхнуло

восстание. Получив известия об этих событиях, заговорщики назначили выступление на 12 мая. Но 9 мая начались аресты. Организация была разгромлена. Выступления не состоялись.

Дрезденские события, спутавшие все карты в планах Бакунина, начались в первых числах мая и ознаменовались широкими народными демонстрациями. Повод был тот, что саксонское королевское правительство, не признав имперскую конституцию, принятую 12 апреля франкфуртским парламентом, назначило открыто реакционное министерство.

За конституцию высказались: городская администрация, гражданское ополчение и рабочий союз. Король продолжал упорствовать. В речах ораторов, на страницах «Дрезденской газеты» появились прямые призывы к восстанию. 3 мая произошли первые столкновения между толпой, осаждавшей арсенал, и войсками. Вслед за этим рабочие стали строить баррикады. Король обратился за помощью к Пруссии, но, не дожидаясь прибытия прусских войск, бежал в крепость Кенигштейн. 4 мая было создано временное правительство из двух представителей конституционной партии, окружного начальника Гейбпера и статского советника Тодта, и представителя демократической партии адвоката Чирнера.

Один из участников событий, С. Борн, назвал членов временного правительства «либеральными немецкими мещанами, взявшими на себя опасные функции не без внутренней борьбы».

Вплоть до 4 мая Бакунин не верил в серьезность происходящих событий. Его все еще влекли лишь богемские дела, он стремился только в Прагу.

В черном фраке, с неизбежной сигарой во рту он бродил по запруженному возбужденными толпами городу. На одной из улиц он встретил Вагнера. «Я был уверен, — вспоминает последний, — что дрезденские события должны его наполнить восторгом. Оказалось, что я ошибся. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом для себя лично он усматривал только одно удобство, возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не казалось ему столь серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие».[133]

Однако уже на другой день Бакунин вынужден был изменить оценку положения в городе и решить свою позицию в восстании. Говоря о своих колебаниях на этот счет в «Исповеди», он писал: «Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачинщиком Пражского, как немецкого, так и чешского заговора, послал

братьев Страну в Прагу и подверг в оной многих явной опасности, поэтому не имел права сам избегать опасности».[134]

Но скорее всего Бакунин остался потому, что не мог поступить иначе. Революция, где бы она ни возникала, всегда была его личным делом. Так стало и на этот раз. Да и мог ли он оставить дрезденских демократов, которые спрашивали его советов, нуждались в его помощи.

Среди тех, кто был близок с Бакуниным в эти дни в Дрездене, были Реккель, композитор Рихард Вагнер, которому импонировали как идеи Бакунина, так и его музыкальная одаренность; был здесь и старый знакомый Бакунина (с 1842 г.) Людвиг Виттиг — один из редакторов «Дрезденской газеты», находившейся под большим влиянием Бакунина, и Леон Цихлинский — офицер и демократ, сыгравший большую роль в присоединении к восстанию муниципальной гвардии.

Немецких друзей Бакунина поражала его необычная натура. «Все в нем было колоссально, — писал Вагнер, — все веяло первобытной свежестью… В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина (Реккеля. — *Н. П.*), мог дискутировать с людьми различных оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливающихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайной уверенностью, справиться было невозможно».[135]

Но, несмотря на все свои «страшные» речи, Бакунин, по словам Вагнера, отличался «тонкой и нежной чуткостью», а «антикультурная дикость» сочеталась в нем с «чистейшим идеализмом человечности».

Среди группы интеллигентов-демократов, нерешительных и колеблющихся, лишь волею случая оказавшихся во главе восстания, Бакунин, бесспорно, играл весьма крупную роль.

Для того чтобы успешно организовать оборону, по словам Реккеля, нужен был «революционный гений», который к тому же знал бы тактику уличного боя. Подобными достоинствами Бакунин не обладал, но как честный человек, взяв на себя определенные и весьма нелегкие обязанности, он выполнил их до конца.

Попробуем восстановить картину событий, начиная с 4 мая, когда Бакуниным было принято решение не покидать Дрезден.

Сославшись на просьбу Чирнера принять участие в обороне города, он, однако, не захотел стать главнокомандующим силами повстанцев, посоветовав пригласить для военного руководства

двух сведущих в этом поляков: Гельтмана и Крыжановского.

5 мая поляки вместе с Бакуниным обосновались в ратуше, в комнате, где заседало временное правительство.

Угол, занятый и все последующие дни этим генеральным штабом восстания, был отгорожен железными ширмами. Здесь и решались все стратегические и тактические задачи.

Штаб принялся за работу. Прежде всего была предпринята попытка разработать планы атаки на правительственные войска, но в связи с недостатком сил пришлось ограничиться мерами обороны. Бакунин вместе с помощниками составил «Регламент распорядка на баррикадах», который и был сообщен начальникам баррикад, отдавал распоряжения о занятии или укреплении того или иного пункта, о доставке и раздаче боеприпасов, распределял доставленные из Бурга пушки, принимал меры к отражению предполагавшейся на следующий день атаки на Замковой улице.

В самом начале восстания необходимо было захватить королевский дворец — огромное сооружение, господствующее над значительной частью города и являющееся ключом к старой его части. Этого сделано не было. Тогда будто бы Бакунин предложил взорвать дворец. Это решение вызвало сопротивление бургомистра, опасавшегося, что пострадают и другие дома. По рассказу Гейбнера, Бакунин, «спокойно попыхивая сигарой, ответил: Э, что дома — теперь они только для того и годятся, чтобы быть сожженными». План взрыва был принят. Приглашенные для этой цели горняки согласились окружить дворец подземным ходом. Начали действовать, но вскоре обнаружилось, что нет достаточного запаса пороха, а подземные ходы гарнизон дворца залил водой. План сорвался.

Имел ли этот эпизод действительно место, сказать трудно. По крайней мере на следствии Бакунин отрицал его, но ведь то было на следствии… Психологически подобный ответ Бакунина вполне допустим. Менее в этом смысле допустима, пожалуй, весьма популярная легенда, выдаваемая А. И. Герценом за действительный факт, о том, что Бакунин посоветовал руководителям восстания выставить на городские стены «Мадонну» Рафаэля и сообщить прусским офицерам, что, стреляя по городу, они могут испортить бессмертное произведение искусства. «Немцы, — говорил будто бы Бакунин, — получили слишком классическое образование, чтобы стрелять по Рафаэлю».

Впоследствии (в 70-х гг.) эта легенда кем-то вспомнилась в присутствии Бакунина, причем он не стал отрицать ее.

Но вернемся к событиям 6 мая. В этот день Бакунин с Гейбнером сами направились на баррикады. Они обошли весь город, причем Гейбнер, как человек известный и популярный

среди защитников баррикад, выступал кое-где с речами, а Бакунин давал конкретные указания по организации обороны.

Еще в начале событий временное правительство обратилось к другим городам Саксонии с призывом о помощи. 5 мая из Хемница пришли отряды механиков и горнорабочих, привезя с собой четыре пушки. Вечером 5-го числа Бакунин осмотрел пушки, утром 6-го они должны были быть установлены в соответствующих местах.

Однако это распоряжение, да и многие другие, не выполнили быстро и точно, как того требовала весьма напряженная обстановка. Большую путаницу в дело вносил подполковник Гейнце, который непосредственно на улицах должен был руководить баррикадными боями.

Заняв, по словам Бакунина, место начальника национальной гвардии, Гейнце или предпринимал попытки не согласованных с Бакуниным действий, или не выполнял его прямых требований.

Поведение Гейнце настолько возмущало Бакунина, что в «Исповеди» он изобразил его главным виновником военных неудач восстания. В то время как он (Бакунин) делал вес, что мог, чтобы спасти «погубленную и, видимо, погибающую революцию, не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил… Собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок, собрать силы для наступательных действий; но Heinse разрушал все мои меры в зародыше, так что моя напряженная лихорадочная деятельность была всуе».[136]

Но дело, конечно, было не только в Гейнце. Почти все руководство восстанием оказалось не на высоте. Прежде других покинули свой пост Гельтман и Крыжановский. 6 мая, видя, что силы повстанцев тают, что шансов на успех нет никаких, а главное, что дрезденское восстание ничем не может помочь польскому делу, оба соратника Бакунина, не предупредив его, исчезли из города. С 7-го Бакунин остался единственным человеком среди руководителей, что-либо понимающим в военном деле.

В работе «Революция и контрреволюция в Германии» Маркс и Энгельс назвали Бакунина «спокойным и хладнокровным вождем» восстания. Об «удивительном хладнокровии» Бакунина пишет и Вагнер. И действительно, в самые тяжелые дни, 7—9-го числа, Бакунин проявил большую выдержку и мужество.

После того как стало известно, что к войскам короля саксонского присоединились прусские полки, что боеприпасы повстанцев почти исчерпаны, паника охватила членов правительства. Чирнер начал собирать и жечь официальные документы, а затем так же, как поляки, исчез из города. Еще

ранее его бежал Тодт. Перед Гейбнером и Бакуниным — последними представителями руководства — встал вопрос, что же делать дальше. По показаниям Бакунина, Гейбнер заявил, что после своих выступлений перед восставшими «ему совершенно невозможно бежать и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом намерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя, пожалуй, мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского».

Ночью с 7-го на 8-е к Бакунину явился Гейнце и сообщил, что утром предполагается общий штурм позиций повстанцев, который защитники баррикад не смогут выдержать. Бакунин предложил прорыв и направил Гейнце на разведку. Однако обратно тот не вернулся, так как попал (или сдался) в плен. Тогда в ратушу на совет были созваны все начальники баррикад. Один из них, Стефан Борн, предложил произвести атаку на противника и тут же единогласно был избран командующим вместо Гейнце. Но план атаки осуществить не удалось. 8-го, после того как прусские войска заняли часть улиц Дрездена, Бакунин и Борн стали разрабатывать план выхода повстанцев из города. Зайдя в этот день в ратушу, Вагнер увидел, что среди общей растерянности «один только Бакунин сохранял ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацев, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту».[137]

Необходимость отступления Бакунин не связывал еще с полным поражением. Он рассказал Вагнеру, что дрезденские позиции мало пригодны для продолжительной борьбы и что есть смысл отступить в район Рудных гор, рабочее население которых и стекающиеся туда вооруженные отряды помогут повстанцам.

Рано утром 9-го согласно разработанному плану началось организованное отступление. Во время остановки в Фрейберге между Бакуниным и Гейбнером разгорелся спор. Гейбнер настаивал на том, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и предлагал распустить отряды, но Бакунин убедил его в необходимости до конца остаться с восставшими и в случае поражения умереть. Следующим городом на их пути был Хемниц.

Вечером, сев в экипаж вместе с Гейбнером, Бакунин немедленно заснул и разбужен был лишь вооруженной охраной у ворот Хемница. На вопрос, кто они такие, Гейбнер назвал себя и, сказав, что едут они в гостиницу, попросил пригласить туда представителей городской власти, Ожидаемого Гейбнером

восторженного приема не произошло. Напротив, вооруженные мещане смотрели на него весьма враждебно. Стража проводила путников до дверей гостиницы, а явившийся бургомистр потребовал их немедленного удаления. Гейбнер отказался. Измученный до предела Бакунин смог бросить лишь одну фразу: «Идем спать». Ночью в гостиницу ворвались жандармы. Арестованные Бакунин и Гейбнер попросили, чтобы им дали возможность несколько часов поспать, сказав, что сейчас о бегстве не может быть и речи.

Утром иод сильным военным эскортом они были доставлены в дрезденскую тюрьму.

«Саксонская следственная комиссия, — писал Бакунин, — удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попыткп для своего освобождения. И в самом деле, можно было вырваться из рук бюргеров, но я был изнеможен, истощен не только телесно, но и нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся… что меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства».[138]

ГЛАВА IV
ЦЕНА СВОБОДЫ

В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым.

М. Бакунин

«Часы жизни остановились…» — так писала о времени своего двадцатилетнего заключения в Шлиссельбурге Вера Фигнер. Участь Бакунина, казалось, была легче. Он просидел лишь два года в саксонских и австрийских тюрьмах, лишь семь лет в Алексеевском равелине и Шлиссельбурге и лишь четыре года в сибирской ссылке. Другим действительно приходилось труднее. Но ведь трудность не только в сроке. Главная трудность была в другом. Мог ли человек сознательно и последовательно противостоять той злой воле, которая останавливала часы его жизни? Многие не могли. Предавали себя и других, кончали самоубийством или просто сходили с ума. В биографических книгах о таких людях последняя глава — глава о времени и обстоятельствах их заключения. С Бакуниным, как и с теми другими, кто смог выдержать испытание, все иначе. Мы еще на середине его жизни, и самая деятельная и бурная ее часть впереди.

Итак, этап первый — тюрьмы Саксонии. Камера, архаический сейчас атрибут — цепи, следствия и допросы, допросы… Линия поведения. Об этом следует сказать прежде всего. Ведь для того времени, когда в активе русского революционера мог быть лишь печальный опыт большинства декабристов, когда не было никаких готовых рецептов, когда ценою моральных страданий приобретались еще первые уроки гражданственности и революционной этики перед лицом следствия, поведение каждого зависело только от личной убежденности, личной веры и личного мужества. Долгим и поистине мучительным опытом борьбы за тюремной решеткой, на следственной скамье создали русские

революционеры 60— 80-х годов прошлого века правила нравственной и революционной (а не дворянской) чести.

Два главных элемента были в этом правиле: не выдавать товарищей; обращать всякое следствие, а тем более гласный суд в средство пропаганды революционных взглядов. И хотя в той позиции, которую Бакунин занял в Алексеевском равелине по отношению к Николаю I, было что-то от традиций дворянских революционеров (о чем речь ниже), в целом он вел себя с полной ответственностью, с полным сознанием значения своих показаний. Возможно, что не только убежденность и мужество, но и темперамент борца и пропагандиста толкнули его на этот путь. Свойственная ему страсть проповедовать, обращать на путь истины всех окружающих распространилась и на членов следственной комиссии. В показаниях он не только не скрывал своих взглядов, но, напротив, старался доказать неизбежность революции, обосновать право на революционную борьбу угнетенного большинства. Было ли это только наивностью? Пожалуй, нет. Скорее всего это была активная форма защиты и пропаганды, хотя и с минимальными шансами на успех.

Что же касается конкретных вопросов, предъявляемых следствием, тут ответы Бакунина носили иной характер. Приведем несколько отрывков из протоколов допросов в августе 1849 года.

«По предъявлении письма на русском языке:

— Кем написано это письмо, и напишите сами его фамилию.

— Фамилию лица, написавшего это письмо, я не назову, дабы не замешать его в это дело.

…По предъявлении письма на русинском языке:

— Кем, кому и с какой целью было написано это письмо?

— Это начало письма написано мною и притом не на русинском, а на русском языке латинским шрифтом. Кому это письмо адресовалось, я не скажу.

…По предъявлении четырех писем на русском языке, подписанных „мадам Полудина“:

— Кем и, кому написаны эти письма? Кто такая эта госпожа Полудина? И в каких отношениях вы с нею состояли?

— Все четыре предъявленных мне письма написаны мне одной и той же дамой… Я, однако, категорически отказываюсь что-либо сказать об этой даме, и даже не скажу, является ли подпись на одном из них „мадам Полудина“ ее настоящей фамилией.[139] Точно так же я не скажу, кто другие упомянутые в письме лица и верно ли написали их фамилии. Я вообще отказываюсь дать какие-либо показания относительно обстоятельств этих лиц и моих отношений с ними».[140]

Помимо простого отказа отвечать на те или иные вопросы, Бакунин применял и иной метод. Он пытался запутать следствие, говорил полуправду или давал ложные показания, отрицал совсем те или иные факты. Арестованный с оружием в руках при отступлении из Дрездена, где его участие в восстании было очевидным, он не собирался в основном отрицать своей роли в майских событиях. Однако все, что касалось богемского заговора и подготовки восстания в Праге, он пытался по возможности скрыть, завуалировать, чтобы избавить от репрессий многих участников движения. Подобная тактика была чрезвычайно трудной, так как показания других да и неосторожно сохраненные документы говорили против Бакунина.

Большой ущерб попыткам Бакунина скрыть свои связи с готовящимся восстанием в Праге невольно нанес Реккель. В свое время отправляясь с поручением Бакунина в Прагу, он не передал письма по адресу, а лишь показал их Фричу, Сабине, Арнольду, а затем забыл уничтожить. Когда же 7 мая он был арестован, то письма оказались при нем, и хотя никаких фамилий там названо не было, но записная книжка, также отобранная у Реккеля при обыске, дополнила следствию картину и по этой части.

Обратимся опять к протоколу допросов. «По предъявлении записки, подписанной „Максимилиан“:

— …Была ли эта записка адресована другим лицам, чем только упомянутое вами письмо, которое вы также дали Реккелю?

— На этот вопрос я не отвечу, ибо я не желаю называть тех лиц, коим предназначалась эта записка.

Записка заканчивалась словами: „Он является к вам по моему поручению“.

— Скажите, в чем заключалось ваше поручение?

— Поручение заключалось в том, чтобы Реккель „разузнал о положении дел и о настроении в Богемии“. Я же интересовался этим потому, что вообще интересуюсь освобождением славян.

— Почему вы подписались на записке „Максимилиан“?

— Сделал я это потому, что один из господ, которому была адресована эта записка, не выносил моего имени Михаил, а потому в шутку называл меня Максимилианом».

«Один из господ» был Иосиф Фрич. Бакунин прилагал все усилия, чтобы скрыть его роль в заговоре.

«— Знаете ли вы пражского студента Иосифа Фрича?

— Я познакомился во время моего пребывания в Праге в июне прошлого года с неким Фричем. Этот Фрич, имя которого мне неизвестно и относительно которого я лишь предполагаю, что он был студентом, носил славянский национальный костюм и был молодой человек небольшого роста, но красивой наружности.

— В каких отношениях находились вы с этим Фричем?

— Отношения мои с Фричем носили характер поверхностного знакомства, и я не преследовал с ним никаких практических целей; не было у меня с ним и переписки…

— Что вам известно о политической деятельности Фрича и о его политических связях?

— Ровно ничего, впрочем, знай я даже что-нибудь, я бы этого не сказал».[141]

Но если Бакунин пытался скрыть Фрича, то Фрич и не думал сделать того же в отношении как Бакунина, так и других участников заговора. Его откровенные показания граничили с прямым предательствохм. Однако награда за такое поведение была невелика. В 1851 году, когда закончилось следствие в Австрии, Фрич по окончательному приговору получил 18 лет каторги, в то время как другие его товарищи были осуждены на 20 лет.

Почти никому из руководителей восстания не удалось избежать ареста. Первое время (более трех месяцев) они содержались в тюрьмах Дрездена. По воспоминаниям А. Реккеля, русский революционер считался самым опасным из всех заключенных. «Ему даже приписывались как бы сверхчеловеческие силы. Прогулка на маленьком дворике, окруженном двумя зданиями и двумя высокими стенами, ему была разрешена только позже по предписанию врача, да и то на прогулку его выводили закованным в цепи, что не делали ни с кем из остальных» (т. IV, стр. 389).

Однако среди простых солдат, охранявших заключенных, нашлись люди, передававшие русскому узнику, несмотря на строгий запрет, книги, бумагу и письма.

Вскоре, опасаясь побега заключенных, власти перевели Бакунина, Реккеля и Гейбнера в сильно укрепленную крепость Кенигштейн, расположенную на берегу Эльбы. Но и здесь сочувствие солдат охраны дошло до того, что заключенным был предложен побег. «Гейбнер отклонил предложение, — вспоминает Реккель, — я и Бакунин изъявили свою готовность». Когда все, казалось, было готово, начальство заподозрило неладное. В камерах был произведен обыск, гарнизон сменен, и приняты более строгие меры охраны.

Как же чувствовал себя этот беспредельно энергичный человек в тюремной камере? Заключение было, конечно, тяжело для него, но не трагично. И хотя он написал однажды: «Теперь я — ничто, т. е. только думающее, значит не живущее существо», однако жизнь умственная всегда была неотъемлемой частью его натуры. Пессимизма же, разочарованности в революционном

деле, как это случалось с некоторыми, оказавшимися за тюремной решеткой, он не испытывал. К тому же он продолжал борьбу, на этот раз борьбу со следственной машиной. Допросы, письменные показания, переписка и беседы с защитником Францем Отто занимали немало времени. Кроме того, он усиленно занимался математикой, много читал, переписывался с друзьями. Даже цепи, в которых его выводили на прогулку, не смущали его. «Может быть, это тоже символ, чтобы напомнить мне в моем одиночестве о тех невидимых узах, которые связывают каждого индивидуума со всем человечеством» (т. IV, стр. 120), — иронически писал он Матильде Рейхель.

А тем временем участь кенигштейнского узника сильно беспокоила его друзей. Газеты писали о неизбежном смертном приговоре. «Все мне говорят о твоем конце, — писал Бакунину Рейхель, — но я не хочу этому верить. Нет, ты будешь жить… Правда, я ко всему готов. Есть ли какая-нибудь гнусность, какая-нибудь бессмыслица, которые были бы невозможны в настоящее время. Мы все пойдем по пути, которым, быть может, ты теперь идешь, дай бег, завершить его и нам с такой же честью, как и тебе».[142]

Ожидания смертного приговора не могли, очевидно, не волновать и самого Бакунина, однако никаких переживаний на этот счет нет в его письмах. Один лишь раз в письме к Рейхелю он бросает фразу, свидетельствующую о том, что не всегда спокойно бывает у него на душе: «Когда мне плохо, то я вспоминаю мою любимую поговорку: „Перед вечностью все ничто“ и на этом баста». Но в том же письме он дает следующую идиллическую картину своей тюремной жизни: «Что касается меня, то я здоров, спокоен, много занимаюсь математикой, читаю теперь Шекспира и изучаю английский язык — математика в особенности является очень хорошим средством для абстракции, а ты знаешь, что я всегда имел отменный талант к абстракции, а теперь я волей-неволей очутился в абстрактном положении» (т. IV, стр. И). Это, конечно, каламбур. Из других его писем можно понять, что математика, в частности высшая тригонометрия, которой он главным образом занимался, не была для него уходом в мир абстрактных представлений. Напротив, это было конкретное знание. «Я теперь… не жажду ничего иного, кроме положительного знания, которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения, которыми всегда занимались метафизики и теологи, противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты» (т. IV, стр. 17).

«Вообще, — пишет он в другом месте, — у меня нет ни малейшего интереса к теории, ибо уже давно, а теперь больше чем когда-либо, я почувствовал, что никакая теория, никакая готовая система, никакая написанная книга не спасет мира. Я не держусь никакой системы: я искренне ищущий» (т. IV, стр. 98).

Любовь к математике и музыке всегда объединяла Рейхеля и Бакунина. И теперь в их переписке эта тема проходит через все письма.

«Что поделывает музыка? — спрашивает Бакунин. — Сочинил ли ты что-нибудь новое? Как обстоит дело с обещанной мне симфонией?»

«Математика должна заменить тебе музыку, — пишет Рейхель. — Как охотно я тебе сыграл бы что-нибудь теперь в утешение, как некогда играл для развлечения… Ты спрашиваешь меня о моей музыке, о твоей симфонии. Ты ее получишь, если только бог оставит нас в живых и если не иссякнет во мне вконец музыкальная жилка».[143]

«Ради бога не давай заглохнуть своей музыкальной жилке, — отвечает Бакунин. — Из всех видов искусства музыка одна имеет теперь право гражданства в мире, ибо там, где говорят пушки и сама действительность, поэзия должна молчать. Живописи пришлось живописать бы только безобразное, а о скульптуре я уж и вовсе не говорю… Архитектура еще не нашла нового божества, которому она могла бы воздвигать храмы, и должна довольствоваться постройкой теплых и удобных зал для болтающих парламентов. Музыка одна имеет место в нынешнем мире именно потому, что не претендует на высказывание чего-либо определенного и выражает только общее настроение, великое тоскующее стремление, коим преисполнено наше время. Поэтому она должна быть великим и трагическим искусством» (т. IV, стр. 19).

Пока, сидя в одиночной камере крепости, Бакунин был погружен в свои занятия и мысли, саксонская судебная машина работала полным ходом. В обвинительном акте, предъявленном ему, значилось, что он «состоит эмиссаром Ледрю-Роллена для возмущения славянских народов, для обращения их в республику и для возбуждения войны между Пруссией и Россией; также послан от парижского революционного комитета с особым поручением в Великое Герцогство Познаньское и для убиения российского императора и, наконец, в Берлине состоял в тесной связи с левою партией» (т. IV, стр. 27).

На основании всех этих мифических «преступлений» 14 января 1850 года суд первой инстанции приговорил Бакунина и двух его товарищей, Гейбнера и Реккеля, к смертной казни.

«Итак, Вы уже знаете, что я приговорен к смерти, — сообщал Бакунин Матильде Рейхель. — Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, т. е. заменен пожизненным заключением в крепости. Я говорю „Вам в утешение“ потому, что для меня — это не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положа руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь… сидеть в одиночестве, в бездействии, никому не нужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней!» (т. IV, стр. 21). Да, действительно, перспектива была бесконечно мрачной, и тем не менее Бакунин, так же как и его товарищи но процессу, обжаловал приговор.

Адвокат Бакунина — Франц Отто, очень хорошо относившийся к своему подзащитному и много помогавший ему, получил три недели срока на составление новой защиты. Кроме того, по саксонским законам, подсудимый имел право и на собственную защиту. Бакунин и Гейбнер решили использовать это право в интересах политического освещения процесса. Гейбнер успел составить свою «самозащиту», Бакунин же, принявшийся за дело слишком обстоятельно и вместе с тем не спеша, опоздал.

«Защита» его, разросшись размером до четырех печатных листов, так и осталась незавершенной. Однако материал этот представляет собой большой интерес. Только изложив свои подлинные взгляды на положение дел в России и Европе, считает Бакунин, только выразив полностью свое политическое кредо, он сможет опровергнуть вздорное обвинение суда. С этой целью он излагает свои взгляды па положение дел в России, славянских странах, Австрии и Пруссии. В этой части «защита» перекликается с его анонимной брошюрой «Русские дела». Так же как и в брошюре, высказывание политических взглядов служит здесь двум целям: познакомить Европу с положением дел в стране, малоизвестной на Западе, обосновать свое участие в европейской революционной борьбе. Вяч. Полонский называет «защиту» первой «Исповедью» Бакунина. Отчасти он прав. И там и здесь автор исходит из одних посылок: мир столь плохо устроен, что разумный и честный человек не может не бороться против существующих общественных систем. Но в «Исповеди» много и других акцентов, обусловленных обстоятельствами ее написания. «Защита» же проще, яснее.

Одна из основных мыслей этого документа состоит в том, чтобы объяснить следствию свою главную цель — освобождение России. Не имея возможности в пределах своего отечества вести открытую борьбу с царизмом, Бакунин бросается в европейское

революционное движение. На баррикадах Праги и Дрездена он ищет пути к свободе русского крестьянина. Эту мысль высказывает он не только в своей «Защите». В письме к М. Рейхель, написанном после приговора, он говорит: «Чего я хотел, я скажу Вам, дорогой друг, поскольку я могу позволить себе здесь говорить свободно: я бросился между славянами и немцами… бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести их соединенные силы против русской тирании, не против русского народа, нет, а для его освобождения. Это было гигантское предприятие».

Дальнейший текст этого письма многое объясняет в позиции Бакунина. «Я был один, не имея ничего, кроме доброй, честной воли, и, может быть, меня могли упрекнуть в том, что, с моей стороны, было донкихотством думать о такой гигантской работе. Я же рассчитывал *на более продолжительный прилив движения. Я ошибся в расчете: отлив наступил раньше, чем я ожидал,* [Курсив мой. — *Н. П.*] и вот я засел в Кенигштейне, на самой высокой точке Саксонии. Собственно, Дрезден был для меня случайностью; но в нем-то как раз и я потерпел кораблекрушение» (т. IV, стр. 22).

Кораблекрушение Бакунин считал полным. Надежд на освобождение у него не было. 6 апреля 1850 года Высший апелляционный суд Саксонии утвердил смертный приговор Бакунину, Реккелю и Гейбнеру, вынесенный судом первой инстанции. Осужденным предложили подать королю прошение о помиловании. «Бакунин отказался, — пишет Герцен, — и заявил, что единственно, чего он боится, — это снова попасть в руки русского правительства, но поскольку его собираются гильотинировать, он ничего против не имеет, хотя предпочитал бы лучше быть расстрелянным! Адвокат сообщил ему, что у одного из его сотоварищей остаются жена и дети и что тот, возможно, согласился бы подать просьбу о помиловании, но не решается, узнав об отказе Бакунина. „Скажите ему, — тотчас отвечал Бакунин, — что я согласен, что я подпишу петицию“».[144] Этому сообщению Герцена, кажется нам, можно верить, так как психологически оно совпадает с линией поведения Бакунина во время следствия. Так или иначе, но прошение было подано и тяжелый период ожидания окончательного приговора продлен.

В это время большой поддержкой для Бакунина стали частые письма Адольфа и Матильды Рейхель. Известным утешением для него были и сведения об Иоганне Пескантини, которые сообщали ему друзья. «Иоганна — благороднейшая из известных мне женщин, правдивая и непоколебимая в своей верности, — писала Матильда, — она Вас любит, Бакунин, она наверно отдала бы

свою жизнь, чтобы облегчить Ваше положение, чтоб Вас утешить». [145]

После долгой внутренней борьбы, оставив мужа, Иоганна поселилась в Копенгагене. Из письма ее к Матильде, предназначенного для прочтения Бакуниным и пересланного ему, становятся ясными некоторые обстоятельства их отношений в 1845 году. Очевидно, тогда она отказалась от предложения Бакунина соединить свою судьбу с ним. Теперь она писала: «Б. сомневается в моем счастье — я его и не искала; когда добровольно расстаешься с теми, кого любишь, тогда отрекаешься от счастья. Он сомневается в моем спокойствии, но в этом он отчасти ошибается. Сознание, что остаешься верной себе в тяжелом положении, доставляет спокойствие… Наконец он не верит, чтоб я могла сохранить мое достоинство; но разве достоинство зависит от внешних обстоятельств? Если мы побеждаем обстоятельства, а не обстоятельства нас, то наше достоинство спасено…

Если б сердце Б. не было сильнее соображений его рассудка, то находился ли бы он там, где он сейчас? Разве его позорят пепи, которые ему приходится носить в известные часы. Благодарение богу! наше достоинство *в нас самих,* его никто у нас отнять не может, кроме нас самих». [146]

Бакунин не виделся более с Иоганной. Умерла она в 1856 году, когда он был в Шлиссельбурге. Узнал же он об этом лишь два года спустя, находясь в Томске. Свое письмо А. Рейхелю в ответ на это известие он кончил словами «бедная Иоганна».

Два долгих месяца ждали Бакунин и его товарищи по процессу ответа на прошение о помиловании. 12 июня 1850 года им, наконец, было объявлено решение короля. Смертная казнь всем троим — Бакунину, Гейбнеру и Реккелю заменялась пожизненным заключением. Гейбнер и Реккель остались в тюрьмах Саксонии, [147] Бакунина же ждало новое следствие, на этот раз в Австрии.

Австрийские власти торопились. На другой же день, 13 июня, в половине второго ночи Бакунин был разбужен, закован в кандалы и под сильным конвоем доставлен на австрийскую границу.

«В продолжение всей этой процедуры, — сообщает конвойный офицер, — Бакунин вел себя молчаливо и сдержанно». 14 июня он находился уже в австрийской тюрьме в Праге. Австрийское правительство давно ожидало сведении, которые оно надеялось получить от него. И хотя многое было известно из показаний братьев Страка, Сабины, Фрича и других участников движения, арестованных ранее, однако роль Бакунина казалась

австрийским властям более значительной и сведения, какими он мог располагать, более важными.

Генерал Клейнберг, руководивший следственной комиссией в Праге, 11 марта 1851 года сообщал эрцгерцогу: «После того как выявилась наличность революционных происков в мае 1849 года и начато было по этому поводу следствие, скоро выяснились данные, не оставлявшие сомнения в том, что замышленная здесь революция была скомбинирована с грандиозным движением, задуманным в Германии, и что русский Михаил Бакунин, проживавший тогда тайно в Дрездене, стоял во главе этого предприятия». И далее — «приходится признать, что русский Бакунин является, по-видимому, той осью, вокруг которой все вертелось» (т. IV, стр. 414).

Необычность и действительно огромный диапазон деятельности русского революционера весьма беспокоили австрийские власти. Его боялись, считали одним из самых опасных людей в Европе. Полагали, что и теперь, за толстыми стенами тюрьмы, окруженный многочисленной стражей, он невидимыми нитями может связаться с волей и бежать. Режим, созданный ему, был чрезвычайно строг. Саксонские тюрьмы могли показаться раем по сравнению с той обстановкой, какая окружила здесь Бакунина. Лишенный права переписки, защиты, охраняемый 18 солдатами специального караула, Бакунин страдал от полного отсутствия, хотя бы в письмах, общения с понимающими его людьми.

Слухи о готовящемся освобождении столь важного «государственного преступника» международным «заговором революционных вожаков» не давали покоя австрийским властям. Крепость св. Георгия в Праге показалась им недостаточно надежной.

В ночь с 13 на 14 марта Бакунина под сильным военным эскортом перевели в крепость Ольмюц. Вот какую «акварель», по выражению Вяч. Полонского, нарисовал Герцен, говоря об этом эпизоде: «Бакунина, связанного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

— Это для чего же? — спросил Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу убежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья: правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае…

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб».[148]

В новом месте заключения Бакунина помещают в строго изолированную камеру, приковывают цепью к стене, лишают

письменных принадлежностей, устанавливают караул из 22 рядовых, 2 ефрейторов и капрала.

15 апреля снова началась серия допросов. Положение Бакунина усугублялось теперь тем, что австрийская следственная комиссия располагала полными и весьма подробными показаниями братьев Страка, Сабины, Арнольда, Реккеля и других привлеченных к делу. Однако тактика Бакунина оставалась неизменной. На вопрос: «Каковы были ваши политические идеи, в частности по отношению Австрии?» — следовал ответ: «Мое личное убеждение, что австрийская монархия совершенно несовместима с понятием о свободе и может существовать лишь при помощи насилия».

На вопрос же: «Кто были те лица, с которыми вы вступили в сношения по этому поводу для достижения ваших желаний?» — ответ носил уже другой характер: «Моя совесть не позволяет мне назвать лиц, с которыми я был в сношениях по этому поводу, дабы никого не скомпрометировать; если же имеются специальные факты или показания других лиц, то прошу их предъявить…»[149]

Аудитор Франц пытается задавать вопросы в такой форме, которая заставила бы подсудимого невольно проговориться. Но Бакунин держится твердо: «Я должен здесь заявить, что вдаваться в подробности относительно отдельных лиц совершенно противоречит моему принципу, однажды мной уже высказанному. Я допускаю, что многое стало известным благодаря показаниям лиц, допрошенных во время следствия. Если, например, братья Страна многое рассказали, то они и отвечают за содержание своих речей. Я же могу отвечать только на определенные вопросы, но отнюдь не на вопросы общего характера, ибо могло случиться, что то или иное обстоятельство, то или иное лицо вообще ускользнули от следствия, и ответами общего характера я рисковал бы кого-либо скомпрометировать».[150]

14 мая допросы были закончены. На следующий день состоялся суд, приговоривший Бакунина к смертной казни через повешение и к уплате судебных издержек. Впрочем, тут же смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Однако как первый, так и второй вариант приговора был лишь трагическим фарсом, разыгранным австрийскими властями. Участь Бакунина была решена задолго до суда. Он должен был быть выдан России.

Еще в июне 1849 года начальник австрийских войск в Кракове сообщил об аресте Бакунина и о возможности передачи его русским властям. 15 июня 1849 года граф Орлов предписал «его благородию жандармского полка господину поручику

Жидикову» немедля отправиться из Варшавы в Краков в сопровождении одного унтер-офицера и двух рядовых и принять от генерал-лейтенанта Соболева «политического преступника Бакунина, закованным со всевозможной осторожностью и доставить его в Александровскую цитадель в Варшаве, где и сдать коменданту оной цитадели под расписку, которую предоставить мне».[151]

Однако царские жандармы спешили пока напрасно. Саксонское правительство сначала решило само судить Бакунина, затем следствия над ним потребовала Австрия. Но дальше иметь дело со столь опасным преступником австрийцы не собирались. Еще за два месяца до окончания следствия наместник в Богемии барон фон Мечери писал министру внутренних дел Александру Баху: «В течение марта последует, вероятно, произнесение приговора… Приговор, по-видимому, будет гласить: смертная казнь с заменой ее пожизненным заключением.

Как дальше поступать с Бакуниным — уже государственное дело, превосходящее компетенцию следственных комиссаров.

Что бы с ним ни произошло, будет ли он посажен в крепость или выдан России, безусловно, необходимо, чтобы он был удален отсюда немедленно по объявлении приговора и даже в тот же день вечером. Это удаление следует осуществить путем отправки его в отдельном железнодорожном поезде с достаточным конвоем и в сопровождении полицейского комиссара, причем надо принять предосторожности: сказать ему самому, что его отправляют в крепость. При его решительном характере… следует ожидать, что он с величайшей отвагою ухватится за всякую возможность избегнуть выдачи даже путем самоубийства».[152]

В том же марте с необыкновенной пунктуальностью были разработаны все детали плана доставки Бакунина на русскую границу. Выехать должны были ночью. Для того чтобы известие о перевозке Бакунина не дошло до «его партии» в Пруссии телеграфным путем и не могло вызвать попытку его освободить, предлагалось прекратить передачу частных телеграмм «перед перевозкой и во время ее». В случае болезни Бакунина по дороге следовало доставить его на ближайшую станцию, «где имеются войска и можно вызвать подкрепления».

По ту сторону границы русские власти тоже проявляли беспокойство немалое. Уже 7 марта граф Нессельроде известил графа Орлова о том, что Бакунин, «по всей вероятности, будет доставлен в Краков для передачи». Получив это сообщение, царь распорядился отправить навстречу ему полковника корпуса жандармов Распопова с жандармами, поручив ему заковать

преступника в ручные и ножные кандалы и доставить в Санкт-Петербург. Однако выехавшим в конце марта на границу жандармам пришлось там ждать более месяца.

Наконец все формальности и все приготовления в Австрии были закончены.

Как и было запланировано заранее, Бакунин был разбужен ночью неожиданным шумом. Двери открывались, щелкали замки, слышались шаги конвоя. Наконец смотритель тюрьмы с группой офицеров и солдат вошли в камеру. Бакунину приказали одеться. В цепях, в закрытом экипаже довезли его до станции железной дороги, где ждал уже специальный поезд. Куда везут его, Бакунин не знал. Но вот 17 мая его вывели из темного вагона на освещенную солнцем станцию, и он увидел русских солдат. И хотя единственно, чего боялся этот мужественный человек, — была выдача российскому правительству, здесь, сейчас, лицом к лицу с совершившимся фактом, он… обрадовался.

«Ну поверишь ли, Герцен, я обрадовался, как дитя, хотя не мог ожидать ничего хорошего для себя, — так, по словам Н. А. Тучковой-Огаревой, рассказывал он впоследствии. — Повели меня в отдельную комнату, явился русский офицер, и началась сдача меня, как вещи… Австрийский офицер, жиденький, сухощавый, с холодными, безжизненными глазами, стал требовать, чтобы ему возвратили цепи, надетые на меня в Австрии. Русский офицер, очень молоденький, застенчивый, с добродушным выражением в лице, тотчас согласился… Сняли австрийские кандалы и немедленно надели русские.

Ах, друзья, родные цепи мне показались легче, я им радовался и весело улыбался молодому офицеру, русским солдатам.

— Эх, ребята, — сказал я, — на свою сторону, знать, умирать.

Офицер возразил: „Не дозволяется говорить“. Солдаты молча с любопытством поглядывали на меня».

Приказ о том, куда везти Бакунина в Петербурге, Распопов получил, лишь подъезжая к городу. «Наш офицер, — сообщал Дубельт Орлову, — вручил Распопову повеление вашего сиятельства в Красном Селе, и Бакунин отвезен прямо в крепость и заключен в Алексеевский равелин, о чем есть уже донесение коменданта», и далее следовала приписка, характерная для донесений Дубельта: «В городе совершенная тишина и все благополучно».[153]

Известия о доставке Бакунина с нетерпением ждали в Зимнем дворце. Ждал царь. Ждал наследник престола. «Наконец» — эта выразительная надпись будущего царя Александра II осталась на донесении графа Орлова о благополучном помещении

преступника в 5-ю камеру Алексеевского равелина. На ходатайстве Дубельта о награждении Расиопова за миссию орденом Анны 2-й степени Николай I написал: «Согласен. Пора приступить к допросу». Это было 21 июня.

Однако прошло еще более месяца, а допроса не последовало. Собственно, его не было и потом. В течение двух месяцев никто не вызывал Бакунина из камеры, ни о чем его не спрашивали. В чем же было дело? Ведь не за тем же царь добивался выдачи этого важного «преступника», чтобы замуровать его именно в русской крепости. Напротив, Бакунин был чрезвычайно важен Николаю, как возможный источник информации о европейской революции и прежде всего о польских делах. Заговор в Польше — вот что больше всего тревожило императора. Но как получить эти сведения от человека, столь непреклонно дернувшегося на предыдущих следствиях? Здесь нужна была особая психологическая тактика. Николай же в подобных делах был весьма сведущ. Да и вообще в уме нельзя было отказать этому самодержцу. Он прекрасно понимал, что противник его личность незаурядная, что простыми и грубыми методами здесь ничего не добьешься. Видно, немало передумал царь за эти два месяца. Видно, и колебания были у него, раз не решился он начать допроса, о котором сам же писал.

«Вели сделать мне подробную выписку», — написал он 28 июня 1851 года, просмотрев материалы судебного процесса, любезно присланные ему из Австрии.

Положение складывалось, казалось бы, престранное. По одну сторону Невы, в Зимнем дворце, во всемогуществе власти находился император всероссийский, по другую — за толстыми стенами Петропавловской крепости и Алексеевского равелина сидел в камере узник, лишенный всего… всего, кроме внутренней силы сопротивления. И так велика могла быть эта сила, что самодержец при всей его власти так мог и не узнать ничего. По существу, это был поединок, поединок, исход которого казался спорным многим позднейшим исследователям.

Наконец тактика была выработана. После того как узник, казалось, забытый всеми, должен был прийти в отчаяние, к нему в камеру явился граф Орлов.

«Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу. Хотите вы писать?»

«Я подумал немного, — писал впоследствии Бакунин, — и размыслил, что перед juri, при открытом судопроизводстве, я должен был бы выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому

потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде Dichtung und Wahrheit[154] (т. IV, стр. 366)».

Подробнее никому, кроме М. П. Сажина, о содержании «Исповеди» Бакунин не рассказывал. Полный текст этого документа был обнаружен в архивах III отделения только после революции и опубликован в 1921 году. Сразу же вокруг этого вопроса возникла целая литература. Большинство писавших упрекали Бакунина в покаянии перед царем, обвиняли в разочарованности и отказе от борьбы. Даже анархисты ополчились на своего кумира. Так, лидер анархо-синдикализма И. Гросман-Рощин опубликовал патетическую статью «Сумерки великой души», где писал о полной внутренней моральной катастрофе Бакунина, основой которой были черты и ранее (в доанархистский период) свойственные ему. «…Кажется, будто Бакунин беседует с самим собой, будто государь — придуманная фигура, категория духа самого Бакунина, это просто тот „черт“, который явился к Ивану Карамазову и который на самом деле был демон его собственной души».[155]

Увидел разочарованность Бакунина в революционной борьбе, уход от нее и такой вдумчивый и в общем объективный исследователь, как Вяч. Полонский. Правда, Ю. Стеклов отнесся к вопросу иначе. Он решил, что это была попытка обмануть царя, предпринятая Бакуниным с надеждой на освобождение. Примерно ту же точку зрения высказывал Сажин в беседе с Полонским: «Он непрерывно думал о том, как бы найти способ к освобождению. Вдруг к нему является Орлов и говорит, что Николай просит его написать „Исповедь“. У Бакунина мелькнула мысль, не это ли и есть путь к свободе».[156]

Обратимся к самому документу. Он чрезвычайно сложен. Рассматривать его изолированно от предыдущих взглядов и акций Бакунина, как это делали отдельные исследователи, нельзя.

Сложность его прежде всего в двухплановости. «Вымысел и правда» — в этих словах Бакунина, пожалуй, и есть ключ к пониманию смысла «Исповеди». Правда здесь явно превалирует. Правдив в целом весь рассказ о действиях самого «кающегося грешника». Что еще важнее, правдивы и глубоко искренни места о революции во Франции, о «благородных увриерах», в которых там много «самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности»; о положении России, ее внутренней и внешней политике.

Можно смело утверждать, что никто за все царствование Николая не посмел сказать ему в глаза хотя бы такую правду:

«Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не от того, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарство: публичность, общественное мнение, наконец, свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души… Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего… Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уже никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех по этой русской же пословице: „Нас только ленивый не бьет“».[157] Сказав о взяточничестве и продажности всего бюрократического аппарата и вместе с тем о страхе чиновничества перед царем, Бакунин продолжает: «Один страх не действителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и других и, наконец, публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества… цветут только там, где есть для души вольный простор, не там, где преобладают рабство и страх; сих добродетелей в России боятся, не потому чтоб их не любили, но опасаясь, чтоб с ними не завелись и вольные мысли…»[158]

Отрывки эти, которые можно умножить, напоминают скорее публицистическую статью, предназначенную для бесцензурной печати, чем покаяние.

Это все правда «Исповеди», но ведь есть и «вымысел», Он главным образом представлен двумя линиями: антинемецкой (или вообще антиевропейской) и панславистской. За подобные места действительно можно упрекнуть Бакунина, хотя тут же следует отдать должное его проницательности. Расчет его был верен. Критика развращенности и безверия на Западе импонировала Николаю.

«Разительная истина», — написал он на полях против этого места. Меньший успех вызвали призывы Бакунина к царю

возглавить славянское движение, объединить всех славян под своей эгидой. Этот ход вызвал лишь ироническую реплику Николая: «Не сомневаюсь, т. е. я бы стал в голову революции славянским Mazaniello, спасибо!»

Характерен тон, в котором Бакунин как бы ведет беседу с Николаем. «Я думаю, что в России более чем где будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем».[159]

Эта схема власти просвещенного абсолютизма тоже относится к области вымысла, но звучит она как совет царю. Подобных приемов в «Исповеди» много. Бакунин, как всегда, поучает и проповедует. Проповедует как там, где говорит правду, так и там, где прибегает к вымыслу. И тот и другой жанры в «Исповеди» чередуются. Вымысел нужен ему для того, чтобы прикрыть правду. В целом же, чтобы это уникальное произведение имело действительно вид «Исповеди», нужны были и прямые тексты. И эта форма была соблюдена Бакуниным:

«Да, государь, буду исповедоваться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; — и прошу Бога, чтоб он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные, одним словом, найти доступ к сердцу Вашего императорского величества».

Подобных «покаянных» мест не так уж мало в «Исповеди». В том же стиле и подпись под документом: «Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца кающийся грешник Михаил Бакунин».

То, что покаяние — это только форма, кажется нам бесспорным, по меньшей мере странно на основании этих слов обвинять Бакунина в отходе от революционных принципов. То, что он сохранил свои революционные позиции, станет ясно из его последующих писем из крепости. Да и вообще не следует, кажется мне, путать принципиальные основы взглядов с тактикой в тот или иной момент. Для Бакунина в тех конкретных условиях, «во власти медведя», это была именно тактика. Но почти все историки подобную тактику считали унизительной для достоинства революционера. Возможно, что с позиций XX века

они были правы. Но ведь речь-то идет совсем о другом времени и других нравах. Как дворянин, ничуть не унижая своего достоинства, он мог в такой форме обратиться к первому дворянину империи.

Честь же свою как революционера и честного человека он спас другим бесспорным способом: он никого не скомпрометировал. «Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои… нигде я не был предателем… И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом».

Против этого места Николай I написал на полях: «Этим уже уничтожается всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью».

Ничего не узнал Николай и о «польском заговоре». Говоря о своих отношениях с поляками, Бакунин делал акцент на те слухи о его шпионстве, которые имели место в польской среде. Этим он старался подчеркнуть, что никакого доверия у поляков к нему не было и что тем самым он не мог ничего знать об их планах. Полонский полагает, что так и было в действительности. Мне же кажется, что все его польские контакты конца 1848 — начала 1849 года говорят об обратном. По крайней мере Бакунин не рассказал многое из того, что известно но его переписке.

Каково же место «Исповеди» в общей линии поведения Бакунина с момента ареста? Как говорилось выше, Бакунин с самого начала принял тактику: ничем не компрометировать товарищей по борьбе, ничего не скрывать из своих политических взглядов. Можно с уверенностью сказать, что в главном и основном линию эту он выдержал и в Алексеевском равелине. Его отступления в виде наивных попыток распропагандировать царя революционно-самодержавными вариантами организации славянского мира, его хитроумные комплименты Николаю, его «покаяния» в тех исторических условиях, о которых речь была выше, не являются основанием для строгого осуждения.

Он хотел бороться дальше. Не жить просто, а именно бороться. Для получения хоть малейшей надежды на возможноеть свободы, равносильной для него с борьбой, он пошел лишь на хитрость, но не на предательство.

Кто же выиграл в этой партии, где ставками были ум, воля и хитрость? Можно сказать, что игра кончилась вничью. Царь не получил нужных ему сведений. Узник не получил каторги взамен равелина, о чем он и просил Николая.

13 августа «Исповедь» легла на стол Дубельта. После переписки она была представлена царю. Читал он ее чрезвычайно

внимательно. Кое-что отмечал на полях, хвалил отдельные места, направленные против «разлагающегося» Запада и немцев, высказывал недовольство тем, что не находил нужных ему сведений о действительных связях Бакунина. Прочтя сам, передал наследнику, написав сверху: «Стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно». Экземпляры рукописи были также направлены наместнику Царства Польского Паскевичу и председателю Государственного совета Чернышову. Последний, возвращая рукопись Орлову, писал: «Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задержал объемистую „Исповедь“, которую Вы мне передали по повелению его величества. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Я нашел полное сходство между „Исповедью“ и показаниями Пестеля печальной памяти, данными в 1825 году, то же самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданнического — скажу более, христианина и истинно русского человека» (т. IV, стр. 551).

Граф Чернышев был не лишен проницательности. Верноподданнические чувства были представлены в этом документе лишь пустой словесной оболочкой, из-за которой проглядывало лицо агитатора, взявшегося за пропаганду своих воззрений в высших сферах.

Надежды Бакунина на возможное смягчение своей участи были по меньшей мере наивны. Единственно, что было разрешено ему, — это свидание с родственниками.

В начале октября 1851 года граф Орлов личным письмом уведомил Александра Михайловича Бакунина, что сын его находится в Петропавловской крепости и что он с дочерью Татьяной может его навестить. Известие это потрясло всю семью. Самые фантастические слухи доходили до Премухина об участии Мишеля в европейских революциях. Писем же от него никто из родных не получал все эти годы. И вдруг он оказывается в Петербурге. Причем то, что он в крепости, что осужден, очевидно, на пожизненное заключение, как-то не очень *волнует* родных. Главным им кажется то, что он жив, здоров и находится здесь, рядом, в России, а в дальнейшем они верят в «милость государя».

23 ноября Алексей Бакунин пишет брату Павлу: «Милый друг, как тебе сказать о том, что нас так тревожило последние годы и что, кажется, разрешается лучше, чем мы ожидали. Мишель в Петербурге в крепости… Я почему-то убежден, что заключение его не будет вечным. Он будет возвращен, краеугольный камень

нашего дома…»[160]

После того как Татьяна и брат Николай[161] повидали в крепости Мишеля, восторгу родных не было предела. «Ведь нам не только позволено было с ним видеться, — сообщала Татьяна Алексею, — но и писать к нему… Можешь представить себе нашу горячую благодарность за такую великую, незаслуженную милость! Можешь представить себе, сколько счастья, сколько радости в сердце каждого из нас!»[162]

Однако радоваться-то было нечему. Для Бакунина настали самые тяжелые дни. Тянулись они бесконечно долго. Однообразие тюремного режима, отсутствие возможности движения, бездеятельность при огромной жажде действий делали его положение невыносимым. Единственная отдушина — переписка с родными. Но вся она проходила через руки тюремного начальства, а случалось — и самого царя. Тон его писем к сестрам, братьям, родителям приобрел снова, как в молодые годы, сентиментально-поучительную окраску. Лишенный возможности говорить о том, что его действительно волновало, он сосредоточился на всех деталях жизни семьи. Для того чтобы обмануть бдительную стражу, тоном полного покаяния и примирения в течение первых трех лет Бакунин пишет о своем полном отказе от жизни «блуждающего огонька», о том, что, если бы ему предложили свободу с условием начать прежнюю жизнь, он ни за что не согласился бы на это. «Во мне умер всякий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы, всякая охота к жизни, если б не нашел новую жизнь в вас; я не унываю, но также ни на что не надеюсь, у меня нет ни цели, ни будущего, я не жил бы, если бы не жил вашей жизнью».

«Я спокоен, я примирился» — вот главный тезис всех его писем к родным. И каким же диссонансом этому, каким криком боли и отчаяния звучат его строки, переданные в 1854 году при свидании с Татьяной, прямо ей в руки. «Мои дорогие друзья! Я знаю, какой ужасной опасности я подвергаю вас тем, что пишу это письмо. И все-таки я пишу его. Отсюда вы можете заключить, как велика сделалась для меня необходимость объясниться с вами и сказать, хотя бы один еще раз, несомненно последний в моей жизни, свободно, без принуждения то, что я чувствую, то, что я думаю… Это письмо — моя крайняя и последняя попытка снова связаться с жизнью… Я чувствую, что силы мои истощаются. Дух мой еще бодр, но плоть моя становится все немощнее. Вынужденные неподвижность и бездействие, отсутствие воздуха и особенно жестокая внутренняя мука, которую только заключенный в одиночке, подобно мне, может понять и которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью, развили во мне зачатки

хронической болезни… Два раза в день у меня обязательно жар: до полудня и вечером, а в продолжение всего остального дня меня мучит внутреннее недомогание, которое сжигает мое тело, туманит мне голову и, кажется, хочет меня медленно съесть… Для меня остался один только интерес, один предмет поклонения и веры — вы знаете, о чем я говорю, — и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем. …Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решаются самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым… *Наконец, чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу* — и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных!» Но и сквозь пелену, казалось бы, сплошного отчаяния звучат в этом письме слова надежды.

«Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей мудростью и с большей предусмотрительностью, быть может, ибо *тюрьма* по крайней мере тем была хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она *нисколько не изменила моих прежних убеждений. Напротив, она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде,* и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: *„свобода“»* [Курсив мой. — *Н. П.*] (т. VI, стр. 244–245).

Письмо это впервые прямо и открыто говорит о сохранившейся и даже окрепшей революционной вере Бакунина, подтверждает ложность его «раскаяния» перед царем и обманчивость его предыдущих писем к родным. Риск, которому он подвергал их, передавая это письмо, был для них незначителен, но ему он грозил действительно вечным заточением, уже без свиданий и писем. Но, к счастью, все сошло благополучно.

Передать письмо Бакунину удалось потому, что на этот раз свидание происходило в более свободной обстановке, на квартире нового коменданта крепости генерала Мандерштерна, сменившего генерала Набокова. Татьяна и Павел, приехав в Петербург, остановились у дочери Набокова — Е. И. Пущиной, много помогавшей им в хлопотах о брате. Так личные дружеские связи оказались сильнее инструкции о содержании секретных арестантов.

После свидания Павел писал в Премухино: «Он, слава богу, здоров, но потерял почти передние зубы, да щека немного была подпухши. Танюша, приехавши, передаст вам лучше наше свидание, а я сознаюсь, что не умею передать словами, что мне чувствовалось при этом свидании: радость ли это была вновь увидеться или горе так увидеться — бог знает про то».[163]

Как видно, восторг от «милостей» царя и вера в скорое освобождение брата потускнели в семье Бакуниных. А самому узнику заключение стало совсем невыносимым. Ему стали приходить в голову мысли о самоубийстве. «Или я буду скоро свободен, или умру», — пишет он в другом письме к Татьяне. Родные, уже начавшие хлопотать о его освобождении, уговаривают его не предпринимать рокового шага.

Но время идет, и вместо Сибири, о которой мечтает Бакунин, его ждет новая тюрьма. Царь боится, что в обстановке начавшейся Крымской войны англо-французский флот может ворваться в устье Невы и освободить его.

12 марта 1854 года комендант Шлиссельбургской крепости был уведомлен графом Орловым о том, что «государь император повелеть изволил: содержащегося в Алексеевском равелине преступника Михаила Бакунина перевести в Шлиссельбургскую крепость». Причем Орлов просил поместить Бакунина в «лучшем и самом надежнейшем из номеров секретного замка… соблюдать в отношении к нему всевозможную осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так, чтобы самая бытность его в замке была сохранена в величайшей тайне».[164]

И снова потянулись однообразные дни тюремного заключения. Чай, табак и книги составляли единственное украшение его быта, но родные не слишком баловали его. Просьбу о присылке средств на эти столь необходимые ему предметы приходилось повторять по многу раз. А однажды он написал матери: «Вы знаете, что 18 мая было мое день рождения… Вот я рассудил, что вы в продолжение почти 20 лет ни в именины, ни в рождение мое не сделали мне никакого подарка. Приняв в соображение, что это нехорошо, и что Вам должно быть совестно, п, как добрый сын, желая поправить Вашу ошибку и избавить Вас тем от мучительного чувства, я потому и положил от Вашего имени сделать самому себе подарок в 50 рублей серебром… Ведь Вы, милая маменька, верно, не откажете мне в своей ратификации» (т. IV, стр. 264–265).

В Шлиссельбурге денежное довольствие узника было

увеличено до 30 копеек в сутки (в равелине на пищу отпускалось 18 копеек). В меру жандармской любезности Бакунин приобрел здесь также ряд льгот, о которых просил коменданта крепости. Так, он мог теперь получать от брата продукты и дозволенные книги (французские и немецкие романы, газету «Русский инвалид», журналы «Москвитянин», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки»), мог пить перед обедом рюмку водки и прогуливаться.

На просьбу «быть водимому в баню» он получил отказ. Сам царь воспротивился просьбе матери, поддержанной комендантом крепости, о том, чтобы в камере разрешили узнику иметь токарный станок. Сообщая отказ, Дубельт разъяснял, что ни в Своде законов, ни в инструкциях о содержании секретных арестантов нет правил, предусматривающих какие-либо механические занятия для заключенных. Однако неожиданно Дубельт разрешил другую просьбу: иметь в камере клетку с двумя канарейками, хотя, безусловно, подобный атрибут не предусматривался никакими правилами и законами.

После пяти лет заключения Бакунина в отечественных тюрьмах произошло событие, потрясшее всю Россию и Европу и отразившееся в известной мере и на его судьбе.

18 февраля 1855 года умер император Николай I. Вся страна ожила. Тяжелые тиски деспотизма, столько лет подавлявшие все живое и мыслящее, казалось, ослабли. Началось невиданное оживление общественной жизни. Вопрос об отмене крепостного права стал реальной проблемой современности. Общественный подъем создал иллюзии о возможности осуществления и некоторых буржуазных свобод. От Александра II ждали амнистии политическим заключенным, освобождения слова от цензуры, гарантий свободы личности.

Уже 21 марта 1855 года мать Бакунина подала новому царю первое прошение об освобождении сына. Но оно осталось без ответа. Брат Алексей, находясь в это время вместе с матерью в Петербурге, послал Павлу грустное письмо о том, как тяжело ему идти на свидание с Мишелем, не имея возможности ничем порадовать его. «Мне понятно, — отвечал Павел, — что тебя смущает предстоящее свидание с братом: так горько прийти к нему, не принеся с собой по крайней мере надежд каких-нибудь. Но, несмотря на видимую грусть письма твоего, кажется мне, мы должны надеяться… Тем более что я думаю и имею достаточный повод думать так, что в настоящую минуту ни ум, ни желание добра, ни огонь души, вовлекающий иногда в ошибки, не страшны для России, по страшны для России глупость, бессмыслие и особенно бездушие того ходячего эгоизма, что из

жизни общественной делают торговый рынок своих частных интересов. Тем ходом, каким мы шли до сих пор, мы уже дошли до всего, до чего дойти было возможно. Теперь идти дальше некуда. Необходимо изменить ход… И потому необходимо надеяться: все умное, все доброе, все оживляющее и творческое оживает под влиянием нового весеннего солнышка… Я в каком-то радостном ожидании и полон надежд… Я верю весне, и уже в конце января в меня сильно закрадывается весеннее ощущение. Его поддерживают во мне эти тайные, смутные голоса, со всех концов долетающие и так убедительно возвещающие, что зима кончилась».[165]

Однако радостные ожидания Павла оказались напрасными. Прошения, поданные его матерью, оставались без ответа. Снова потянулась мрачная вереница дней. Царь хорошо помнил «Исповедь» Бакунина, не верил ей и ждал от своей жертвы новых доказательств благонадежности. Бакунин долго не хотел писать царю сам, надеясь на хлопоты матери. Но время шло, здоровье все более разрушалось, а столь страстно желаемое освобождение не приближалось.

Несколько лет спустя Бакунин рассказывал Герцену об этом времени: «Страшная вещь — пожизненное заключение. Каждый день говорить себе: „Сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее“. Со страшною зубною болью, продолжавшейся по неделям (результат цинги. — *Н. П.*)…, не спать ни дней, ни ночей, — что б ни делал, что бы ни читал, даже во время сна чувствовать какое-то неспокойное ворочание в сердце и в печени с вечным ощущением: я раб, я мертвец, я труп. Однако я не упал духом…. Я одного только желал: не примиряться, не резиньироваться, не измениться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане, — сохранить до конца в целости святое чувство бунта».[166]

Вяч. Полонский сомневался в том, что эти слова, написанные позднее, точно выражали состояние Бакунина в крепости. По его мнению, «чувство бунта» в крепостях было утеряно узником. Однако, сопоставив это письмо с тем, что писал он родным и передал в руки Татьяне, я не нахожу здесь противоречий. В глубине души он не изменялся. Его «Исповедь» была не изменой, а тактическим ходом; его официальные письма к родным и, наконец, его письмо к Александру II были продолжением той же линии.

Потеряв всякую надежду на успех ходатайств матери, 3 февраля 1857 года Бакунин пишет князю В. А. Долгорукову: «Обращаюсь к Вашему сиятельству с покорной просьбой исходатайствовать мне от государя позволения писать к его

величеству». Позволение получено, и уже 14 февраля на имя Александра II следует прошение, полное притворного покаяния и стремления посвятить «остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти».

Теперь царь, кажется, поверил, что дух узника сломлен. 19 февраля 1857 года на прошении Бакунина он написал: «Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение».

Комендант сообщил Бакунину о царской «милости» и о разрешении ему по его просьбе заехать на одни сутки в Премухино, проститься с родными.

8 марта 1857 года в вагоне третьего класса с поездом из пустых вагонов он был направлен из Петербурга в Осташков. Здесь в сопровождении поручика Медведева и двух жандармов пересел на почтовую телегу и прибыл в имение, где прошли его детство и юность.

В доме Бакуниных собрались вся семья, многие друзья, соседи. Все с нетерпением ждали Мишеля, ставшего за долгие годы скитаний и тюрем фигурой почти легендарной. Но вот вдали зазвенел колокольчик, и вскоре сам долгожданный узник в сопровождении жандармского офицера предстал перед их глазами. Богатырская его фигура казалась прежней, но отсутствие зубов, поседевшие и поредевшие волосы, отечность и резкие морщины — все говорило о перенесенных страданиях. Об этом дне, проведенном в Премухине, и об отношении родных к Мишелю сохранился рассказ его племянницы, дочери брата Николая Варвары, написанный ею для премухинского домашнего рукописного журнала «Мельница». Тетради эти, содержащие рассказы, стихи, фотографии и рисунки многочисленных членов семьи Бакуниных, хранятся ныне у внучатой племянницы М. А. Бакунина — Татьяны Геннадиевны Кропоткиной. Отрывок из «Мельницы», который я привожу ниже, начинается с того, как старший брат Миша впервые сообщил младшему поколению Бакуниных о существовании дяди Мишеля, ранее им неизвестного. «Он рассказывал нам, что этот дядя старше всех других дядей, просидел 10 лет в крепости у австрийцев, и что, наконец, австрийский император передал его нашему царю Николаю I, и что тот держит его в крепости, запертого в одной комнате. А дядя Мишель очень умный и хороший человек и все хлопотал о свободе, не жалел себя и сражался за свободу, и вот за это-то австрийцы и посадили его в крепость. После этих рассказов, естественно, являлась у нас антипатия к австрийцам как к народу, который не только не терпит свободу, но даже мучает людей, ей преданных.

Рассказывал он нам еще, что как-то раз, когда д[ядя] Мишель

сидел еще в австрийской крепости, один тамошний офицер так полюбил его и жалел, что предлагал ему бежать ночью, переодевшись в его платье в тот день, когда он будет на карауле, но дядя Мишель отказался, зная вперед, что за это непременно офицера повесят или расстреляют. А уж царь Николай ни за что, никогда его не выпустит из крепости. За всеми этими рассказами следовали свои рассуждения о том, что его необходимо освободить из крепости, и всякие нелепые предположения, каким образом его можно освободить, где ему и скучно и скверно сидеть.

Когда Николай I умер и взошел на престол сын его Александр II, бабушка с помощью дяди Алексея написала прошение к царю, в котором просила его освободить д[ядю] Мишеля, а мы слушали это прошение, когда большие прочитывали его громко друг другу. Из комнат, где говорили большие, нас никогда не гоняли, лишь бы мы им не мешали и сидели смирно. Когда прошение было готово, бабушка, тетя Таня и д[ядя] Алексей поехали в Петербург, где бабушка, стоя на коленях, подала царю лично свое прошение. Там они видались в крепости с д[ядей] Мишелем, конечно, при офицерах, служащих в той крепости. Когда они вернулись, я слышала только урывками их разговоры и сколько поняла, они не очень-то надеялись на освобождение его.

Ранней весной 1857 года, когда было еще много снега и только еще одно солнце говорило о весне, мы узнали, что д[ядя] Мишель будет скоро в Премухине проездом в Сибирь, где и должен будет жить до смерти.

…Больших мы ни о чем не спрашивали, и они нам сами ничего не говорили, а знали только то, что сами слышали из их разговоров. Когда д[ядя] Мишель приехал к нам, мне было 8 лет… Мы с сестрой Олей ходили за ним хвостом и боялись проронить его слово. По первому впечатлению он поразил меня своей толщиной и веселым характером. Таких толстых и веселых я еще никогда не видала. Говорил он очень много, весело смеялся, вспоминал старину, со всеми пел разные песенки, шутил и опять смеялся. Голос у него был громкий, веселый, звучный. Приехал он в сопровождении одного или двух жандармов. Они сидели все больше в зале, а он ходил свободно по всему дому. Тетя Саша, мать Миши Вульфа, как только узнала о приезде его, сейчас же приехала к нам одна, без детей, из Зайкова. На другой день все дяди и тети поехали провожать его до Зайкова, а оттуда уже поехал он прямо в Сибирь.

Больше я никогда его не видала».

В расписке, полученной поручиком Медведевым, говорилось

о том, что «секретный арестант… при отношении за № 559 28-го сего марта доставлен в Омск исправно и сдан омскому коменданту вместе с принадлежащими сему арестанту суммою кредитными билетами триста семидесятые руб. серебром».[167]

Генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорд принял Бакунина весьма любезно. Вместо назначенного места поселения в Нелюбинской волости Томской губернии ему было разрешено ввиду плохого здоровья остаться в Томске.

Сибирь — это традиционное место ссылки для многих поколений русских революционеров — и в те годы не была местом глухим, гиблым и мрачным. Напротив, во многих отношениях она выгодно отличалась от губерний Центральной России. Спустя пять лет добровольно отправившийся туда П. А. Кропоткин писал в своих «Записках революционера»: «Сибирь не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными, как представляют ее себе иностранцы и как еще очень недавно представляли ее себе у нас. Растительность Южной Сибири по богатству напоминает флору Южной Канады. Сходны также их физические положения. На пять миллионов инородцев в Сибири — четыре с половиной миллиона русских, а южная часть Западной Сибири имеет такой же совершенно русский характер, как и губернии к северу от Москвы».[168]

Благоприятные природные условия не исчерпывали достоинств этого края. По свидетельствам многих современников и в том числе того же П. А. Кропоткина, высшая сибирская администрация была гораздо более просвещенной и «в общем гораздо лучше, чем администрация любой губернии в Европейской России».

Немалую роль играло и то обстоятельство, что в течение десятилетий лучшие люди России пополняли собой ряды сибирской интеллигенции. Ссыльные революционеры, пользующиеся в середине века довольно свободными условиями жизни, в значительной мере определяли интеллектуальный и нравственный уровень жизни сибирского общества.

Характерно, что «Колокол», «Полярная звезда», «Русское слово», «Современник» были очень широко распространены в Сибири. Так, по числу подписчиков на «Современник» этот край занимал третье место после Новороссийского края и Малороссии. «По особенностям своей исторической судьбы, — писал Н. Г. Чернышевский, — Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, получавшая из России постоянный прилив самого энергического и часто самого развитого населения, издавна пользуется славой, что стоит в умственном отношении выше Европейской России».[169]

Казалось бы, что после многих лет вынужденной изоляции, получив, наконец, относительную свободу и возможность общения с близкими ему по духу и уровню людьми, Бакунин со свойственной ему энергией с головой уйдет в общественную жизнь. Такой вариант был бы вполне возможен именно потому, что Сибирь представляла собой широкое поприще для подобной деятельности. Однако все сложилось иначе.

С самого начала своего пребывания в Сибири Бакунин рассматривал ссылку как явление временное. Добиться полной и окончательной свободы — вот единственное его стремление. Путь к этому на первых порах он видел в том, чтобы упрочить свое положение в глазах местной администрации и петербургского начальства, предстать перед глазами князя Долгорукова и самого царя человеком, отрекшимся от увлечений молодости, ставшим обычным обывателем. Поэтому Бакунин не сошелся ни с ссыльными декабристами, ни тем более с польскими революционерами, ни с местной учащейся и думающей молодежью. Первые дружеские связи завел он в среде, далекой от интеллигенции. Теплые отношения сразу же установились у него с хозяевами дома, где снял он комнату, — стариками Бордаковыми.

Их небольшой двухэтажный деревянный дом представлял собой нечто вроде заезжего дома. От всех других квартирантов Бордаковы отличали полюбившегося им Бакунина, который, со своей стороны, относился к ним весьма дружески. Вскоре он познакомился и с другим семейством, также в общем далеким от общественных интересов. Это были Квятковские.

Ксаверий Васильевич Квятковский — обедневший дворянин, еще в 40-х годах приехал в Сибирь из Могилевской губернии и поступил на службу к золотопромышленнику Асташеву. Женат Квятковский был на польке. В семье было четверо детей — сын и три дочери. Двум из них, Софье и Антонии (Антонине), Бакунин предложил давать уроки иностранных языков. Занятия начались и кончились вскоре весьма неожиданно: Бакунин увлекся своей ученицей Антосей.

В прежней жизни Бакунина женщины почти не играли никакой роли. Он слишком был погружен в грандиозные революционные планы, весь его темперамент, весь пыл души был отдан революции. Единственное серьезное чувство испытал он к Иоганне Пескантини, но то была женщина умная, сильная, волевая, близкая ему по духу. Теперь же претенденткой на его сердце оказалась девушка, далекая от каких бы то ни было умственных интересов, обладавшая лишь двумя несомненными достоинствами: приятной наружностью и семнадцатью годами от

роду. Встреться он с ней ранее где-либо среди бурных событии европейских революций или даже еще раньше, в литературных салонах Москвы, встреча эта, может быть, прошла бы для него незамеченной.

Именно Антосей, а не ее сестрой Софьей, увлекся Бакунин. А Софья имела определенные склонности к интеллектуальной жизни, симпатизировала Бакунину и впоследствии его идеям, была горячей поклонницей Гарибальди. Замуж же вышла за красноярского прокурора.

Однажды, уже в Италии, Антонина при встрече с Гарибальди сказала ему, что в далекой Сибири у него есть пламенная почитательница. Гарибальди был тронут и послал Софье Ксаверьевне свой портрет, сделав на нем надпись.

Весьма разно и не соответственно склонностям сложилась судьба сестер Квятковских. Антонина, бесспорно, была бы счастливее, встреть она своего красноярского прокурора. Но… так не случилось. Увлеченная, возможно, героическим ореолом, окружавшим хотя и полысевшую, но все еще красртвую голову Бакунина, она благосклонно отнеслась к его чувству.

Бакунин решил жениться. Появилось у него, хотя и ненадолго, стремление устроить личную жизнь, завести свою собственную семью. Возможно, что усталость от прежних скитаний и многих лет тюрем, физическая надломленность сыграли здесь свою роль. Герцен впоследствии объяснял этот шаг Бакунина лишь сибирской скукой. Позднейшие историки склонны были видеть в этой женитьбе определенный расчет, направленный на то, чтобы создать о себе впечатление окончательно смирившегося и оставившего прежнюю жизнь человека. Так считал Ю. Стеклов. А. Карелин в своей книге о Бакунине без всяких тому доказательств писал, что брак этот был фиктивным, так как Бакунин спасал этим поступком девушку от назойливых приставаний «нечестного человека».[170] Вяч. Полонский сообщает свой разговор с М. П. Сажиным, который также сказал ему, «что брак этот был фиктивным, каких бывало немало в то время. Ценой этого брака Антонина Квятковская покупала независимость. Что же приобретал Бакунин? Положение семейного человека, более благоприятное для успешных хлопот перед начальством о свободном передвижении».[171]

Все эти предположения кажутся мне неосновательными. Их опровергают прежде всего глубоко искренние письма Бакунина к жене, да и все отношение его к ней в последующие годы. Просто уж вышло так, что чувство его к Антосе и сама женитьба как нельзя лучше совпали по времени с его планами создания себе репутации остепенившегося обывателя.

Еще до того, как возникло у него это намерение, Бакунин начал хлопотать о предоставлении ему возможности найти себе работу, связанную с передвижением по Сибири. В августе 1857 года он обратился к генералу Казимировскому, начальнику Западносибирского округа корпуса жандармов, прося его ходатайствовать перед петербургским начальством о разрешении искать занятий по делам золотопромышленности, ибо лишь в этой области он считает возможным принести общественную пользу, «подавая пример приобретения без обмана и без противозаконного утеснения рабочего класса».

Казимировский, познакомившийся с Бакуниным в Томске, действительно возбудил ходатайство перед Долгоруковым, ссылаясь на то, что Бакунин «чистосердечно и глубоко раскаивается в прежнем преступлении» и что поведением своим он заслужил общую похвалу в городе. Однако III отделение не намерено было так быстро идти навстречу желаниям Бакунина. Долгоруков ответил, что занятие себе он может найти и в самом городе Томске.

Спустя несколько месяцев, уже в положении человека, решившего жениться, Бакунин снова начал хлопоты, на этот раз у гражданского томского губернатора генерала Озерова. Цель была та же: добиться возможности путешествия по Сибири и прежде всего посещения восточной ее части; повод же стал более убедительным: помимо желания работать на пользу общества, Бакунин сообщал и о своей любви к Антонине Квятковской и о невозможности жениться, не имея средств к содержанию семьи. Не ограничившись генералом Озеровым, он направил аналогичное послание и князю Долгорукову. Но как то, так и другое успеха не имело. Единственно, что по разрешению Александра II мог сделать Бакунин, — это поступить на гражданскую службу писцом четвертого разряда, с правом выслуги первого офицерского чина через 12 лет.

Само собой разумеется, что подобная служба не могла привлечь Бакунина. «Мне казалось, — иронически сообщал он Герцену, — что, надев кокарду, я потеряю свою чистоту и невинность» (т. IV, стр. 362). Но это он писал Герцену позднее, а тогда, в разгар его сватовства, летом 1858 года, он нашел способ послать первое за долгие годы письмо в Лондон. «Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню и вам, равно как и себе, остаюсь неизменно верен» (т. IV, стр. 289). Совсем в ином тоне писал Бакунин матери о своем намерении. Это письмо было рассчитано на перлюстрацию и потому все так и дышало благонамеренностью. «Благословите меня, я хочу жениться!.. Благословите меня без страха: мое желание вступить в брак да

служит Вам новым доказательством моего обращения к истинным началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало Ваше спокойствие» (т. IV, стр. 284).

Со стороны своих родных Бакунин не встретил возражений, но отец невесты нашел, что политический ссыльный, не имеющий средств к существованию, не представляет собой достойного претендента на руку его дочери. Однако судьба на этот раз была благосклонна к Бакунину. В Томск приехал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский — родственник Бакунина. Узнав о его затруднениях с будущим тестем, он тут же направился с визитом к Квятковскому и уверил его в скором полном освобождении и в блестящей будущности Бакунина. Ксаверий Васильевич был польщен визитом графа. Свадьбу назначили.

Венчание произошло 5 октября 1858 года в градотомской церкви, причем запись в метрической книге свидетельствует о том, что Бакунин, желая быть моложе, уменьшил свой возраст до сорока лет.

Свадьбу отпраздновали весьма торжественно. Особый блеск этому событию придавало участие самого губернатора в качестве посаженого отца. Посаженой же матерью Бакунин пригласил старушку Бордакову. «Какая поразительная картина, какая необыкновенная группа, возможная только на сибирской почве! — восклицал по этому поводу автор статьи „Томская старина“ Андрианов. — Образованный человек, известный всей Европе „апостол разрушения“ Бакунин, блестящий граф, представитель громкого, старинного дворянского рода Муравьев и томская мещанка Бордакова…»[172]

Вечером, после венчания, в доме Бакунина собралось много гостей. Ярко освещенный внутри и иллюминированный горящими плошками по фасаду дом привлек толпы местных жителей, кричавших «ура!» в честь новобрачных.

Дом, где происходила эта пышная по местным масштабам свадьба, был собственностью Бакунина. Он был куплен им за несколько месяцев до свадьбы. Низкое одноэтажное деревянное здание, разделенное на несколько полутемных комнат. Довольно убого выглядело это жилище. Однако цветник, посаженный специально приглашенным садовником, несколько скрашивал впечатление.

В этом «поместье» прожили Бакунины около года. Время они проводили уединенно.

Из политических ссыльных под конец пребывания в Томске

Бакунин подружился с одним лишь петрашевцем Феликсом Толем, имевшим характер «рыцарский, порывистый… неспособный, кажется, к постоянному делу и к выдержке».[173]

По свидетельству Бакунина, они жили последние полгода в Томске, «как братья». Дружба эта возникла после того, как Бакунин отвлек Толя от пьянства и «плохого окружения». Отстав от этого пагубного увлечения, Толь проводил много времени с Бакуниным. Именно от Толя последний впервые узнал все подробности дела петрашевцев. Однако или информация была односторонней, или позднейшие столкновения с самим Петрашевским извратили представления Бакунина об этих людях, только он не понял смысла и не придал должного значения их движению.

Из молодых людей, которых обычно любил поучать и наставлять Бакунин, в Томске он встретился с одним — Потаниным. Григорий Николаевич Потанин, географ, исследователь и крупный общественный деятель Сибири, происходил из казачьей среды. Выпущенный в 1852 году офицером из Омского кадетского корпуса, он служил сотником, много путешествовал по Сибири, работал в Омском архиве над разбором старинных актов. Чувствуя недостаток образования, он решил бросить военную службу и добиться поступления в Петербургский университет. Выйдя в 1858 году в отставку, он обратился к своему родственнику золотопромышленнику Гильзену фон Мершейду с просьбой о материальной поддержке. Однако дела Гильзена в это время шли неважно, и он ограничился тем, что вместо денег дал Потанину рекомендательное письмо в Томск к знакомому ему Бакунину. Гильзен просил помочь молодому человеку, стремившемуся в Петербург и уж было решившемуся отправиться учиться без всякой помощи и даже без соответствующей одежды.

Бакунин принял горячее участие в судьбе Потанина. Он достал ему 100 рублей, выхлопотал разрешение добраться до Петербурга бесплатно с караваном золота, дал рекомендательные письма к М. Н. Каткову и своим кузинам Екатерине Михайловне и Прасковье Михайловне Бакуниным. «Милые сестры, — писал он им, — посылаю и рекомендую вам сибирского Ломоносова, казака, отставного поручика Потанина… Приласкайте его, милые сестры, и в случае нужды не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации» (т. IV, стр. 298).

В письме Каткову Бакунин сообщал о знании Потаниным Сибири и о возможном его сотрудничестве в журналах, в чем Катков, конечно, мог оказать помощь молодому автору. Однако в этом пространном письме Потанину было посвящено лишь

несколько строк. Используя эту оказию, Бакунин просто решил возобновить отношения с бывшим приятелем.

М. П. Катков редактировал тогда «Русский вестник» — издание умеренно-либеральное. Сам же он не успел еще стать идеологом шовинизма и реакции, однако от увлечений ранней молодости был уже весьма далек.

Будучи плохо осведомленным о действительном положении дел в России, живя идеалами, мыслями и чувствами 1848 года, Бакунин решил дружески обратиться к Каткову, с тем чтобы восстановить литературные связи в столицах и попутно внушить издателю крупного журнала некоторые идеи по славянскому и особенно польскому вопросам.

Катков, по свидетельству Потанина, был рад письму старого приятеля. Он созвал знакомых, ири которых Потанин должен был повторить свой рассказ и несколько раз ответить на вопрос: «Такая же ли у Бакунина грива, как прежде?» Ответ Каткова, не дошедший до нас, видимо, был также дружеским, потому что уже в следующем письме Бакунин обращался к нему на «ты».

С той же целью восстановления старых связей написал Бакунин и письмо П. В. Анненкову, послав его также с оказией через Н. А. Спешнева.

Попытки Бакунина наладить старые отношения были связаны с его надеждами получить вскоре возможность уехать из Сибири и, может быть, даже снова явиться в Москве и Петербурге. Эти надежды основывались прежде всего на тех хлопотах, которые предпринял Н. Н. Муравьев, обратившийся с письмом к шефу жандармов с просьбой ходатайствовать перед Александром II о лучшей для него награде за службу: прощении и возвращении прав состояния «государственным преступникам» — Николаю Спешневу, Федору Львову, Михаилу Буташевичу-Петрашевскому и Михаилу Бакунину. Однако и это ходатайство не помогло. Царь ответил, что лица эти забыты не будут, но что пока их участь должна остаться без изменений. Тогда Муравьев предпринял новый шаг. Весной 1859 года он добился перевода Бакунина в Иркутск.

Восточная Сибирь при покровительстве Муравьева открывала перед Бакуниным широкие возможности. Прежде всего он смог здесь, наконец, получить службу, связанную с передвижением. Сначала он устроился в Амурскую компанию, но вскоре перешел к золотопромышленнику Бенардаки, который, не давая ему, по существу, никаких поручений, платил деньги, достаточные для содержания его многочисленной семьи. Теперь не только жена, но и все ее родные жили с ним в Иркутске. Однако, ничего не делая по службе, Бакунин вскоре стал испытывать известные моральные

угрызения по поводу того, что на деньги, получаемые им, он права не имел. Бенардаки же не собирался давать Бакунину какой-либо серьезной работы, так как был достаточно богат, чтобы платить нечто вроде пенсии человеку, близкому к генерал-губернатору.

В конце концов ложное положение, в котором оказался Бакунин, вынудило его обратиться с письмом к Бенардаки. Высказав свое возмущение подобным отношением и подсчитав сумму, выплаченную ему ни за что (5175 рублей серебром), Бакунин давал обязательство вернуть в течение года эти деньги.

Достать денег, как всегда, было негде. На братьев рассчитывать не приходилось, и тогда он решил занять у Каткова, с которым продолжал переписку и которого считал своим приятелем. Катков денег не дал, а позднее, весьма зло изображая этот эпизод, писал: «Благородный рыцарь, он хотел подаянием уплатить подаяния, из чужих карманов восстановить свою репутацию во мнении откупщика. Мы не могли ему быть полезны, и письмо его осталось втуне».[174]

Все эти денежные осложнения стали беспокоить Бакунина в конце его пребывания в Иркутске. Первое же время он не придавал им значения. Отойдя от состояния некоторой отрешенности, характерного для него во время томского периода, Бакунин теперь, хотя и односторонне, погрузился в сферу общественных интересов. Сразу же по переезде в Иркутск он стал своим человеком в доме Муравьева. Люди, окружавшие графа, так называемая генерал-губернаторская партия, стали той средой, в которой и вращался он все время своего пребывания в Сибири. Наиболее крупными фигурами в окружении Муравьева были: Михаил Семенович Корсаков, ко времени появления в Иркутске Бакунина занимавший пост военного губернатора Забайкальской области; Болеслав Казимирович Кукель, начальник штаба и помощник Муравьева, охарактеризованный анонимным иркутским поэтом: «вежливость яшвая, деяний графа трубадур»; Николай Павлович Игнатьев, генерал и дипломат, но словам Бакунина, «человек молодой, лет тридцати, вполне симпатичный и по высказываемым мыслям и чувствам… смелый, решительный, энергичный и в высшей степени способный» (т. IV, стр. 365). Все эти деятеля в те годы не лишены были либеральных идей. Тон же всему обществу задавал сам генерал-губернатор.

Николай Николаевич Муравьев уже с 1848 года был генерал-губернатором Восточной Сибири. Человек он был умный, яркий, талантливый, обладавший способностями настоящего администратора, а также всеми пороками, которые неизбежно сопутствуют человеку, наделенному почти не ограниченной и

почти не контролируемой властью. «Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения. Это боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях»,[175] — писал о Муравьеве писатель И. А. Гончаров, встретившийся с ним в разгар его деятельности. Но это впечатление скорее внешнее. Глубоко и предельно лаконично сказал о нем Герцен: «Либерал и деспот, демократ и татарин». Деспот — «как все люди правительственной школы» — так объяснил эту черту Муравьева П. А. Кропоткин. «Муравьев в Петербурге и Муравьев в Иркутске — это дело иное. Здесь он неузнаваем: это хамельон, изменяющий свой цвет и вид до такой степени, что вместо любезного русского генерала вы видите перед собой какого-то хана сибирского»[176] — так писал о губернаторе один из сибирских чиновников, II. Новицкий.

Ко времени переезда Бакунина в Иркутск Муравьев был захвачен грандиозным делом освоения Амурского края. Переселение крестьянских семей на новые земли, часто плохо организованное, вызвало много бедствий и послужило причиной первых конфликтов Муравьева с теми, кто пытался защитить интересы переселенцев.

В острой борьбе, развернувшейся вокруг Муравьева, Бакунин принял весьма деятельное участие на стороне генерал-губернатора. Эти два человека, сходные по темпераменту и склонности к деятельности весьма широких масштабов, импонировали друг другу. Проводя в бесконечных разговорах с графом большую часть времени, проповедуя и поучая, Бакунин незаметно для себя стал приписывать свои мысли своему постоянному собеседнику. Уверенность его в исключительных достоинствах Муравьева была безусловной. Он искренне верил в то, что политическая программа генерал-губернатора состоит в полном освобождении крестьян с землей, гласном судопроизводстве, неограниченной гласности, уничтожении сословий и бюрократии.

Очевидно, в разговорах с Бакуниным Муравьев поддерживал эти идеи. Косвенно это подтверждает и П. А. Кропоткин, говоря, что Муравьев «придерживался крайних мнений и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его». [177] Но за «крайними мнениями» губернатора ничего не стояло. Либерализм его исчерпывался реверансами в адрес политических ссыльных, и то до тех пор, пока они поддерживали с ним хорошие отношения, чтением «Колокола» и других запрещенных цензурой изданий. Бакунин поверил этим «мнениям», по-своему домыслил их и стал ярым сторонником Муравьева.

Переехал Бакунин в Иркутск в марте 1859 года, а в апреле в

городе произошло событие, взволновавшее всех и сыгравшее решающую роль в окончательном разделении местной общественности на два враждебных лагеря. На пасху два молодых приезжих чиновника, Беклемишев и Неклюдов, поссорились. Беклемишев получил пощечину. Встал вопрос о дуэли. Но Неклюдов, собиравшийся уезжать, драться не хотел. Часть молодежи требовала, чтобы он принял вызов. Бакунин, с его манерой активно вмешиваться в чужие дела, выступил также сторонником дуэли. В конце концов Неклюдова вынудили согласиться, а так как он никого почти в городе не знал, навязали ему и секундантов — приятелей его противника. Муравьева в тот момент в городе не было, но все остальное начальство было в курсе дел, однако никто не только не принял мер, чтобы запретить дуэль, кстати первую в Сибири, но, напротив, все сторонники графа поддерживали Беклемишева в его стремлении получить удовлетворение. Неклюдов был убит. В городе тут же распространились слухи, что это преднамеренное убийство. Возмущение публики возросло еще более, когда обнаружилось, что Беклемишев и его друзья-секунданты разгуливают на свободе. [178] Выразителем общественного протеста стал Петрашевский. Бакунин же, напротив, последовательно защищая интересы губернаторской партии, оказался и в этом неблаговидном деле на стороне Беклемишева. Так началось столкновение двух наиболее крупных в это время представителей политической ссылки в Сибири.

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский жил в Иркутске с двумя своими товарищами — Николаем Александровичем Спешневым и Федором Николаевичем Львовым. Все трое бывали в доме Муравьева, который ценил их ум и способности и, как говорилось выше, пытался облегчить их участь. Однако Петрашевский в отличие от Бакунина никогда не был обольщен любезным обхождением графа. При первом же знакомстве он сказал о нем словами Гоголя: «Штабс-капитан из той же компании». Однако Львов пишет, что Петрашевский считал нужным «эксплуатировать либерализм и прогрессизм Муравьева, которыми он желает блистать, и что хотя у него недостает основательности знаний и пр., но есть и хорошие качества. Вследствие таких видов он и ударился в некоторого рода хитрость и… иногда льстил ему для того, чтобы подсластить горькие пилюли, которые ему подносил… С другой стороны, Петрашевский не мог вытерпеть, чтобы не рассказать про то, как Муравьев опростоволосился в том или другом случае… Все это доходило до Муравьева, и он уже не скрывал от других, что Петрашевский ему не нравится, хотя и не переставал его

принимать».[179]

Злая и ироническая критика Петрашевским Муравьева и его диктаторских замашек имела большой успех. Постепенно вокруг Петрашевского сгруппировались молодежь, политические ссыльные и та часть иркутского общества, у которой хватало смелости быть против всесильного генерал-губернатора. Блестящий и умный оратор, «талант к агитаторству», которого не мог не отметить и противник его Бакунин, Петрашевский привлекал многих слушателей, собиравшихся чаще всего в библиотеке-читальне Шестунова, куда сходились сотрудники местных газет («Иркутские ведомости» и частной газеты «Амур»), учителя и студенты, приехавшие на каникулы.

К моменту злополучной дуэли отношения между двумя группами иркутского общества уже были весьма напряженны. Агитация же Петрашевского и Львова против местных властей после дуэли дополнила картину. Муравьев еще до своего возвращения в город советовал им замолчать; приехав же в город, учинил разгром всем, кто осмеливался противоречить его мнениям. Львов был уволен со службы, Петрашевский — выслан из Иркутска, библиотека Шестунова — закрыта. Но нашлась управа и на Муравьева. Противники «губернаторской партии» через доктора Н. А. Белоголового — жителя Иркутска, находившегося в это время за границей, обратились в «Колокол». Во втором номере «Под суд» (приложение к «Колоколу»), вышедшем 15 ноября 1859 года, появилась разоблачительная статья Белоголового. Затем была опубликована заметка Герцена «Тиранство сибирского Муравьева». Все эти обстоятельства вызвали письма Бакунина к Герцену, в которых он с большой горячностью защищал своего героя от нападок «Колокола».

Письмо от 7 ноября 1860 года, по существу, первое дошедшее до нас обстоятельное послание, в котором Бакунин раскрывает свои мысли, говорит о своих убеждениях. «Восьмилетнее заключение в разных крепостях лишило меня зубов, но не ослабило, напротив, укрепило мои убеждения; в крепости на размышления времени много; инстинкты мои, двигатели всей моей молодости, сосредоточились, пояснились, как будто стали умнее и, мне кажется, способнее к практическому проявлению… Я окреп… женат, счастлив в семействе и, несмотря на это, готов по-прежнему, да с прежней страстью удариться в старые грехи, лишь бы только было из чего».[180] Признание это весьма знаменательно, однако Бакунин, не задерживаясь на этом сюжете, переходит к главной теме — реабилитации Муравьева и дискредитации в глазах Герцена всех его противников, главным образом Д. И. Завалишина и Петрашевского.

Ссыльный декабрист Дмитрий Иринархович Завалишин обладал действительно скверным и неуживчивым характером. Но борьба, развернутая им на страницах «Морского сборника» против Муравьева и его способов освоения Амурского края, требовала незаурядного мужества и колоссальной энергии. Бакунин же в пылу своего увлечения Муравьевым был далек от того, чтобы объективно оценивать поступки и слова людей, высказывавшихся против генерал-губернатора. Все они для него становились врагами прогресса и демократии, тут уж он не жалел черных красок, чтобы приписать им всевозможные пороки.

Человек увлекающийся, склонный к крайностям, часто ошибающийся в людях, он нередко бывал несправедлив в своих оценках. Многое из того, что он писал в адрес Завалишина и другого декабриста, Раевского, и почти все о Петрашевском и его друзьях, было несправедливо и зло. Вся эта защита Муравьева, продолженная им в «Ответе „Колоколу“» и в следующем письме к Герцену, не делала чести ее автору. Однако надо сказать, что накал страстей и степень интриг вокруг Муравьева к этому времени достигли такого уровня, что участники этой, мягко говоря, полемики как с той, так и с другой стороны не могли уже держаться этических норм. Недаром Герцен после визита Белоголового, привезшего в Лондон новые материалы против Муравьева и Бакунина, отказался их публиковать далее. «Правда — мне мать, но и Бакунин мне — Бакунин» — так мотивировал он свою позицию Белоголовому.

За все годы сибирской жизни Бакунин не приобрел, по существу, ни одного друга, не появилось у него и последователей. А ведь раньше в литературных гостиных Москвы, Берлина, Дрездена и Парижа всегда находились люди, которых увлекал как поток его красноречия, так и сами идеи, им высказываемые. Острота ума, блеск эрудиции, убежденность, бесстрашие — эти качества мало кого, особенно в первое время знакомства, оставляли равнодушным. Но за четыре года сибирской ссылки он не увлек ни одного человека. В чем же было дело? Очевидно, тюрьма не прошла для него даром. Все эти испытания привели не только к физической надломленности, но и к определенному спаду интеллектуальных возможностей.

До последнего времени было неизвестно о каких-либо работах Бакунина, написанных им в Сибири. Но вот томский историк А. В. Дулов убедительно доказал, что две статьи в газете «Амур», подписанные Ю. Елизаровым (русская транскрипция его старого псевдонима Жюль Элизар) принадлежат перу Бакунина. (Первая из них носит название «Несколько слов об общественной жизни Иркутска» («Амур», № 29, апрель 1861), вторая напечатана

в № 33 под цифрой II). Впечатление от этих статей весьма грустное. Поражают тусклость их слога, отсутствие горячей убежденности, остроты. Само же содержание — рассуждения об общественной жизни города и традиционное для Бакунина восхваление действий Муравьева, выраженное на этот раз в иносказательной форме, — носит печать провинциализма и какой-то мелкотравчатости.

Спад умственных интересов, думается, можно объяснить том, что Бакунин прежде всего был человеком дела. Его статьи, книги, письма, похожие на философские трактаты, писались в связи с тем революционным делом, которым он в тот или иной момент был целиком поглощен. И тогда в этих произведениях звучал голос борца, убежденного, мужественного, искреннего. Такого дела, способного целиком захватить его, не было в Сибири. Да и вообще свое пребывание там он рассматривал как временное.

Первые три года он рвался в Россию — хлопотали перед царем мать и Муравьев. Отказ следовал за отказом, «Ответа делать не нужно», «Оставить без последствий», «По-моему, невозможно» — такие резолюции Александра II ложились на письма с просьбами о помиловании.

В начале 1861 года Муравьев, оставив должность генерал-губернатора, уехал в Петербург. Там он еще раз и опять неудачно попытался похлопотать за Бакунина.

Еще одно, последнее прошение матери Михаила Александровича также не получило положительного ответа. Бакунину не осталось более надежд на скорое освобождение из ссылки. Тогда у него и созрел иной план возвращения к полной жизни и действительной борьбе — план побега через Восточную Сибирь.

Можно допустить, что подобные мысли и ранее приходили ему в голову. Ведь недаром же спустя четыре месяца после освобождения из крепости начал он хлопотать о праве передвижения по Восточной Сибири. В январе 1861 года он еще не был твердо уверен в способе, каким сможет выбраться из Сибири, но выбраться в текущем году во что бы то ни стало уже решил. Из своего намерения он не делал строгого секрета. 1 января в письме к Каткову он говорил о том, что «нынешний год» деньги ему необходимы для того, чтобы, «расплатившись с некоторыми долгами, выбраться из Сибири» (т. IV, стр. 370). Две недели спустя в письме к брату Николаю, прося родных еще раз попытаться похлопотать за него, он писал: «В Сибири я не сгнию, это верно; только отказавшись от правильного планетного течения, мне придется опять сделаться кометою» (т. IV, стр. 380).

Весну и начало лета 1861 года Бакунин тщательно готовился

к осуществлению своего замысла. План его состоял в том, чтобы, получив разрешение на плавание по Амуру, добраться до Николаевска, а там тем или иным способом миновать границу Российской империи.

Для политического ссыльного, находящегося под надзором полиции, дело это было весьма сложным и чрезвычайно рискованным. Однако, как мы увидим далее, оно блестяще удалось ему.

Мог ли он один, без всякой посторонней помощи, осуществить весь этот план? Точными данными для ответа на этот вопрос мы не располагаем. Ясно, что если кто-то и помогал ему, то Бакунин никогда впоследствии не мог назвать этого человека, чтобы не скомпрометировать его. Следствие же о побеге, продолжавшееся вплоть до 1864 года, по существу, зашло в тупик, так ничего и не выяснив.

Вокруг этого побега среди современников и позднейших исследователей было много толков. Все противники Бакунина, и прежде всего Д. И. Завалишин, утверждали, что бежать ему помогла высшая сибирская администрация, и главным образом М. С. Корсаков, исполнявший после отъезда Муравьева обязанности генерал-губернатора, и Кукель. Схема была чрезвычайно простой: раз Бакунин принадлежал к сибирской элите, то его друзья просто помогли ему уехать из Сибири. Завалишин даже не называл эту акцию Бакунина побегом, а писал лишь о его «отъезде».

Версию эту воскресил и подробно изложил спустя 46 лет некий С. А. Казаринов в статье «Побег Бакунина из Сибири».[181] Многие историки, и в том числе Вяч. Полонский, поверили рассказу Казаринова, который выдавал себя за полковника, сопровождавшего Бакунина в его поездке по Амуру. Но Б. Г. Кубалову, много работавшему над историей политических ссыльных в Сибири, удалось доказать ложность всех этих построений и прежде всего выяснить личность самого Казаринова. Им оказался ловкий авантюрист.

Миф, сочиненный им, не имел под собой оснований. М. С. Корсаков не был ни организатором, ни сознательным помощником побега.

После разрыва с Бенардаки, которому братья Бакунина выдали вексель на всю выплаченную им Михаилу Александровичу сумму, он, по существу, не имел источников к существованию, кроме пособия, полагавшегося ему как политическому ссыльному. В это время кяхтинский купец Собашников согласился дать ему поручение выяснить на месте условия для постройки по Амуру торговых и промышленных

предприятий. Тогда он и обратился к Корсакову за разрешением на это путешествие, обосновывая его необходимость денежными затруднениями.

Генерал-губернатор не имел права отпускать политического ссыльного, находящегося под надзором полиции, в столь далекое путешествие. Но Бакунин дал честное слово, что он не употребит во зло его доверие. И Корсаков разрешил, — ему просто неловко было бы отказать Бакунину, который к тому же в это время становился и его родственником, так как Наталья Семеновна Корсакова выходила замуж за брата Михаила Александровича, Павла. Это-то разрешение на плаванье, дополненное «открытым предписанием» всем капитанам казенных пароходов беспрепятственно брать его на борт всех судов по рекам Шилке, Амуру, Уссури и Сунгари, и явилось главным обвинением против Корсакова, предъявленным потом следственной комиссией А. Ф. Голицына, и главным источником слухов о его участии в побеге.

Еще более неосмотрительно поступил гражданский губернатор Иркутска Извольский, выдав Бакунину паспорт, где он именовался бывшим прапорщиком, «получившим Высочайшее повеление на вступление в государственную службу». Видно, Извольскому, проводившему время в одном обществе с Бакуниным, тоже неловко было отказать ему в подобной просьбе. Однако на следующий же день после выдачи этого документа он спохватился и послал письмо в Николаевск военному губернатору Приморского края, сообщая о том, что Бакунин находится под надзором полиции. Но письмо это задержалось в дороге и пришло по назначению через месяц после того, как Бакунин покинул Николаевск.

Итак, имея на руках совершенно чистые документы и деньги, полученные от Собашникова, условившись с женой, что осенью она выедет к его родным в Премухино, Бакунин 5 июня 1861 года покинул Иркутск. До села Лиственничного, у истоков Ангары, он ехал один в почтовой перекладной повозке. На пристани встретился с чиновником из Кяхты В. Н. Мерцаловым. Вместе сели они на пароход и пересекли Байкал. Дальше, вплоть до станции Половинки дорога их была общей, но каждый ехал на своей повозке. После этой станции Мерцалов продолжал путь на юг, к Кяхте, Бакунин же повернул на восток, к Верхнеудинску. До Читы он добрался на лошадях, а дальше пароходом сначала по Шилке, затем по Амуру; до Благовещенска он плыл на пароходе «Чита», здесь он пересел на другое судно, «Амур», на котором 2 июля и прибыл в Николаевск.

Восточная Сибирь и весь Приморский край остались позади. Путешествие его с «открытым предписанием» генерал-

губернатора ни у кого не вызвало подозрений. Остался последний, но весьма важный этап — выбраться за пределы российских владений, и здесь Бакунин допустил одну непозволительную и непонятную оплошность, едва не погубившую все предприятие. Очевидно, близость столь долгожданной свободы вскружила ему голову и лишила его всякой осторожности. Встретившись с бывшим ссыльным поляком, а теперь купцом Г. Вебером, он спросил его о другом своем знакомом поляке, живущем в Николаевске, Шатынском, которому ранее послал письмо. Узнав, что Шатынский уехал из города, он попросил Вебера сходить к некоему Маюрову, получить от него это письмо и прочитать его. «Авось оно рассеет Вашу апатию и подвинет на деятельность на другом поприще». Вебер письмо получил и из него узнал планы Бакунина. Тут же он написал донос и передал его своему знакомому аудитору военно-судной комиссии Котюхову. Тот, не теряя времени, бросился с этим сообщением к лейтенанту Афанасьеву, исполняющему в это время обязанности начальника штаба. Но, по показаниям Котюхова, тот будто бы ответил: «А нам что за дело до Бакунина, пусть себе бежит, отвечать за него будем не мы, а генерал Корсаков».[182] Бакунин же в это время, а именно 7 июля, уже успел покинуть Николаевск. Накануне тот же Афанасьев дал указания капитану клипера «Стрелок» Сухомлину взять его на борт и доставить на пост Де-Кастри, который Бакунин хотел посмотреть будто с коммерческими целями. «Стрелок» вел на буксире американское торговое судно «Викерс». Утром они вышли в море и были еще в виду города, когда Котюхов прибежал с доносом Вебера. Времени для того, чтобы задержать беглеца, у Афанасьева было достаточно. Однако он этого не сделал. Лишь спустя два дня, 9 июля, он послал записки капитану Сухомлину и начальнику поста Де-Кастри, в которых предупреждал их о возможных намерениях Бакунина, но в то время беглец был уже далеко. В заливе Св. Ольги он пересел с клипера на судно «Викерс», которое взяло курс в открытое море. Пересаживаясь на судно, Бакунин сказал Сухомлину, что хотел бы побывать в Хакодате по делам торговли. 21 августа русский консул в Хакодате получил секретное предписание задержать там Бакунина и отправить его обратно в Николаевск. 14 сентября из Хакодате пришел ответ: «Имею честь уведомить, что Бакунин пробыл в Хакодате только один день 5 авг., отправился в Канагаву на том же судне „Викерс“… Перед отъездом Бакунин сообщил мне, что он намерен проехать в Шанхай, Нагасаки, Пекин и обратно в Иркутск, так что, вероятно, в скором времени он опять будет в России».[183]

Так, сообщив возможным преследователям ложное направление, Бакунин еще целый месяц странствовал на «Викерсе» по Татарскому проливу и лишь 5 сентября в Иокогаме ему удалось пересесть на другое американское судно, следующее в Сан-Франциско.

Во время следствия по делу о побеге Бакунина на лейтенанта Афанасьева, естественно, пало подозрение. Два месяца просидел он в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но за недостатком улик был освобожден.

Тем не менее именно его поступок действительно помог Бакунину в столь критический момент. Случайно ли это? Одна нить в показаниях Афанасьева делает возможным построение гипотезы о его сознательном участии в организации побега. Уверяя следствие в своем незнании политических обстоятельств Бакунина и ссылаясь на «открытое предписание» Корсакова, обязывающее его внимательно отнестись к нуждам и просьбам этого путешественника, Афанасьев оговорился, однако, что и ранее был знаком с Бакуниным, встречая его у своего знакомого иркутского чиновника Бодиско.

Василий Константинович Бодиско был человеком интересным. Двоюродный брат Т. Н. Грановского, в конце 30-х — начале 40-х годов он был тесно связан с кружком Герцена, поддерживал дружеские отношения и с Бакуниным.

В начале 1850-х годов он служил чиновником в Петербурге. 31 декабря 1850 года Грановский писал о нем жене: «Вася, сверх чаяния, оказал несравненно более практического смысла: он утвержден с 15 апреля и получает жалованье… пользуется уважением и доверием начальников, и товарищи его любят. Это не мешает ему фантазировать и пороть дикую чепуху».[184]

1854–1855 годы Василий Константинович провел в Америке, где дядя его А. А. Бодиско был посланником в Вашингтоне. Очерки своих путешествий по Америке В. К. Бодиско опубликовал в «Современнике» (1856 г., № 3–6). В первые годы лондонской эмиграции, когда связи Герцена с Россией были крайне ограниченны, Бодиско поддерживал с ним переписку. Письма эти до сего времени не обнаружены, но в других корреспонденциях Герцена много упоминаний о нем. Так, 5 февраля 1854 года Герцен пишет М. К. Рейхель: «От Бод[иско] из Вашингтона получил письмо, ему очень нравится Америка, зовет туда — но мы еще погодим. Дела все интереснее становятся, и ехать теперь — похоже на бегство».[185] В 1855 году, возвращаясь в Россию, Бодиско заехал в Лондон, и с ним Герцен передал письмо московским друзьям. Дружеские отношения и перелиска между ними продолжались и в последующие годы. Так, «Письма к

путешественнику», опубликованные в «Колоколе» в 1864 году, были обращены именно к Бодиско, ему же адресована и неоконченная статья Герцена «Première lettre», написанная в середине 50-х годов. В конце 50-х — начале 60-х годов Бодиско служил в Иркутске чиновником особых поручений. Здесь он возобновил свои дружеские отношения с Бакуниным, а когда в декабре 1860 года поехал за границу, то взял с собой письмо Бакунина Герцену. Очевидно, тогда же он и сообщил Герцену предполагаемый план побега Бакунина. По крайней мере Герцен пишет по этому поводу: «О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде».[186] Можно предположить, что, обсудив возможные варианты, способствующие успеху задуманного плана, Герцен передал Бакунину, что будет ждать его в Лондоне. В том письме Бакунина, прочитанном Вебером и послужившем основанием для доноса, была фраза о том, что Герцен зовет его в Лондон.

На основании этих данных нам кажется вполне уместным предположить наличие определенной договоренности между Герценом и Бакуниным, которая и осуществлялась через Бодиско. Не менее логичным кажется предположение и о том, что Бодиско привлек к плану побега своего приятеля Афанасьева, и тот в нужный момент не только переправил Бакунина в Де-Кастри, но и задержал возможную погоню.

Итак, если кто и помогал Бакунину в осуществлении его побега, то это были Герцен, Бодиско и Афанасьев. Корсаков же «виновен» лишь в снисходительном отношении к политическому преступнику, оказавшемуся в то же время его родственником и вообще человеком его круга.

Выдача Бакунину разрешения на плавание по Амуру никак не была со стороны Корсакова сознательной акцией, способствующей побегу. Да и зачем было новому генерал-губернатору так компрометировать себя, доставлять себе столь крупные неприятности? А неприятности эти, последовавшие незамедлительно, продолжались в течение всего следствия по делу о побеге.

Так, 20 февраля 1862 года Корсаков писал матери: «Между тем морально неспокойно, выговор, полученный мной за Бакунина, не выходит у меня из головы, а между тем объяснять мне на него нечего, факт тот, что Бакунин действительно бежал из Восточной Сибири».[187]

Однако в кругу родных и близких Корсакова бегство Бакунина не вызвало осуждения. Характерна приписка, которую сделал в письме к Михаилу Семеновичу (1 января 1862 года) его родственник Н. А. Мордвинов.

«Прощай, — писал он. — Молодец М. Бакунин».

ГЛАВА V
«ДРУЖЕСКОЕ И СОЮЗНОЕ ВОЗЛЕ»

Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было средь бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки.

А. Герцен

За годы тюрьмы и ссылки Бакунина многое изменилось я политической жизни Западной Европы и России.

После крестьянской реформы (19 февраля 1861 года) революционная ситуация в России достигла наивысшего подъема. Предельно лаконичную и четкую характеристику этого времени дал В. И. Ленин:

«Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России „Колокола“, могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров,* появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых „очень часто“ приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять „Положение“, обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять *такое* „Положение“, студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».[188]

В кругу «Колокола» в Лондоне и в кругу «Современника» в России стали крепнуть мысли о необходимости создания революционной партии, способной организовать и повести за собой демократическое и революционное движение.

В сентябре — октябре 1861 года мысль о создании тайного общества была высказана на страницах «Колокола». Вопрос о необходимости серьезной организации революционных сил ставил автор[189] статьи «Ответ „Великоруссу“». В редакционном примечании к «Ответу» издатели «Колокола» писали: «Мы давно думали о необходимости органического сосредоточения сил, но

считали, что не от нас должна выйти инициатива, не из заграницы, а из самой России».[190]

В статье «Ответ на „Ответ „Великоруссу““» Н. П. Огарев специально и подробно рассматривал вопрос о тайном обществе, выражал уверенность в его необходимости и важности, рекомендовал организовывать общества сначала по областям. «Каким образом, — писал он, — сложатся общества, это невозможно предугадать. Есть стремление, есть воля, есть цель, робость проходит — вот достаточные данные для их существования».[191]

Вот в это время напряженных поисков организационных и идейных форм дальнейшего движения в круг издателей «Колокола» и вошел Бакунин.

Известие о том, что бегство Бакунина удалось, Герцен получил 1 октября 1861 года. «Бакунин пробрался в Америку, — это я нашел в последнем письме», {А. И. Герцен, Соч., т. XXVII, кн. I, стр. 185.

От кого было это письмо, мы не знаем. Но если учесть, что 5 сентября Бакунин лишь сел на пароход, следующий в Сан-Франциско, и что путь через океан занимал тогда около 25 дней, то ясно, что корреспондент Герцена мог сообщить ему об этом событии, лишь зная о благополучном отъезде беглеца. А знать могли только на месте действия. Возможно, и в этом как-то был замешан лейтенант Афанасьев.

В письмах Герцена и Бакунина (к разным лицам), где речь шла о побеге, не упоминалось о том, кто и как помог осуществить его. Друзья, как бы сговорившись, приписывали успех побега Амуру, обыгрывая звучание этого слова.

«Спас меня Амур», — сообщал Бакунин из Сан-Франциско Фохту. «Я предался Амуру, не богу, а реке», — писал он Жорж Санд. «При помощи Амура, как видите, можно попасть не только в больницу, но и в какую-нибудь Калифорнию», — замечал Герцен в письме к Шарлю Эдмону.} — писал он Н. А. Тучковой-Огаревой. Сам Бакунин лишь 3 сентября из Сан-Франциско смог написать Герцену.

«Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей idee fixe с 1846 г. и моей практической специальностью в 48—49-х годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю делом: это было бы слишком честолюбиво, но для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос продвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная вольная

славянская федерация, единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов».[192]

К новому, 1862 году еще раз, но уже в другом направлении переплыв океан, Бакунин явился в Лондон.

«В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз, взошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен… Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости… Тогдашний дух партии, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции — все было налицо».[193]

На этот раз Герцен был прав. Потеряв здоровье, зубы и часть своей пышной шевелюры, Бакунин сохранил веру, убежденность и тот пыл души, который редко можно было встретить у людей его поколения, перенесших годы реакции на воле. Как ни парадоксально, но в эпоху упадка революционного движения морально труднее сохранить себя было тем, кто не подвергался прямым репрессиям. «Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят, они выходят из нее как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания»,[194] — и эти слова Герцена не менее справедливы. Однако то, что человек «выходит из обморока» через 8—10, а порой 20 лет, то, что со своими идеалами оказывается он совсем в другой эпохе, нередко обращается трагической коллизией как для самого «сильного человека», так и для дела, в которое он погружается. На этот раз не так сложно пришлось самому Бакунину, как его друзьям и их общему делу.

В первые же недели по приезде в Лондон Бакунин принялся за статью «Русским, польским и всем славянским друзьям», которая и появилась 15 февраля 1862 года в виде приложения к «Колоколу» (№ 122–123). Он вновь повторил свои призывы к славянской федерации. Обращаясь к людям «всех сословий, обладавших живой мыслью и доброй волей», он звал их создавать кружки, собирать деньги, распространять литературу, образовывать партию с целью борьбы «за пришествие народного царства». Кажется, что не 13 лет, а несколько месяцев отделяют эту статью от его «Воззвания к славянам». Прежнее восприятие окружающего мира, прежние стремления — все налицо.

Сотрудник Герцена В. И. Кельсиев в своей «Исповеди» так передает одну из первых бесед Бакунина с Герценом, свидетелем которой он был:

«— В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки образумятся… Собирается туча, но надобно желать, чтобы она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что же тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели же ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело?! Эдак с ума сойдешь, я без дела сидеть не могу». [195]

Рассказ этот, очевидно, утрирован, но общей направленности стремлений Бакунина не противоречит.

О своей жажде деятельности сообщал Бакунин и Жорж Санд, с которой поспешил по приезде возобновить старые отношения: «Я вновь свободен и готов приняться за те прегрешения, за которые со мной так немилостиво обошлись… Я чувствую себя еще достаточно молодым. Мне как раз столько лет, как гетевскому Фаусту, когда он говорит: „Слишком стар, чтобы забавляться пустяками; слишком молод для того, чтобы не иметь желаний“. Лишенный политической жизни в течение 13 лет, я жажду деятельности и думаю, что после любви высшее счастье — это деятельность. Человек вправду счастлив, лишь когда он творит». [196]

Творчество Бакунина было весьма своеобразным. Он чувствовал себя призванным вновь создавать лишь гигантские планы и работать над осуществлением не только русской, но и общеевропейской революции. Какими же возможностями располагал неутомимый бунтарь на этот раз? В свой актив он прежде всего зачислил как редакцию «Колокола», так и всех друзей и знакомых Герцена и Огарева.

Быстро вошел он в близкий Герцену круг европейской демократии. Здесь были и итальянские революционеры Джузеппе Мадзини и Аурелио Саффи, и знакомый Бакунину по февральской революции во Франции Луи Блан, и английский демократ Вильям Линтон, было немало поляков и много русских. Были, наконец, живые, практические связи с Россией, которыми никогда ранее не располагал Бакунин.

В многогранной русской аудитории, собиравшейся у Герцена, весьма своеобразной фигурой был Петр Алексеевич Мартьянов. Недавно еще крепостной крестьянин графа Гурьева, занимавшийся торговым делом, он за 10 тысяч рублей получил

отпускную почти накануне освобождения крестьян. Разоренный графом, он безуспешно пытался поправить свои дела, а когда это не удалось, уехал за границу, где и явился к Герцену.

Интересную характеристику Мартьянову дал хорошо его знавший В. И. Кельсиев: «Всю любовь своей сильной и страстной натуры он излил на царя и на простонародье, да так излил, что без слез не всегда говорить об них мог. Всю же ненависть свою, годами накипавшую на сердце злобу, он опрокинул на дворянство и на чиновничество. „Всякий, кто не сын народа по происхождению, да погибнет!“ — провозглашал он».[197]

За любовь к царю и веру в него Мартьянов поплатился жизнью. В апреле 1862 года он написал письмо Александру II. Высказав свои взгляды на положение дел в России, он кончал его так: «Государь! я говорю голосом народа, моя обязанность — свобода, мое право — кровь и страдания. Мне поверка — народ и его люди; мы ждем от Вас созвания Великой Земской думы, для постоянных совещаний вокруг Вас». Письмо было послано по почте, а затем напечатано в «Колоколе». Больше на Западе Мартьянову делать было нечего. Человек строгой последовательности, он должен был идти до конца. «Сказать печатно слово и отвернуться от России для Америки — не хорошо»,[198] — объяснял он Огареву причину своего возврата на родину. «Что найду? Кто знает! Хочу добра и правды». Нашел он тюрьму, каторгу, смерть.[199]

Первые месяцы жизни в Лондоне Бакунин много времени проводил с Мартьяновым. Впервые близко сойдясь с выходцем из крестьянской среды, воодушевленным огромной верой в свои идеалы, Бакунин был поражен. Мысли Мартьянова, бесспорно, не прошли для него даром. По словам Огарева, именно это общение толкнуло его на проповедование идей Земского собора в такой форме, в которой было много «неуясненного царизма».

В конце лета 1862 года появилась брошюра Бакунина «Народное дело» с подзаголовком: «Романов, Пугачев или Пестель?» Брошюра почти целиком была посвящена русским делам и сводилась в основном к одной проблеме — пропаганде Земского собора.

Идея Земского собора в это время вообще была весьма популярна в либеральных и частично демократических кругах России. Сторонникам общинного социализма и федеративного государственного устройства под влиянием реформ, осуществляемых правительством, стал казаться возможным и легальный созыв Земского собора для разрешения всех наболевших проблем русской жизни. Герцен и Огарев некоторое время видели два пути организации «выборного федеративного

правительства»: созыв Земского собора с согласия царя или в случае отказа последнего — вооруженное восстание.

Войдя в круг русских дел и русских интересов, Бакунин со свойственным ему пылом увлекся новой для него идеей и довел ее до некоторых крайностей.

Изложив в брошюре свои мысли о федеративной организации славянского мира и России, Бакунин ставил риторический вопрос: «С кем, куда и за кем мы пойдем?.. За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду; мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского».[200]

Спустя четыре года Бакунин напишет: «То было время компромиссов… время нелепых надежд… Мы все говорили, писали в виду возможности земского собора… и делали, я по крайней мере делал уступки не по содержанию, а в форме, чтобы только не помешать, в сущности невозможному, созванию земского собора. Каюсь и вполне сознаю, что никогда не следовало отступать от определенной и ясной социальной революционной программы».[201]

Теоретические статьи, как всегда, не занимали целиком Бакунина. В первые же месяцы лондонской жизни он с жаром погрузился в практическую революционную работу. Одним из важнейших дел его в это время стала организация транспортировки изданий «Вольной русской типографии» в Россию. Уже по дороге из Сибири он пытался установить связи с тремя купцами: немцем в Шанхае и двумя американцами в Николаевске-на-Амуре и в Японии, с тем чтобы они брали на комиссию издания «Вольной русской типографии» и продавали бы их русским офицерам и кяхтинским купцам.[202]

Не только распространение «Колокола», но и создание новых пунктов, подыскание новых агентов для связи с Россией занимали Бакунина. Многие, ничем не занятые эмигранты из славянских стран окружали его и готовы были исполнять любые конспиративные поручения. Вот так пишет Герцен о деятельности его в первые лондонские месяцы: «Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь писем он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата и, не

кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам, а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой».[203] Герцен, как всегда, образен и ироничен. Однако масштабы планов и практических действий Бакунина, его вера в то, что каждый привлеченный им человек может и должен отдать свои силы революции, могли вызвать не только иронию. Так, Петр Алексеевич Кропоткин писал по поводу этих слов Герцена: «Весьма возможно, и, наверное, так и было, что Бакунин часто возлагал больше надежд на подходивших к нему людей, чем они это заслуживали. Но разве того же нельзя сказать о Мадзини, о всяком искреннем революционере? Оттого, может быть, он и обладал такой магической силой, что верил в человека, верил в то, что великое дело, к которому он его приобщал, пробудит в человеке то, что в нем есть лучшего. И оно действительно пробуждало, и под влиянием Бакунина человек давал революции в короткое время все лучшее, на что был способен».[204] И все-таки выбор эмиссаров часто был неудачен, а практические действия кончались провалами. Так случилось и с попыткой соединения итальянского и славянского освободительных движений. С этой целью Бакунин вступил в переписку с Джузеппе Гарибальди. Однако посланец, направленный со столь ответственной миссией, действительно был выбран неудачно. Это был молодой петербургский чиновник Андрей Иванович Ничипоренко, хотя и принимавший деятельное участие в революционных акциях, но не по велению сердца, а по тщеславному желанию играть роль заговорщика.

В письме, врученном Ничипоренко для передачи Гарибальди, Бакунин изложил свою старую программу 1848–1849 годов: уничтожение Российской, Австрийской и Турецкой империй, союз с мадьярами и создание сначала федерации всех славян, а затем автономия и федерация всех вообще свободных народов. «Дело великое, но не невозможное. Есть минуты, в которые только мелкое и умеренное неисполнимо.

Начнем с соединения славян с итальянцами. Молодой человек, переговоривши с Вами, отправится в Вену, оттуда в Прагу, он проедет всю Венгрию до Сербии; наконец из Белграда он отправится в Галац, потом в Малороссию. Генерал, если Вы находите истинно полезным соединение славян с Италией, если Вы имеете веру в действительность и пользу нашего соединения… скажите ему, чего Вы желаете; сделайте ему

поручения в те города, которые он посетит; назовите ему людей, которых он должен видеть…»[205]

Свою рекомендацию Ничипоренко дал и А. Саффи. Он писал Гарибальди, что представляет ему молодого человека как друга Герцена и Бакунина, который может «оказать весьма важные услуги делу народной эмансипации по знаниям своим о славянской народности».

Союз с Гарибальди надо было подкрепить и реальными действиями в славянских странах. Для этого Ничипоренко же были даны другие письма. В письме к Фрицу в Прагу Бакунин, рассказывая о своих планах, предлагал начать революционную работу сначала в Богемии, потом в Моравии и Венгрии, приглашая своего корреспондента явиться в Лондон и привезти с собой «несколько хорватов и сербов» для того, чтобы решить вопрос о том, какими силами могут располагать славяне.

В другом письме к одному из деятелей славянского движения, Куслиану, Бакунин писал о необходимости соединить вновь «старую разорванную сеть, …на основании первого славянского конгресса».[206] Письма эти Бакунин писал в середине мая 1862 года. 18 июня на австрийской пограничной станции Пескиери Ничипоренко обыскала полиция и отобрала у него прокламации на итальянском языке. Письма же во время обыска он сумел незаметно бросить под скамейку. Однако после его отъезда дальше, в Венецию и Триест, бумаги эти были, найдены. Немедленно австрийскими властями было отдано распоряжение об аресте Ничипоренко на территории Австрии и Турции, а копии писем были направлены в Россию, где его самого арестовали спустя месяц.[207]

В начале июля произошел и другой провал — на границе был арестован Павел Александрович Ветошников, везший письма Бакунина, Герцена, Кельсиева. Арест этот повлек за собой целую цепь других и положил начало «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». Письма Бакунина адресованы были М. Л. Налбандову, И. С. Тургеневу, Н. С. Бакуниной и касались главным образом сугубо личного вопроса, а именно его жены. Вызов Антонины Ксаверьевны был для Бакунина вопросом первостепенной важности. Он действительно любил жену и, несмотря на всю свою бурную деятельность, тяжело переносил вынужденную разлуку.

Еще с дороги, 3 декабря Бакунин писал друзьям о том, что отсутствие известий об Антонине Ксаверьевне очень мучает его. Первым его делом по приезде в Лондон стали хлопоты о ее вызове. Однако дело это было весьма сложное. Прежде всего нужны были деньги. Еще до приезда Бакунина Герцен постарался

обеспечить ему некий прожиточный минимум путем подписки в его пользу среди друзей. Однако, кроме самого Герцена, Тургенева и Боткина, мало кто принял участие в этом деле. Да и собранной суммы не могло хватить на путешествие А. К. Бакуниной из Сибири до Лондона. Тогда Тургенев пообещал Бакунину дать его братьям взаймы 2 тысячи рублей.

Но, помимо денежного вопроса, возникли и другие осложнения. Либерально настроенные братья Бакунина Николай и Алексей — один член губернского присутствия, другой уездный предводитель дворянства — в числе 13 дворян подписали заявление губернскому по крестьянским делам присутствию, что присоединяются к принятому ранее постановлению губернского дворянского собрания, требующего немедленного выкупа крестьянских наделов и созыва «собрания выборных от всего народа без различия сословий». За эту акцию они были преданы суду Сената и заключены в Петропавловскую крепость.

«Жаль Бакуниных, — писал по этому поводу М. С. Корсаков своей матери 8 апреля 1862 года, — умные люди, могли бы, кажется, избегнуть этих неприятностей, надо помогать царю поправить то, что, оказывается, непрактично сделано, а не вооружать против, а своими открытыми протестами они сделали последнее».[208]

Но как бы ни осуждал этот поступок их осторожный родственник, а дело было сделано. Находясь в крепости, они, естественно, ничем не могли помочь как Михаилу Александровичу, так и его жене. Единственный из братьев Павел, находившийся в это время в Премухине, не очень энергично хлопотал, чтобы вызвать из Сибири Антонину Ксаверьевну. Тогда-то Бакунин и вынужден был прибегнуть к помощи нового молодого друга — Налбандова.

Михаил Лазаревич Налбандов (Налбандян), революционер, писатель и публицист, был известен не только у себя на родине в Армении. В 1859–1862 годах, неоднократно бывая за границей, он близко сошелся с лондонскими эмигрантами и стал участником русского освободительного движения. «Золотая душа, преданная бескорыстно, преданная наивно до святости», — говорил о нем Герцен.

Уезжая из Лондона, Налбандов, как человек добрый, отзывчивый и энергичный, взялся помочь Бакунину вызволить из Сибири его жену и помочь ей уехать за границу. Он должен был взять деньги у Тургенева, отправить их в Иркутск, навестить Премухино и проследить за тем, чтобы родные Бакунина пригласили Антонину Ксаверьевну пожить там две-три недели перед отъездом за границу.

Все эти дела продвигались крайне медленно. Тургенев никак не мог достать нужной суммы. К многочисленным напоминаниям Бакунина прибавил свой голос и Герцен. 28 марта он писал: «Тургенев моего сердца, Бакунин тебя просит, и я приговариваю — отдать 950 фр. этому Лазарю. Ты, стало, по-моему, за этот год — безнедоимочен. А деньги уже выходят (это те, что ранее даны были Бакунину. — *Н.П.*). Работает он мало. Ему со всех сторон предложения — а он ни тпру ни ну. Отяжелемши. А вот на днях мне 50 лет!»[209]

Но, прося Тургенева ссудить деньги Бакунину, Герцен в то же время весьма неодобрительно относился к предстоящему приезду его жены. «Налбандов очень и очень честный и хороший человек, — писал он в следующем письме к Ивану Сергеевичу, — не вели ему сюда возить жену Бакунина».[210]

А тем временем сам Бакунин проявлял страшное нетерпение. Он писал Налбандову, Тургеневу, родным (те письма, которые и были изъяты у Ветошникова), писал много и часто Антонине Ксаверьевне. «Я жду тебя, Antonie. Сердце мое по тебе изныло. Я днем и ночью вижу только тебя… Антося, друг неоцененный, приезжай, скорее приезжай».[211]

«Неужели ты еще в Иркутске! Боже мой! Неужели и в эту минуту ты в Иркутске! — с отчаянием восклицал он в одном из последующих писем. — …Плюнь ты в глаза тому, кто станет говорить тебе, что ты стеснишь и свяжешь меня, — мне нужно твоей тесноты, твоей связи — с ними я буду свободнее, покойнее, сильнее. Я люблю тебя, Antonie. Итак, друг, верь и никого не слушай… Ей-богу, ведь страшно подумать — мы полтора года в разлуке, и я не знаю теперь еще где ты?»[212] Очевидно, кто-то из родных отговаривал Антонину Ксаверьевну от поездки к мужу, так как далее в том же письме он продолжал: «Не одну тебя, и меня хотели смутить. Мне писали из Вост. Сибири, что ты не думаешь ехать, что тебе хорошо в Иркутске. Но… я ничему не поверил. Верю только твоему слову. А ты мне сказала, когда мы с тобой расставались, что мы скоро увидимся. Я жду тебя… Еще раз повторяю: все зависит от твоей энергии, твоей воли». Далее он писал о том, что первый и самый трудный этап пути — добраться до Премухина, сообщал о том, что «на днях писал к графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Мы с ним, правда, разошлись, принадлежим к противоположным политическим лагерям, но настолько я сохранил веры в него, что не сомневаюсь в его совете и помощи в отнюдь не политических делах твоего соединения со мной».[213]

Письмо с просьбой помочь Антонине Ксаверьевне выбраться из Сибири написал Бакунин и Б. К. Кукелю. Послание это, попав в

руки III отделения, естественно, скомпрометировало последнего. Поводом для обращения Бакунина к человеку, которого он и так поставил под удар своим побегом, послужила его приписка на письме Антонины Ксаверьевны.

Вернувшись летом 1861 года из Петербурга и не заставши уже в Иркутске Бакунина, Кукель принял участие в судьбе его жены. Молодая, привлекательная и неопытная женщина, брошенная, как казалось, на произвол судьбы сумасбродным мужем, вызывала вообще всеобщее сочувствие. Положение ее было действительно нелегким. Осаждаемая многочисленными кредиторами, не имея ни средств, ни близкой надежды их получить, не имея долгое время известий от родных мужа, она была растеряна, не знала, что предпринять.

Однажды, заехав к ней, Кукель застал ее в слезах. Бывший у нее в этот день кредитор довел ее до обморока. Она показала Кукелю письмо Бакунина и свой ответ и попросила его приписать к нему несколько строк, с тем чтобы сообщить мужу о том, что она не одинока и что Кукель поможет ей уладить дела и выехать из Иркутска. «Делая эту приписку по первому побуждению, не предусматривая, к сожалению, никаких последствий, я вовсе не имел в виду, к кому пишу, а помнил только, для кого пишу, руководимый участием лишь к грустному положению молодой, болезненной и брошенной женщины»[214] — так объяснял Кукель свой поступок в рапорте М. С. Корсакову.

Бакунин же, получив несколько слов от Кукеля, расценил их иначе. В своем ответе он не ограничился благодарностью за помощь его жене, но и пространно высказался по вопросам политическим, причем так, что выходило, будто бы Кукель его единомышленник и нуждается в его советах для определения своей линии поведения.

После того как письмо это было перехвачено и содержание его сообщено царю, последовало «высочайшее повеление» об отстранении Кукеля от исполнения возложенных на него обязанностей и должностей. Однако хлопоты Корсакова о своем ближайшем помощнике и друге помогли, и в декабре 1863 года ему было разрешено вернуться к «исправлению занимаемой должности».

Антонине Ксаверьевне удалось выехать из Иркутска лишь в декабре 1862 года. Два месяца прожила она в Премухине, а затем, после нелегких хлопот, получив, наконец, заграничный паспорт, отправилась в Лондон.

В ожидании приезда жены Бакунин не терял времени даром. Он продолжал свои попытки революционизировать «Колокол», искать новых людей, «заявлять свою необузданную

революционную решимость» — так характеризовал его деятельность сотрудник III отделения, автор «Нравственно-политического обозрения за 1862 год».[215] По свидетельству этого документа, приезд Бакунина «оживил деятельность русской пропаганды» и, что уж совсем бесспорно, усилил наблюдение агентов III отделения за лондонскими пропагандистами.

Особое беспокойство этого учреждения вызвали контакты Бакунина и Кельсиева с деятелями старообрядческой церкви. «Главные происки заграничной пропаганды направлены были на возмущение раскольников»,[216] — пишет автор обозрения, преувеличивая место и значение этих «происков». Главного места они не занимали, но известную роль в деятельности Лондонского центра играли. Протест старообрядцев против официальной церкви, преследование их правительством делали эту довольно многочисленную категорию русского крестьянства в глазах русских революционеров оппозиционной самодержавию силой, на которую они рассчитывали опереться.

В редакции «Колокола» связи с раскольниками приобрели конкретный характер после того, как вопросом этим активно занялся Кельсиев.

Василий Иванович Кельсиев представлял собой тип человека, понимавшего всю горечь российской действительности, ненавидевшего все неправды существующего строя, но от постоянной и всеобъемлющей критики действительности не приобретшего никакого собственного нравственного капитала. Именно отсутствие нравственных устоев и привело его впоследствии к ренегатству.[217]

В Лондоне Кельсиев появился в 1859 году, остановившись по пути на Алеутские острова, где он должен был служить помощником бухгалтера в Русско-Американской компании. Он задержался здесь, а потом и совсем решил остаться, несмотря на то, что Герцен всячески отговаривал его от этого шага. Взявшись помогать Герцену в редакции и приводя в порядок многочисленные документы о преследовании раскольников, без движения лежащие в делах «Колокола», Кельсиев увлекся ими. В итоге ему удалось подготовить и опубликовать четыре выпуска «Сборника правительственных сведений о раскольниках». Но этого ему было мало. Он стремился установить связи с русскими старообрядческими колониями в Турции и Молдавии и, наконец, со старообрядческими организациями в самой России, для чего нелегально и ездил туда весной 1862 года.

Познакомившись с деятельностью этого «специалиста по расколу», Бакунин немедленно принял в ней участие. Однако как по идее, так и по практическим акциям союз этот не мог иметь

места.

Визит в Лондон старообрядческого епископа Пафнутия наглядно продемонстрировал всю несоединимость революционеров с деятелями раскола. Поведение же в этом эпизоде Бакунина лишь подчеркнуло комическую сторону этих переговоров. «Бакунин явился посмотреть лондонского старообрядца, — пишет Кельсиев, — которого я, признаться, прятал, чтобы избежать разгласки… Помню, что он поднялся ко мне в кабинет, распевая во все горло какой-то тропарь».[218]

А вот как описывает эту встречу автор статьи о расколе Н. И. Субботин: «Вечером 5 января 1862 г. в крещенский сочельник Пафнутий сидел одиноко в своей квартире. Вдруг он слышит, что кто-то, распевая густым басом „Во Иордане крещающуся тебе, Господи“, тяжелыми шагами поднимается по лестнице, дверь распахнулась, и какой-то незнакомец, сопровождаемый Кельсиевым, с хохотом вошел в комнату…»[219] Весь тон, принятый Бакуниным в разговоре, его бесцеремонность и вместе с тем неуклюжие попытки продемонстрировать свое сочувствие религиозным идеям Пафнутия произвели весьма неприятное впечатление на деликатного и сдержанного старца. Знакомство их было смягчено лишь одним обстоятельством: у них оказался общий знакомый — Алимпий Милорадов — коллега Бакунина по Пражскому съезду. По словам Субботина, Бакунин прочел Пафнутию письмо, в котором он писал Милорадову: «Отец Алимпий, помнишь ли Прагу? Что же ты дремлешь? Пора за дело!»

Неудачным оказался как визит Пафнутия в Лондон, так и посещение Герцена другим деятелем раскола, казаком-старовером из Турции — Осипом Гончаром.

Но все эти попытки контактов были далеко не главным в пропаганде, которую вели Герцен и Огарев. В главном же, в самом направлении и характере деятельности редакторов «Колокола», Бакунин с первых же недель вступил в противоречие с Герценом и Огаревым. Уже первая статья Бакунина «Русским, польским и всем славянским друзьям» не понравилась Герцену. Весь тон ее — тон 1848 года — не соответствовал ни новым обстоятельствам, ни характеру «Колокола». Очевидно, поэтому и не появилась вторая часть этой статьи. Бакунину, писал Герцен, «мало было пропаганды, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были „посвященные и полупосвященные братья“, организация в крае — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства».

[220]

К весне 1862 года отношения обострились настолько, что встал вопрос о возможности дальнейшей совместной работы.

«Вы создали силу, — писал Бакунин друзьям. — Создать другую такую силу не легко, у меня нет герценовского таланта — принимая слово „талант“ в обширном, не только литературном смысле. Но во мне все-таки есть сила полезная и благородная, которую вы, пожалуй, не признаете, но которую я знаю. Обречь ее на бездействие я не хочу, да и не имею права. Когда я приду к убеждению, что в соединении с вами для нее нет выражения, ни дела, тогда я, разумеется, от вас отделюсь и по средствам и по умению буду действовать особенно… Быть третьим в вашем союзе — единственное условие, при котором наше соединение возможно, в противном случае мы будем союзниками и, пожалуй, приятелями, но вполне независимыми и неответственными друг за друга».[221] В ответ на это Герцен и Огарев предложили Бакунину «Дружеское и союзное возле».

«Сердце мое удовлетворено, — отвечал Бакунин, — спасибо вам за то, что вы приняли письмо мое так серьезно и не искали в нем выражений раздраженного самолюбия, — для себя лично я ничего большего не желаю…»[222]

Но и «союзное возле», предложенное Герценом, и удовлетворение, высказанное Бакуниным, далеко не исчерпывали и не могли исчерпать разногласий между ними. Слишком разные были эти люди, слишком по-разному подходили они к главному делу их жизни — освободительной борьбе. Общим было дело, общими были и отдаленные конечные цели, но пути… Сколько личных судеб революционеров, сколько политических течений и партий разошлись на вопросе о путях, средствах и методах борьбы.

Глубоко искренний, конкретный, общечеловеческий гуманизм, органически присущий Герцену, делал его противником всех проявлений авантюризма в теории и тактике революционной борьбы. К 60-м годам он в значительной мере оставил позади различные социальные иллюзии, трезво и скептически смотрел на современный мир: Он знал, что наибольшую силу в этом мире имело слово, и потому вел свою пропаганду. Но строгая последовательность — это вид мужества, доступный не всем. Да и обстоятельства иной раз складываются так, что простая честность требует непоследовательности. И тогда человек, бессильный перед ходом событий, поступает так, как требует его совесть.

В событиях конца 1862 и 1863 годов Бакунин стал для Герцена как бы частью обстоятельств, частью той

действительности, которая иной раз заставляла идти вопреки трезвому анализу и разуму. Глубокие, принципиальные разногласия старых друзей не были делом личным. Они отражали две основные линии русского освободительного движения. С одной стороны, была бунтарская революционность, с другой — вдумчивая и серьезная подготовка сил, пропаганда, просвещение. Личная же приязнь и личная дружба между ними уживались почти всегда рядом с теоретическими расхождениями. «Ты должен знать, Герцен, что уважению моему к тебе нет меры и что я искренно люблю тебя. Прибавлю еще, что без заднего чувства, но с полной радостью, я ставлю тебя во всех отношениях гораздо выше себя, по способностям и знанию и что для меня твое мнение во зсяком деле очень важно». Но после этого признания следовал упрек, говорящий о том, что Бакунин, в сущности, не понимал значения дела Герцена: «Я в самом деле иногда упрекаю тебя в том, что для тебя литературное дело чуть ли не важнее практического и литератор милее простых деятелей».[223] Впрочем, возможно, здесь Бакунин несколько утрировал. Он в общем-то знал, что своим «литературным делом» Герцен создал огромную силу. «Теперь весь вопрос в том, что ты из нее сделаешь? — обращался он к Герцену. — Россия требует теперь практического руководства и практической цели. Дает его „Колокол“ или нет? Если нет, то через год, может быть, и через полгода он потеряет и смысл и влияние, и вся сила, созданная тобой, рушится перед первым смелым, самонадеянным мальчиком, который за неспособность думать, как ты, будет сметь лучше, чем ты. Подымай знамя на дело, Герцен, подымай его со всей свойственной тебе осторожностью, со всем возможным благоразумием, тактом, но подымай его смело. А мы пойдем за тобой и дружно будем работать с тобой».[224] «Делом», о котором писал Бакунин, было восстание. Но и теперь, в 1862 году, Герцен мог бы повторить то же, что писал в 1859 году: «К топору, к этому ultima ratio притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора».

Однако надежд оставалось все меньше и меньше. Нарастало национально-освободительное движение в Польгде. Польский Центральный национальный комитет готовил восстание, срок которого намечался на весну или лето 1863 года. Русские революционеры на это же время намечали восстание в Центральной России, полагая, что окончание срока, установленного для введения в действие Положения 19 февраля 1861 года, вызовет повсеместные крестьянские волнения.

С начала вольной русской прессы за границей Герцен выступал за свободу и самоопределение Польши. «Мы с Польшей

потому, что мы — за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы — русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих».[225] Такова была позиция издателей «Колокола». В польском вопросе Герцен продолжал традицию русских революционеров, еще недавно, в 1847–1848 годах, развитую Бакуниным. Но если Бакунину в те годы не удалось создать польско-русского революционного союза, то теперь все возможности к этому были налицо. Статьи Герцена в «Колоколе», призывавшие к полному и безусловному освобождению Польши от России и от Германии, к братскому соединению русских и поляков, вызвали поток адресов, покрытых сотнями подписей поляков, приветствующих Герцена. Руководители польского движения начали переговоры с издателями «Колокола» о дальнейших совместных действиях. Среди русских офицеров в частях, стоящих в Польше, началось революционное движение. В конце 1861 года сформировалась тайная революционная организация — Комитет русских офицеров в Польше. 16 июня 1862 года в крепости Модлин были расстреляны русские офицеры Аргольдт, Сливицкий и унтер-офицер Ростковский. «Три русских мученика умерли за поляков», — писал Герцен.

В начале июля в Лондон явился представитель революционного офицерства — поручик Андрей Потебня. Он привез письмо офицеров издателям «Колокола». «Что нужно делать русским офицерам в Польше, когда начнется восстание?» — спрашивали они.

В конце сентября начались переговоры между Герценом, Огаревым, Бакуниным и представителями Центрального польского комитета З. Падлевским, А. Гиллером л В. Миловичем. Переговоры эти и последующие встречи с теми, кто готовил восстание, еще раз показали, как Бакунин преувеличивал возможности революции в России. «Бакунин не слишком останавливался на взвешивав нии всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель… Он увлекал не доводами, а желаниями. Он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Урал восстанут как один человек, услышав о Варшаве».[226] «Я видел, — писал далее Герцен, — что он запил свой революционный запой и что с ним не столкуешься теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою „славную и славянскую“ федерацию… он уже видел красное знамя „Земли и Воли“, развевающееся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, и торопился сгладить как-нибудь затруднения, затушевать противоречия, не выполнить овраги, а

бросить через них чертов мост».

«Овраги» же были весьма серьезны. Только народный, крестьянский характер восстания мог принести ему успех. «Если в России, — говорил Герцен полякам, — на вашем знамени не увидят надел земли и волю провинциям, то наше сочувствие вам не принесет никакой пользы, а нас погубит».[227]

Эти требования разделяло лишь демократическое крыло польских деятелей, но не они руководили движением в целом. При этих условиях тот «чертов мост», которым Бакунин пытался соединить русских революционеров и польских деятелей освободительного движения, не мог быть гарантией успеха.

Пожалуй, в той торопливости, в том сглаживании противоречий с поляками, которые проявлял Бакунин, было и что-то личное. Недаром Огарев сурово упрекал его: «Ты затем и хочешь вредной попытки, потому что она тебе дает занятия, хотя бы и вредила делу. Войди в глубь самого себя — и очистись. Говорю не в укор, а как мольбу о том, чтоб ты выше себя поставил дело, выше себя свою человеческую чистоту».[228] Но убедить Бакунина, погрузившегося в свой «революционный запой», не было возможности. Он помолодел и, как пишет Герцен, — «был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспирации, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификации, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки, я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел».[229]

В результате переговоров и определенных уступок со стороны поляков в «Колоколе» от 1 октября 1862 года появилось обращение Центрального национального польского комитета в Варшаве.

«Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, совершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой».[230]

«Это наши основы, это наши догматы, наши знамена, — отвечали полякам издатели „Колокола“ в следующем номере журнала. — Во имя их примите и нашу дружескую руку, слабую силами, но неизменную в убеждениях; мы ее подаем Вам как русские, мы любим народ Ваш, мы верим в него и его будущность, и именно потому подаем Вам ее на дело справедливости и

свободы!»

Вопрос о помещении этого ответа также вызвал споры и разногласия между Герценом и Бакуниным. Герцен настаивал на менее официальной, менее обязывающей форме ответа. «Герцен, — писал ему Бакунин, — я решительно не того мнения, чтоб можно было ответить на письмо Варшавского комитета письмом к офицерам. По моему крепкому убеждению, должно ответить на документ документом, т. е. письмом к Комитету… Мне кажется, это требуют и справедливость и наше достоинство. Мы берем на себя практическую ответственность в союзе с поляками, так прятаться от нее нечего. Иначе скромность покажется трусостью и нежеланием компрометировать себя».[231]

Вопрос был решен так, как предлагал Бакунин. В том же номере «Колокола» по его же настоянию был помещен и ответ «Русским офицерам в Польше», спрашивающим еще ранее, что делать им в случае восстания.

«Общий ответ прост — идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянным, как Сливицкий, Аргольдт и Ростковский, быть поднятым на штыки, как вам грозил ваш дикий кондотьер Хрулев, но не подымать оружия против поляков, против людей, отыскивающих совершенно справедливо свою независимость».[232]

Принципы, провозглашенные Центральным польским комитетом: право всякого народа располагать своей судьбой и право крестьян на землю, — разделялись далеко не всеми как в Польше, так и особенно в среде польской эмиграции. Бакунин был прав, когда писал Лугинину, что «никогда не было до сих пор объявлено поляками публично „право народов распоряжаться собой“. В применении к Литве, Украине право, так ясно высказанное в письме Центрального комитета, это огромный шаг, вызвавший против них бурю в большей части польской эмиграции».[233]

Бурю эту раздувал генерал Мерославский. В польском движении он представлял крыло крайнего национализма. Его программа требовала восстановления Польши в границах до 1772 года, то есть с включением в нее украинских, белорусских, литовских земель. Никакого крестьянского движения в самой Польше он не признавал, однако не возражал против крестьянской революции в России, которая могла бы поддержать польское восстание.

Бакунин познакомился с Мерославским в августе 1862 года во время кратковременной поездки в Париж. Сначала польский генерал попытался использовать силы, будто бы стоящие за Бакуниным, и предложил союз исключительно с ним, отрицая за

всеми другими деятелями право представлять интересы Польши. Однако в Лондоне вскоре стало известно о наличии Центрального польского комитета, с которым и начались переговоры. Тогда Мерославский обрушился на Бакунина и редакцию «Колокола», обвиняя их в подготовке «четвертого раздела Польши» и других несуразностях.[234]

Разрыв с Мерославским был вполне естествен. Националистическая программа польского генерала делала невозможным союз между ним и Бакуниным. Однако агенты III отделения склонны были приписать своим усилиям этот разрыв, который, по словам «Нравственно-политического обозрения за 1862 год», произошел под влиянием «одного ловкого анонимного подстрекательства».

Сама история этого «подстрекательства» не лишена интереса. Известный агент III отделения А. Балашевич-Потоцкий, работавший с 1861 по 1875 год за границей, вступил с этой целью в переписку с Бакуниным, и если разъединение двух противников самодержавия произошло и без его участия, то ловко обмануть старого конспиратора по другим вопросам ему удалось вполне.

В середине декабря 1862 года Бакунин получил письмо от неизвестного поляка из Парижа, в котором корреспондент писал о себе, о Париже, о женщинах, высказывал весьма скептическое отношение к возможности революционного движения в России и Польше: «Обширность страны, трудные сообщения, разъединенность сословий, а главное — незнание дела вызовут плачевные результаты и новые жертвы».[235] Подпись под письмом была странной: Абракадабра.

Бакунин с ответом не задержался. Вскоре пришло новое письмо, на этот раз, помимо общих рассуждений, содержащее предупреждение против козней Мерославского. Переписка завязалась и продолжалась в этом же духе. Причем Абракадабра упорно отказывался расшифровать свое имя. Тем не менее мысли этого анонима показались Бакунину столь интересными, что он предложил ему сотрудничать в «Колоколе». Параллельно он попытался выяснить имя своего корреспондента окольным путем, написав в Париж Мари Кардо: «Узнайте ради бога, кто такой Клепацкий и какого поля эта ягода? Я получил довольно интересную корреспонденцию из Парижа от какого-то анонима Абракадабра, этот аноним дал возможность сноситься мне с ним через какого-то Клепацкого».[236] Корреспондентка Бакунина узнать ничего пе смогла, но сам Абракадабра — Потоцкий, естественно, узнал о попытках Бакунина выяснить его личность. Узнал и — обиделся. По крайней мере Бакунин в следующем письме к нему счел нужным как бы оправдаться за свое

недоверие: «Вы странный человек, но ничего, до сих пор Вы мне нравитесь… Обещаю не подвергать вас более полицейским розыскам и даже о г. Клепацком не буду спрашивать».

Преследуя свою цель, Абракадабра прибег к довольно примитивному методу. В следующем письме он сообщил, что трое поляков — Цверцякевич, Милович и Хмелинский — арестованы в Париже по доносу Мерославского. Однако эффекта от такой информации не получилось. «Ну, послушайте же, — отвечал Бакунин, — я о Мерославском невысокого мнения. Думаю, что несчастное, чудовищное тщеславие может довести его даже до дел преступных. Его нелепое отрицание существования Центр. Комитета, его неблагородные выходки против нас ясно это доказывают, но чтобы он был способен на формальный донос… и ум и сердце, все существо мое противится тому, чтобы я мог этому поверить. Не зарапортовались ли Вы? Вы видите, любезный незнакомец, сохраняя свой аноним, Вы мне даете право Вам грубить — как на маскараде».[237]

Переписка Бакунина с Абракадаброй продолжалась еще некоторое время. Причем он так и остался в неведении о том, кто был его тайный корреспондент. Балашевич-Потоцкий тщательно переписывал все письма Бакунина, так же как и другие документы, в свою личную тетрадь, которая и поныне хранится в ЦГАОРе.

Но вернемся к событиям, предшествовавшим польскому восстанию.

Польские революционеры наметили срок выступления на весну 1863 года, приурочив его к рекрутскому набору. Но ни в России, ни тем более в Лондоне не было организации и сил, чтобы действенно поддержать поляков. Заявления издателей «Колокола» были чисто декларативными. Герцен, Огарев, Бакунин не могли поступить иначе. В сложившейся обстановке они должны были сказать и сказали о своей позиции. Их открытая поддержка готовящегося выступления поляков была не только вопросом политики, но и вопросом революционной чести. Поляки же, однако, рассчитывали не только на моральную помощь.

«Вы думали, — сказал Герцен во время переговоров, — что мы сильнее… Да… вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, т. е. она может улетучиться; мы сильны сочувствием., унисоном со своим. Организации, которой бы мы сказали: „Иди направо или налево“, — нет».[238]

В самой же России «клались первые ячейки организации». Говоря так, Герцен имел в виду «Землю и Волю» — тайное революционное общество, которое создавалось с конца 1861 года.

Его организаторами были последователи Н. Г. Чернышевского: А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев, братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, В. С. Курочкин, С. С. Рымаренко и др.

Русский Центральный народный комитет, стоявший с 1862 года во главе общества, старался объединить на федеративных началах уже существовавшие и вновь возникавшие революционные кружки как в обеих столицах, так и на местах. В том же 1862 году к обществу присоединился и Комитет русских офицеров в Польше. Программные требования общества в общих чертах совпадали с платформой Герцена и Огарева, а также с программной частью брошюры Бакунина «Народное дело». «Право каждого на землю и выборное федеративное правительство» — так кратко разъяснял Герцен основное содержание землевольческой программы.

Никакими конкретными силами, способными помочь полякам, землевольцы не располагали, и, когда в ноябре 1862 года в Петербург для переговоров приехал Падлевский и сообщил о готовящемся выступлении, они были поражены, растеряны. «Мы все, — пишет Л. Ф. Пантелеев, — сочувственно относились к польскому движению, предвидели вероятность революционного взрыва, и тем не менее категорическое заявление Падлевского, что восстание вспыхнет в самом непродолжительном времени, произвело на нас ошеломляющее впечатление: нам казалось, что поляки идут на верную гибель. Какую же помощь можем оказать им? Никакой, у нас нет ни малейших средств сделать в их пользу хотя бы самую незначительную диверсию. Надо быть честным, нельзя подавать какие-нибудь призрачные надежды людям, идущим на смерть».[239]

О невозможности реально помочь полякам писал и Герцен представителю польского комитета И. Цверцякевичу.

В письме, посланном в ноябре Комитету русских офицеров в Польше, Огарев умолял приложить все усилия и оказать все возможное влияние на польских руководителей, с тем чтобы отложить выступление. Письмо это продолжил Бакунин. Согласившись с Огаревым, что отсрочка восстания была бы спасительной, он, однако же, призвал русских офицеров быть готовыми и, когда «польские братья» восстанут, поддержать их. «И если вам суждено погибнуть, сама погибель ваша послужит общему делу. А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш и противность всем расчетам холодного рассудка неожиданно увенчаются и успехом?

Что же до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. Прощайте, и, может быть, до скорого свидания».[240]

Это стремление самому разделить участь сражающихся, оптимистические надежды на возможное торжество подвига над доводами холодного рассудка отличали позицию Бакунина, но далеко не всегда оправдывали его. Жертвовать своей жизнью волен каждый, но можно ли призывать к тому же других или просто обрекать их на подобные жертвы во имя эфемерной идеи скрепления союза кровью? А именно так ставил вопрос Бакунин. «Надежды на успех, на настоящий успех, признаюсь, во мне немного, — писал он в Париж польскому эмигранту Коссиловскому. — И знаете, о чем я молю? Чтобы в случае неудачи как можно более русских погибло в борьбе за польское дело, чтоб братство наше освятилось делом и кровью, и рад бы умереть вместе с ними… А бог знает., ну, да об этом еще говорить не станем».[241]

Подобная позиция Бакунина восхищала Ю. Стеклова. Он полагал, что готовность отдать свою жизнь, даже в деле, обреченном на поражение, выгодно отличала Бакунина от Герцена, не стремившегося лично на баррикады Варшавы.[242] Вопрос же о многих других жертвах не смущал биографа Бакунина. Нам же кажется, что правда в этом споре была на стороне Герцена, который прежде всего страшился ненужных жертв, а сам, вооруженный лишь силой слова и печатным станком, творил великое дело революционной пропаганды.

Тяжело переживал Герцен месяцы «затишья перед грозой», грустно проводил он Потебню, приехавшего, «чтобы спросить наше мнение и, каково бы оно ни было, пойти неизменно по своей дороге».

Подготовка восстания велась почти открыто. Готовилось к наступлению и правительство.

Объявив досрочный рекрутский набор в Польше, оно хотело изъять революционную молодежь. Все, кому угрожала рекрутчина, не могли более ждать. Толпы недовольных направились в Варшаву, рабочие и ремесленники польской столицы пришли в движение. Центральный польский комитет вынужден был перенести срок выступления.

В ночь с 22 на 23 января восстание началось. Повстанческие отряды совершили нападения на местные воинские команды как в Варшаве, так и в нескольких других пунктах. Такое начало не предвещало успеха в осуществлении задуманного плана — хотя бы частичного перехода русских войск на сторону повстанцев. В своем письме Центральному правительству польского восстания Бакунин со всей доступной ему мягкостью упрекал польских руководителей в том, что они «в последнюю минуту переменили

совершенно мысли» и, не доверяя организации русских офицеров, выступили первыми. «С нравственной точки зрения поляки были правы, ибо пока хоть один солдат находится на земле польской, если только он не союзник, друг, он вне закона. Следовательно, нет ничего естественнее, как напасть на него и убить, чтобы завладеть его оружием. Я думаю, впрочем, что Центральный комитет в Варшаве ошибся в расчете; он не приобрел много оружия таким способом, но сразу разрушил работу целого года».

Преувеличивая степень подготовленности русских солдат к союзу с поляками, Бакунин писал далее, что они были готовы, чтобы присоединиться к повстанцам. «Но когда последние, вместо того чтобы протянуть им руку, напали на них, чтобы силой их разоружить, т. е. перерезать их, тогда, по необходимости переменяя мысли, те же солдаты… стали вашими жестокими врагами».[243]

Ждать в этих условиях повторения подвига Потебни, который сражался на стороне поляков и был убит в бою, было бессмысленно.

Герцен в отчаянии вынужден был констатировать: «До сих пор ни одного русского солдата не перешло, ни один офицер не отказался от команды против поляков. Меня обдает ужасом — это хуже расстреливания… Хмелинский, прощаясь, мне сказал: „Потебня… да, Потебня превосходный человек — да кроме-то его кто?“»[244]

Однако как «Колокол», так и «Земля и Воля» продолжали пропаганду в войсках. Обращаясь к офицерам и солдатам русской армии, А. А. Слепцов от имени «Земли и Воли» в воззвании «Льется польская кровь, льется русская кровь» писал: «Близко время, когда народ русский просветится и пойхмет гнусную и своекорыстную политику современного русского правительства; тогда Россия проклянет всех участвовавших в пролитии польской крови, тогда дети будут стыдиться произносить имена отцов, помогавших насильственно закрепощать свободный народ… Вместо того чтобы позорить себя преступным избиением поляков, обратите меч свой на общего врага нашего; выйдите из Польши, возвративши ей похищенную свободу, идите к нам, в свое отечество, освобождать его от виновников всех народных бедствий — императорского правительства».[245]

Слепцов писал это воззвание в Варшаве, куда приехал в начале января 1863 года для переговоров с Центральным польским комитетом. Восстание началось при *кем*. Оттуда он направился в Лондон с тем, чтобы, по словам Герцена, предложить издателям «Колокола» роль агентов «Земли и Воли».

«— А много вас? — спросил я.

— Это трудно сказать… Несколько сот человек в Петербурге и тысячи три в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева. Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно. — Он прибавил: — *Ну нет теперь столько, так будет потом!* — и он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтобы поддержать слабые начинания; если бы они были крепки, они не нуждались бы в нас… — заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами, откровенно слабыми… желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость… — прибавил Бакунин».[246]

То, что не понравилось в предложении Слепцова Герцену, вполне подошло Бакунину. «Земля и Воля» стала для него тем конкретным, живым русским делом, к которому он всегда стремился. Приверженность его к конспирациям, явкам, шифру и прочим атрибутам тайной революционной деятельности нашла, казалось, полезное применение. Он принял на себя все поручения Слепцова и, так же как сын Герцена — Александр Александрович Герцен, стал агентом «Земли и Воли».

Главную же личную свою задачу с момента начала восстания видел он в том, чтобы пробраться в Польшу и стать в ряды сражающихся. Еще в октябре 1862 года он писал Цверцякевичу: «Как только Варшава поднимется, я, если доживу до того дня, непременно буду там. Если польский Национальный комитет окончательно выскажется за восстание, я буду более чем обязан поспешить к нему на помощь с партией моих русских».[247]

Никакой «партии русских», готовых следовать с Бакуниным из эмиграции в Польшу, конечно, не было, здесь свойственное Бакунину преувеличение, но, когда восстание началось, он стал считать возможным создание на месте, в Польше, русского легиона из пленных солдат и офицеров, сочувствующих полякам, который сражался бы под знаменем «Земли и Воли».

2 февраля он писал Центральному правительству польского восстания: «В этот торжественный час, когда решается участь наших двух стран, я заклинаю вас отвечать мне категорически и откровенно — имеете ли вы доверие к нам? Хотите ли вы, чтоб я пришел в Польшу? Желаете ли вы образование легиона русского?.. Вот что я вас прошу сказать мне с откровенностью, которая прилична людям, сражающимся за свободу».[248] Однако ни после этого, ни после предыдущих и последующих писем

Бакунина с аналогичными просьбами приглашения ехать в Польшу он не получил. Линия на крестьянское восстание, которую пропагандировал Бакунин, не имела успеха у представителей партии «белых» в «Национальном правительстве» в Варшаве. Вот поэтому он и не получал приглашения принять участие в движении.

Без решения же земельного вопроса восстание было обречено на поражение. Крестьяне в своей массе заняли выжидательную позицию. Они поддерживали повстанцев лишь в тех районах, где действовали отряды В. Врублевского, А. Трусова и других революционеров. В целом же успехи восставших были невелики и временны. Уже осенью 1863 года началась агония восстания. Но в начале года, в феврале, Бакунин был еще полон веры в возможность поднять, а если удастся, и возглавить именно крестьянское движение.

Не дождавшись ответа из Варшавы, он решил сам пуститься в путь, с тем чтобы в Копенгаген навстречу ему выехал кто-либо из представителей польского правительства для окончательного решения вопроса о формах его участия в восстании.

21 февраля 1863 года, простившись с друзьями, с которыми он мог более и не встретиться, Бакунин выехал из Лондона. Помимо главной цели — проникнуть в Польшу, он имел еще и другие поручения, задания. Нужно было наладить транспорт изданий «Вольной русской типографии» через Скандинавские страны, нужно было установить связи в Швеции и Финляндии, позондировать почву в отношении возможной шведской помощи восставшим полякам и, наконец, нужно было просто быть ближе к месту событий. Копенгаген он счел именно этим удобным и близким местом и здесь хотел дождаться польского эмиссара для решения дальнейших дел.

Из Киля 24 февраля он сообщал, что будет ждать не более трех дней, так как время дорого, «но прежде чем ехать, надо переговорить и согласиться толком и знать, именно куда и к кому и через наших людей, через наши промежуточные станции ехать». [249] Далее он просил передать Цверцякевичу, чтобы прислали «дельного поляка», потому что, если пришлют «дурака или полудурака, то с ним не столкуешься».

В Стокгольм, куда надо было попасть по другим делам и куда в качестве представителя «Колокола» и «Земли и Воли» должен был выехать А. А. Герцен, Бакунин ехать не хотел до выяснения польских возможностей. «Теперь мне не хочется в Стокгольм, — писал он Герцену и Огареву, — время дорого, а Стокгольм слишком удален от сцены. Но если в продолжение трех, ну, скажем, четырех-пяти дней… если до 29-го не получу ответа и

ничего не увижу и не услышу в Копенгагене, — тогда скрепя сердце уеду в Стокгольм».[250]

Ответа не было, и Бакунин направился в Стокгольм. Планы его в отношении Швеции и Финляндии не ограничивались теми конкретными заданиями, которые имел он от своих друзей и представителя «Земли и Воли».

Еще собираясь в Швецию, он писал одному из деятелей польского движения, А. Гутри, о том, что деятельность его там будет направлена к возбуждению финского движения, «которого желали не только мы, но и наши друзья в Петербурге». Однако между пробуждением к поддержкой финского национально-освободительного движения и прямым участием Швеции в финском движении была разница. Первое поддерживали Герцен и Огарев, второе — было делом Бакунина. «Если мне только удастся побудить славолюбивых шведских патриотов начать восстание в Финляндии, то я буду очень доволен и счастлив. Подобная диверсия имела бы громадное влияние на русское правительство, на Европу и даже на самую Россию»,[251] — писал он в том же письме к Гутри.

Восстание в Финляндии в случае его успеха обеспечило бы национальную независимость финнов и помогло бы делу освобождения Польши, так полагал Бакунин. Кроме того, в шведском обществе высказывались мысли и о прямой поддержке поляков.

Расчеты Бакунина не были совсем лишены основания. Финляндия в течение столетий составляла часть Швеции. И хотя после войны 1807–1808 годов она была присоединена к России, шведское законодательство в ней было сохранено. В незначительной части финского общества, главным образом в кругах финской эмиграции в Стокгольме, сохранились симпатии к Швеции.

Шведское правительство, естественно, проявляло постоянный интерес к Финляндии. Случилось так, что революционные интересы Бакунина переплелись здесь с политическими интригами шведских правящих кругов. В подобном сочетании ничего хорошего быть не могло. Агитация Бакунина невольно содействовала лишь росту тех тенденций, которые стремились к возврату Финляндии под протекторат Швеции. В самой же Финляндии в это время все более развивалось движение за развитие национального языка и культуры, за полное самоопределение и полную независимость.

Что касается расчетов Бакунина на поддержку Швецией восставшей Польши, то и здесь были некоторые основания. Помощь какой-либо европейской державы могла создать полякам

определенный шанс на успех. Но Бисмарк в это время поддерживал Россию. Франция и Англия ограничились лишь официальным протестом против репрессий русских войск в Польше; в Швеции же была развернута широкая кампания за поддержку Польши. Однако на серьезные акции шведы не пошли. По мнению III отделения, пристально и с большим беспокойством следившего за всеми событиями в Швеции, помешали этому «осторожность министерства и письма гамбургских банкиров, угрожающих шведскому правительству, в случае поддержки польского восстания, упадком кредита и невозможностью нового займа».[252]

Шведский министр иностранных дел граф Мандерстрем действительно вел политику весьма осторожную. Появление в столице Швеции Бакунина, шум, поднятый общественностью вокруг этой фигуры и его радикальных и агитационных выступлений, вскоре стали предметом беспокойства графа Мандерстрема, не желавшего портить отношений с русским правительством.

Имя канадского профессора Анри Суле, под которым Бакунин прибыл в Стокгольм, недолго скрывало его. Шведские демократы восторженно приветствовали известного революционера. Начались приемы и банкеты в его честь. Даже несколько поэтов посвятили ему стихи. Его легендарная биография, его борьба за свободу Польши да и большие симпатии к восставшим полякам — все это обеспечивало ему успех. Сам король Карл XV счел нужным принять Бакунина, что же касается Мандерстрема, то он, ничем внешне как будто не выражая своего неудовольствия по поводу всего этого шума, повел тайные интриги против столь неудобной фигуры. Связавшись с III отделением, он получил оттуда биографию Бакунина, написанную анонимно с использованием «Исповеди» и письма его к Александру II. Расчет был прост и верен. Появись такая брошюра в шведской прессе, она, бесспорно, скомпрометировала бы Бакунина в глазах демократической общественности. Но пока брошюра эта создавалась,[253] Мандерстрем, не теряя времени, выступил на страницах газеты также с анонимной, но более краткой биографией Бакунина, написанной еще без употребления компрометирующих его документов. Эта биографическая справка преследовала цель познакомить шведское общество с той опасностью, которая заключается в самой фигуре «международного революционера», везде сеявшего семена бунта и «революционных интриг».

Тогда, чтобы опровергнуть ложные утверждения о себе, содержащиеся в статье, и вместе с тем объяснить свои цели и

планы, Бакунин вынужден был выступить с опровержением, вылившимся в серию статей, три из которых были опубликованы газетой «Афтонбладет», издаваемой шведским демократом А. Сульманом. Бакунин писал о том, как автор его биографии хотел запугать шведскую общественность, «выставляя меня чем-то вроде Герострата и революционного каннибала, мечтающего лишь о поджогах и кровопролитии. И однако ж, я никогда никого не убивал и не приговаривал к смерти, никогда я не позволил кнуту служить цивилизации народа, никогда не сокрушал целых народностей, никогда не сжигал городов и деревень… Никогда я не служил также в качестве палача или жандарма con amore или как шпион деспотического правительства… Я вызываю моих противников сказать то же самое о себе.

В моей прошлой жизни нет поступка, за который мне пришлось бы краснеть. В 1848 и 1849 гг., как и сегодня, я имел одну веру — человечество, одну цель — победу свободы. Я знал, что все народы солидарны в свободе, как и в рабстве, и, когда я боролся за свободу Запада, я был уверен, что тем самым борюсь за русскую свободу».

Далее Бакунин излагал свои взгляды на возможность общинного развития своей родины: «Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновенности три принципа, которые послужат ему исторической основой будущего развития. Первым является общераспространенное в народе убеждение, что вся земля принадлежит ему. Второй принцип — уважение к общине, организации, которую два века рабства не могли совершенно уничтожить и которую русский народ сохранил в виде обычая… Наконец третий принцип, источник всей нашей будущей свободы — самоуправление общины.

Эти три принципа в их наиболее широком значении содержат в зародыше всю будущность России. Их развитие должно иметь своим первым следствием соединение общин в округа, затем округов — в области, наконец областей — в государство».[254]

Место это в статье Бакунина знаменательно. Подняв в 1848 году первым среди русских революционеров знамя общины как социалистического института народной жизни, Бакунин продолжал держать его и в 1863 году. Причем мне кажется возможным предположить, что за период совместной работы с Герценом — главным теоретиком русского общинного социализма — произошло дальнейшее утверждение общинных иллюзий Бакунина. Однако вскоре, как увидим далее, иллюзиям этим придет конец, и община станет еще одним пунктом разногласий между старыми товарищами.

Но в то время Бакунин, продолжая настаивать на

спасительной силе общины, именно этот принцип организации общества изложил в своих статьях, адресованных шведскому читателю.

Пока Бакунин в Швеции налаживал политические контакты и «открывал, по словам Герцена, пути в „Землю и Волю“ через Финляндию», в Англии формировалась так называемая экспедиция Лапинского.

Экспедиция была организована польскими эмигрантами Парижа и Лондона, с тем чтобы, высадившись на балтийском побережье, доставить оружие восставшим крестьянам Литвы и, усилив их борьбу польским десантом, отвлечь часть русских войск из Польши. Лондонский представитель польского повстанческого правительства И. Цверцякевич зафрахтовал британский пароход «Ward Jackson», нашел и военного руководителя экспедиции — полковника Теофила Лапинского, долгие годы сражавшегося в рядах горцев в их борьбе против русских войск на Кавказе. «Лапинский храбрый, ловкий, смышленый, но бессовестный или по крайней мере широкосовестный кондотьер, патриот в смысле непримиримой и непобедимой ненависти к русским, как военный по ремеслу ненавидящий всякий, даже свой собственный народ»[255] — так характеризовал его Бакунин.

Комиссаром при столь неподходящем руководителе был назначен И. Демонтович. Бакунин должен был присоединиться к экспедиции по пути ее следования. Однако заранее он не был предупрежден и вообще, находясь в Стокгольме, ничего не знал о подготовке этой акции.

Вся организация проходила вне элементарной конспирации. Сам Лапинский и особенно его адъютант Поллес (Тугедгольд) не внушали никакого доверия. В результате русское посольство знало о предполагаемой экспедиции еще задолго до отправки парохода. А когда 22 марта «Ward Jackson», имея на борту 200 повстанцев, отошел от берегов Англии, за ним последовало русское судно «Алмаз».

В тот же день Бакунин получил телеграмму от Цверцякевича с предложением присоединиться к экспедиции в Гельсинборге.

Выехав из Стокгольма, он только через пять дней добрался в дилижансе до назначенного пункта, где его уже ждали целые сутки. По словам Демонтовича, все участники экспедиции с восторгом встретили этого «беззаветного защитника свободы», каждый сердечно жал ему руку и «был рад слушать его горячую речь, полную жизни и энергии». Во все последующие дни этой недолгой и неудачной экспедиции Бакунин должен был играть роль народного представителя. Лапинский в своих

воспоминаниях рассказывал, что он просил его «в случае надобности при каких-либо народных овациях отвечать на все приветствия и речи, так как лучше его и громогласнее никто сделать этого не может».[256]

Присоединившись к экспедиции, Бакунин быстро понял, что, кроме Демонтовича, на корабле нет для него искренних союзников. «Молодцами были только юноши — поляки, весело шедшие на смерть и преданные без фраз. С ними и умереть было бы нескучно».[257] Но преданы эти юноши были идее польской свободы. За нее они и шли умирать. Судьбы же крестьянского восстания в России, как и вся идея русско-польского революционного союза, доступная лишь немногим, не волновали рядовых участников экспедиции. Черты же крайнего национализма, свойственные Лапинскому, заставили Бакунина вообще крепко задуматься над проблемой «нашего русского предприятия в польской среде. Для успеха его было необходимо так много симпатии к нему и веры в него со стороны поляков, но ни того, ни другого, кроме Демонтовича, ни в ком не было».[258]

Приняв на борт Бакунина, пароход должен был следовать к Паланге, где предполагалась высадка десанта, который должен был соединиться с отрядами З. Сераковского, выступившими в этом направлении. Однако силы повстанцев в это время были разбиты, а сам Сераковский, тяжело раненный, взят в плен. Правительственные же войска готовили экспедиции соответствующий прием. Получив из Лондона сообщение об этих событиях, руководители экспедиции решили плыть к Готланду, с тем чтобы там послать на разведку две рыбацкие лодки, которые могли бы выяснить место и возможность высадки. Однако капитан, понимая опасность положения, принял свой план действия. Под дулом револьвера он согласился будто бы исполнить требования своих беспокойных пассажиров, но на самом деле направил пароход в Копенгаген, где вместе с частью команды покинул экспедицию.

Новый капитан смог довести пароход лишь до шведского порта Мальме. Здесь шведское правительство задержало пароход. Пассажиры, и в том числе Бакунин, вынуждены были сойти на берег.

31 марта Бакунин писал Герцену и Огареву: «Телеграммы наши уже известили вас о печальной неудаче экспедиции, великолепно задуманной, но из рук вон плохо исполненной, а главное — слишком поздно отправленной. Успех ее был возможен только при соблюдении двух условий: быстроты и тайны. Ее проволочили непростительным образом до 21-го и, вызвав польских эмигрантов из Парижа в Лондон 14-го, прежде чем

наняли пароход, убили тайну. Наконец, главным условием был выбор хорошего, смелого капитана, от честной решимости которого зависит весь успех дела. Заместо этого выбрали отъявленного труса и подлеца и тем убили всякую возможность успеха».[259]

Провал экспедиции, по мнению Огарева, повлиял на характер движения в Литве. «Я считаю, — писал он, — большим несчастьем задержку корабля, ибо Д[емонтович] и Б[акунин], более чем кто другой, могли повернуть вопрос национальный на вопрос крестьянский».[260]

Бакунин и Демонтович выехали в Стокгольм. Остальные участники экспедиции оставались в Мальме два месяца, пока Лапинский не предпринял еще одной попытки добраться до берегов Литвы.

4 июня, не объявив о цели путешествия, Лапинский погрузил свой отряд на пароход, который будто бы направлялся в Лондон. Спустя некоторое время пароход бросил якорь в виду Копенгагена, где присоединившийся к отряду Демонтович объявил о намерении командования сделать последнее усилие — опасную высадку на перешеек Куриш-Гаф. Слова его были встречены восторженными криками. Ночью к пароходу подошла шхуна «Эмилия», нагруженная оружием и боеприпасами, на которую и перешли участники экспедиции. Обманув таким образом возможных преследователей, шхуна взяла курс в сторону Пруссии. 11 июня поздним вечером экспедиция достигла места предполагаемой высадки. Море было бурным, а шлюпка, в которую погрузились 32 человека, неисправной. Вода быстро заполнила ее; перевернулась и другая шлюпка. Лишь восемь человек, продержавшись два часа на воде, были подобраны лодкой, посланной им на помощь со шхуны. 24 человека погибли. Так трагически кончилась эта последняя попытка эмигрантов-поляков принять участие в борьбе за освобождение родины.

Бакунин тем временем, находясь в Стокгольме, все больше терял надежду на возможность прямого участия в борьбе Польши. Да и отношение польских руководителей давало мало поводов ждать ему теперь приглашения из Варшавы.

С тем большей энергией развернул он деятельность среди шведских и финских демократов.

В мае в Стокгольм, наконец, приехала Антонина Ксаверьевна, которую так долго и безуспешно ждал Бакунин до этого в Лондоне. Поселились они на окраине города, где сняли две комнаты на даче, находящейся в королевском парке. Молодая и привлекательная женщина, сопровождавшая теперь этого маститого революционера, немало способствовала его успеху в

шведском обществе. Да и вообще пара эта была весьма колоритна. Помимо роста, сложения, громкого голоса и подкупающей непосредственности в обращении, окружающих поражала своеобразная и осмысленная красота лица Бакунина. Именно эта ярко выраженная печать интеллектуализма сглаживала, казалось, значительную разницу лет с его юной супругой. «В отношениях Бакунина к Антосе, — пишет по этому поводу Л. И. Мечников, — не было и тени ничего селадонского, слащавого. К тому же он обладал физиономией, прекрасно поясняющей известные стихи Пушкина о Мазепе и его крестнице».[261]

Небольшого роста, несколько суховатая, с короткими завитыми волосами, Антося по временам казалась очаровательной девочкой, а чаще, по словам того же Мечникова, смахивала на мальчика. Молодость, внешние данные и польское происхождение Антонины Ксаверьевны неизменно вызывали успех и симпатии в шведских гостиных.

Однако с самого начала совместной жизни Бакуниных за границей еще более проявилась вся духовная бесперспективность этого брака. Антося не увидела и не поняла сразу, как не понимала и потом, значения и смысла огромной, всепоглощающей деятельности мужа. Ее интересы навсегда замкнулись в кругу вопросов быта, несложных развлечений, семьи. Вот что писала она о стокгольмской жизни Татьяне Бакуниной: «Мы живем не богато, но и не бедно, — в середине королевского парка. Подле нас живет предоброе и премилое семейство… С дочерьми я хожу купаться и выучилась плавать — да не на шутку… Вчера ходила с Мишелем искать грибы и нашли даже два белых. Наконец изредка бываю в опере. Иногда Мишель читает и таким образом проходят наши дни».[262]

Казалось бы, сплошная идиллия, но в действительности жизнь для Михаила Александровича была совсем иной. Поистине бешеная деятельность: пропаганда всегда и везде, а здесь, в Стокгольме, после неудачи проникновения в Польшу прежде всего установление связей с Россией через Швецию и Финляндию.

Еще накануне его отъезда из Лондона польский деятель З. Йордан направил письмо лидеру финской эмиграции в Швеции Эмилю Квантену, в котором под именем Магнуса Беринга рекомендовал Бакунина и просил оказывать ему всяческую помощь и поддержку. Э. Квантен был человеком весьма влиятельным. Он занимал должность вице-библиотекаря Королевской библиотеки, был членом шведского риксдага. Ведя борьбу против владычества России в Финляндии, он пропагандировал идею независимости своей родины в союзе с дружественной Швецией. Его публицистические работы,

изданные в Стокгольме, провозились через тайные каналы в Финляндию, где широко распространялись среди финской общественности. Таким образом, именно Квантен мог помочь русским революционерам в налаживании связи с Россией через Финляндию.

В первый месяц пребывания Бакунина в Стокгольме Квантен ввел его в круг местной демократии, помог наладить ряд практических связей. 24 марта, уезжая из Стокгольма без надежды вернуться обратно, Бакунин в письме к А. А. Герцену передал ему свои связи, рекомендуя Квантена и А. Норденшельда как финских патриотов, заслуживающих безусловного доверия. «Они хотят освободиться от нас и стать независимыми, мы же будем ближе к нашей собственной свободе, если они благодаря собственному немедленному действию освободятся от нас, — наше стремление к самоосвобождению должно и будет объединять нас… Я заключил с ними от моего имени и от имени всей партии союз на жизнь и на смерть, простой принцип которого есть свобода и абсолютно свободные самоопределения. И пусть твой отец напишет Квантену и Норденшельду письмо по-французски и ратифицирует наш союз и нашу личную дружбу». [263]

А. А. Герцен, считал Бакунин, должен был заняться прежде всего установлением связей между финскими организациями, Лондоном и Петербургом. «Петербург и Лендон предоставляют Финляндии всю возможную помощь печатью или делами. Со своей стороны, Финляндия окажет нам неоценимую помощь во всем, что касается русской программы и тайной корреспонденции с Петербургом и остальной Россией». [264]

28 марта, уже из Гельсинборга, Бакунин послал Квантену записку и новое письмо для передачи А. А. Герцену с рядом конспиративных поручений и, в частности, сообщил адрес для связи с Петербургом и вызова оттуда представителя в Стокгольм. В свою очередь, провожая младшего Герцена в Швецию, Огарев разработал для него инструкцию, согласно которой он должен был работать там над тремя вопросами: «1) учреждение склада и постоянных сношений, 2) присоединение финского общества к русскому, 3) литовское дело». [265]

Вернувшись после неудачной экспедиции, Бакунин направил в Петербург эмиссара-финна для связи с «Землей и Волей». В то же время он предлагает финнам объединиться в тайное общество, «создать центральный комитет из пяти, семи или даже десяти лиц, служащий центром всей финской конспирации».

Но финское и шведское общество не главное для Бакунина в этот момент. Основное — это «Земля и Воля», связи с ней, работа

для нее. А связей-то, по существу, и нет. Слепцов, уполномочив Бакунина выступать от лица организации и пообещав прислать в Стокгольм доверенного человека, сам, заболев, из Европы в Петербург не вернулся. В Петербурге же начались аресты. Оставшимся там членам Центрального комитета было не до Бакунина. Письма, которые удавалось ему переправить в Петербург, остались без ответа, но он продолжал предлагать свое деятельное участие в делах общества. 9 июля он писал в Швейцарию представителю «Земли и Воли»: «Если вы хотите иметь со мной дело и если полагаете, что мое участие в общих трудах может принести пользу, то, прошу вас, отвечайте. Я так же, как и лондонские друзья мои, с радостью признал С.-Петербург[ский] комитет и готов следовать его руководству; только для этого мне надо знать и положение ваших дел и ваше настоящее направление. И потому, ради бога, пишите и дайте адрес. Неужели ж, имея на то все средства, мы не сумеем устроить между собой правильных и постоянных сношений?.. Ради бога, скажите, что у Вас делается, что за границей делать прикажете, и дайте ж с Вами соединиться теснее и ближе. Мы здесь можем быть полезны только в той степени, в какой мы в связи с вами — и потому пишите, пишите и дайте адресов». [266]

Стараясь быть полезным «Земле и Воле», Бакунин стал пропагандировать ее и среди шведского общества. Причем согласно своим убеждениям он не видел греха в том, чтобы преувеличить роль и значение этой организации. Так, выступая на банкете, устроенном в его честь, он заявил: «За последнее время в России образовалось великое патриотическое общество, одновременно консервативное, либеральное и демократическое, под названием „Земля и Воля“. Центр его находится в Петербурге, а ответвления распространяются по всем областям Великороссии. Все благомыслящие русские, независимо от своего состояния и положения, генералы и офицеры, гражданские чиновники всякого ранга, помещики, священники и крестьяне, принимают в нем участие… Цель, к которой стремится это общество, имеет вполне гуманный и консервативный характер, а именно — спасти Россию от безумств императорского царствования и довести до конца великую политическую и социальную революцию… Программа его весьма проста:

1. Она хочет передать землю крестьянам без выкупа…

2. Принимая общину за исходный пункт, превратить чисто немецкую бюрократическую администрацию в национально-выборную систему и заменить насильственную централизацию империи федерацией независимых и свободных провинций.

3. Отменить рекрутчину и вместо постоянной армии ввести

милицию…

4. Для осуществления всех тех идей, которые я сейчас, господа, перед вами развил… оно громогласно требует созыва Земского собора…

5. Таково, господа, общество, к которому я имею честь принадлежать и которое здесь представляю».[267]

Это выступление Бакунина вызвало резкое недовольство его лондонских друзей.

«Твое хвастовство об общ. „З. и В.“ не принесло ему пользы, — писал Огарев, — этот обычай — нам не расчет. Ведь твоим словам никто не поверил. Выходит только, что люди, которые и присоединились бы, видя, что общ. твоими устами говорит небывалые вещи, уклонятся от общества».[268] Но не только «хвастовство», но и вся позиция Бакунина не устраивала Герцена и Огарева. Этот неутомимый революционер слишком спешил, хотел, «чтобы все было сейчас поскорее». А ситуация тем временем менялась. Бакунин же, казалось, не замечал этого.

1863 год не оправдал надежд русских революционеров. Восстания крестьян не произошло. На демократическую интеллигенцию обрушился град репрессий. Надежд на успех польского восстания не было никаких. В этих условиях нужна была иная тактика. А. И. Герцен так определил ее: «Нам остается, таким образом, подготовительная работа, поиски путей, связей, постоянного обмена мыслями и взглядами».[269] Эта тактика была не для Бакунина. Линия разногласий с лондонскими друзьями лишь обострилась и углубилась за время его пребывания в Швеции, Определенную роль здесь сыграла и его ссора с А. А. Герценом.

Молодой человек, получивший конспиративные поручения от Слепцова и рекомендательные письма от своего отца, приехал в Стокгольм, так как предполагалось, что пребывание Бакунина там не будет долгим и нужно будет продолжить дело, начатое им. Отсутствие опыта и должного такта, с одной стороны, и желание быть первым представителем «Земли и Воли» — с другой — привели его к столкновению с Бакуниным. «Ваш спор о том, кто из вас законный chargй d'affaires (уполномоченный. — *Н. П.*) „З[емли] и В[оли]“, комичен до высшей степени. Что молодой человек мог найти приятным представлять начинающий круг молодых людей — я понимаю. Но что ты тоже будто не прочь иметь помазанье с Невы, когда ты его имеешь из Петропавловской крепости и Сибири, — это я не понимаю»,[270] — писал А. И. Герцен по поводу этого конфликта.

Герцен не понимал, что «помазанье с Невы» было для Бакунина не вопросом честолюбия, а живым революционным

делом, в которое он поверил и в которое готов был уйти целиком, вплоть до грозившей ему смертью поездки в Россию. Но все его надежды были тщетны.

Не связавшись с Центральным комитетом «Земли и Воли», не получив возможности попасть в Польшу, он решил покинуть Швецию. Еще в июле он писал представителю «Земли и Воли» о том, что остается в Стокгольме в ожидании ответа и что, если это будет нужно и полезно, готов ехать прямо в Россию. «Но если это окажется невозможным и если я не получу от Комитета специального поручения, то я в конце сентября выеду в Лондон».

Пребывание Бакунина в Швеции доставляло много хлопот российскому послу в Стокгольме Дашкову. Поэтому, когда этот опасный человек покинул столицу Швеции, Дашков 8 октября 1863 года с облегчением доносил министру иностранных дел князю Горчакову: «С радостью могу сообщить вашему сиятельству, что неделю тому назад Бакунин, наконец, уехал в Готенбург и Лондон, откуда он намеревается отправиться в Италию… Несмотря на восторги, вызванные в свое время его приездом, отъезд его прошел почти незамеченным».[271]

ГЛАВА VI
КОНЦЫ И НАЧАЛА

Дело идет не о том, чтобы уменьшать свободу, необходимо, напротив, все время ее увеличивать, т. к. чем больше свободы у всех людей, составляющих общество, тем больше это общество приобретает человеческую сущность.

М. А. Бакунин

Выехав в октябре 1863 года из Стокгольма и, недолго пробыв в Лондоне, Бакунин с женой через Брюссель, Париж, Женеву направились в Италию. Путешествие было довольно длительным, так как они останавливались во многих городах, встречались со старыми друзьями.

Париж поразил Антонину Ксаверьевну. Она хотела посмотреть и музеи, и соборы, и театры, и зоологический сад. Все приводило ее в восхищение. «Не смейся, пожалуйста, над моей пустой жизнью, — писала она с дороги Н. С. Бакуниной, — ведь это только на первую пору, и мне, как сибирячке, ничего не знавшей и не видевшей, более другой простительно».[272]

Из Парижа Бакунины поехали в Лозанну, где произошла любопытная встреча с Н. Н. Муравьевым-Амурским. «Мы проговорили целую ночь, — писал Бакунин, — мне было невыразимо грустно слушать этого человека, на которого я когда-то надеялся. Да, он тогда клонился к федерализму, теперь он централизатор, поэтому поклонник Муравьева Вешателя и Каткова. В такие минуты, при очень щекотливых объяснениях, ему было совестно смотреть мне прямо в глаза. Мы расстались не то чтобы грубо, но с окончательным выражением разрыва».[273]

Задержавшись еще в Швейцарии для встречи с семьей Фохтов, Бакунины, наконец, в первых числах января 1864 года добрались до Генуи. Здесь так же, как затем в Турине, Бакунин неудачно пытался наладить транспорт «Колокола» через итальянских купцов, ведущих постоянные торговые дела с Константинополем и Одессой. Подобный путь из другого итальянского города, Ливорно, уже был проложен до него Л. И. Мечниковым, но затруднение было в том, что в Одессе не находились надежные адреса. Советуя в связи с этим Герцену и

Огареву потребовать от «Земли и Воли» верного человека в Одессе, Бакунин тут же выражал сомнение в существовании самой организации. Еще недавно он, безусловно, был уверен в силах и возможностях этой партии, но теперь после стольких неудачных попыток связаться с ней настроен был весьма скептически. «Еще раз спрашиваю, Огарев, продолжаешь ли ты верить в действительность „З. и В.“, которой, если она существует, право, пора выскорлупиться. Получил ли ты, наконец, какие-нибудь новые доказательства существования и действительности общества? Если оно действует, что оно делает и к какой ближайшей цели стремится? Какая теперь у него и у вас практическая программа?»[274]

Вопросы эти так и остались без ответа. Надежды на восстание в России несколько поостыли. Но вера в польское дело не прошла. Именно польским интересам хотел служить Бакунин в Италии. Уезжал он из Швеции не потому, что считал дело поляков проигранным, а лишь потому, что, находясь там, не мог быть более полезным польскому, русскому и вообще славянскому делу.

В Италию Бакунин стал стремиться вскоре после первого приезда в Лондон. Еще летом 1862 года он сообщал Н. С. Бакуниной, что отправится туда, лишь только к нему приедет жена, для того чтобы «связывать итальянцев со славянами». План соединения этих народов в борьбе за свободу излагал он и в письме Гарибальди, с которым столь неудачно был отправлен Ничипоренко.

Теперь, приехав в Италию сам и собираясь практически работать над соединением двух движений, он верил в то, что польское дело должно воскреснуть, но под другим — крестьянским знаменем. 12 апреля 1864 года уже из Флоренции он писал С. Тхоржевскому:[275] «Первый и, без сомнения, самый горестный акт польской революционной трагедии, кажется, пришел к окончанию. Но… польская революция не только что не окончилась, но, по моему глубокому убеждению, только что начинается. Кончился только кровавый пролог под названием „героическое падение польской шляхетской демократии“. Началось польское хлопское дело, которого русское правительство никогда не будет в состоянии ни умиротворить, ни удовлетворить».[276]

Об этом же писал Бакунин Герцену и Огареву, Демонтовичу и графине Е. В. Салиас. Реальных оснований для подобных надежд у него не было никаких, но уверенность Бакунина базировалась не на реальных фактах, а на убеждении в ближайшей неизбежности именно народной революции. Движение, направленное к социальной народной революции, увидел

Бакунин и в Италии. Приспособление действительности к своей теории, своей вере вообще было свойственно ему. Сложной же итальянской действительности начала 60-х годов он не знал.

Каково же было положение в этой стране? Долгая борьба за объединение Италии привела в 1861 году к созданию государства. Но это была не демократическая республика, за которую так упорно и самоотверженно боролись, хотя и разными способами, Мадзини и Гарибальди. Буржуазная монархия во главе с королем Виктором-Эммануилом — таков был итог этой длительной борьбы. Да и не вся еще Италия была объединена в этом государстве. Лациум и Рим принадлежали папе, Австрия удерживала свое господство над Венецией.

Тогда Гарибальди снова бросился в бой. С лозунгом «Рим или смерть» он повел свои войска в сражение. Виктор-Эммануил, получивший власть из рук Гарибальди, теперь объявил его мятежником. В бою у горы Аспромонте (1862) Гарибальди был тяжело ранен, а войска его разбиты.

Положение в стране в целом оставалось зыбким, неустойчивым. Борьба за полное национальное освобождение не прекращалась. Она сочеталась со сложным процессом классовой борьбы. Задачи буржуазной революции не были еще, по существу, решены. Крупное помещичье землевладение на юге страны и в папской области, полуфеодальная испольщина в центральной Италии тормозили развитие капитализма. Разорение мелких предпринимателей и торговцев в городах, мелких земельных собственников в деревне вело к полному обнищанию массы населения, не находившего себе применения в промышленности.

Этот процесс был характерен главным образом для юга, но и на севере страны, где промышленность была сравнительно развита, дело обстояло далеко не благополучно.

Итальянские рабочие были, по существу, полуремесленниками. Наряду с фабриками в стране имелась и мануфактура. Часть пролетариата составляли сельскохозяйственные рабочие. Тяжелое материальное положение трудящихся сочеталось с полным политическим бесправием.

Рабочие объединения были запрещены конституцией. Непрестанно вспыхивающие стихийные выступления рабочих и крестьян жестоко подавлялись. Все это вызывало глубокую враждебность к государству, в котором народ видел «только жандарма, сборщика налогов, офицера, забирающего рекрутов». [277]

Сложное экономическое и политическое положение Италии требовало прежде всего завершения задач буржуазной революции, завершения полного объединения страны.

В этих условиях постановка вопроса об объединении итальянского и славянского освободительных движений была чистой утопией, вчерашним днем движения. Однако именно с этой целью отправился Бакунин к Гарибальди в первый же месяц пребывания в Италии.

Гарибальди — этот легендарный герой, который, по словам С. Степняка-Кравчинского, «наполнял громом своего имени два полушария»,[278] был не только человеком высокого героизма, благородства и самоотверженности. В той же мере свойствен ему был и подлинный общечеловеческий гуманизм. Вот как сформулировал он свое кредо в предисловии к изданию своих мемуаров в 1872 году: «Я прожил бурную жизнь, в которой было и хорошее и плохое, как, наверное, у большинства людей. Я всегда стремился к добру — для себя и себе подобных; если же мне случалось совершить нечто дурное, то это было сделано, конечно, не намеренно. Я ненавижу тиранию и ложь и глубоко убежден, что в них источник всех зол и испорченности рода человеческого».[279]

Вынужденный всю жизнь воевать и именно воинской доблестью в борьбе за свободу стяжавший мировую славу, он ненавидел войну. «Правда, — писал он, — я должен был выступать в роли солдата потому, что родился в рабской стране, но я всегда делал это с внутренним отвращением».[280]

После последнего ранения Гарибальди жил, окруженный небольшой группой своих приверженцев, на острове Капрера в низком белом каменном доме. Несмотря на не зажившую еще рану, он много работал в саду, ухаживал за домашними животными.

Быт на Капрере был крайне прост, места для жилья немного, а поток посетителей, редко по делу, чаще просто любознательных туристов, не прекращался ни на день. Из последней категории более всего посетителей было из Англии. Они стремились поглядеть на легендарного героя, увезти сувенир. Для этой цели нередко употреблялся платок Гарибальди, носимый им на шее. Разорванный на части, он мог удовлетворить стремление сразу нескольких восторженных почитательниц.

Отправляясь вместе с женой на Капреру, Бакунин оказался в обществе «одного юного и долговязого англичанина и трех англичанок, из которых две порядочные и красивые, одна урод. Эта пожилая англичанка-урод — очень богатая и экзальтированная дама, по уши влюбленная в Гарибальди и… пьющая… вследствие чего у нее нос очень красен» — так описал Михаил Александрович своих спутниц в письме к Е. Салиас.

Гарибальди встретил гостей дружески и приветливо. Бакунин

передал ему письмо из Лондона. «Я вам рекомендую нашего Бакунина, имя которого составляет гордость демократии всего мира»,[281] — писал Мадзини.

Три дня провели Бакунины на острове. Михаила Александровича поразила как доброта и глубокая человечность самого Гарибальди, так и чрезвычайная простота и внутренняя красота отношений, царивших среди людей на Капрере. «Собственности здесь не знают: все принадлежит всем. Туалетов также не знают: все ходят в куртках из толстого сукна, с открытыми шеями, с красными рубахами и голыми руками; все черны от солнца, все дружно работают, и все поют, — рассказывал он графине Салиас. — Посреди них Гарибальди, величественный, спокойный, кротко улыбающийся, один вымытый и один белый в этой черной и, пожалуй, несколько неряшливой толпе и с глубокою, хотя и ясною меланхолиею во всем выражении, производит невыразимо ясное впечатление».

Рассказывая далее о бесконечной доброте Гарибальди, Бакунин пишет, что она простирается не только на людей, но и на все живое: животных, цветы, деревья. «Он любит своих двух волов, своих коров, своих телят, своих баранов, — писал потом Бакунин, — и все его знают, и лишь только он появится, все тянутся к нему, и каждого он погладит и каждому скажет доброе слово». Что же касается его глубокой, затаенной грусти, то такова, «должно быть, была грусть Христа, когда он сказал: „Жатва зрела, а жателей мало“. Такова грусть нашего созревшего человека, всю жизнь посвятившего освобождению и очеловечению человечества. Так-то, но даже самые великие и самые счастливые люди не достигают своей цели. А все-таки надо стремиться и тянуть мир за собой вперед».[282] Грусть Гарибальди, как видно, была понятна Бакунину, но у него с избытком еще хватало веры в свои идеи, свои силы, в то, что он один из тех, кто может и должен «тянуть мир за собой вперед». Был ли этот путь действительно «вперед»? В какой-то мере — да. Ведь разрушение старого мира — неизбежный этап строительства нового. Негативная же программа его, приобретавшая в эту пору конкретные черты, была направлена именно на это. «Пусть друзья мои строят, я жажду только разрушения, потому что убежден, что строить в мертвечине гнилыми материалами — труд потерянный и что только из великого разрушения могут возникнуть новые живые материалы, а с ними и новые организмы… Наш век во всех отношениях переходный, несчастный век, и мы, отвязавшиеся от старого и не примкнувшие к новому, — несчастные люди. Будем же нести свое несчастье с достоинством, жалобы нам не помогут и будем разрушать, сколько можем».[283] Слова эти, написанные в

начале 1864 года, говорят об определенной продуманности, сознательности, направленности. Это не беспочвенный призыв к разрушению, а добровольно взятый на себя тяжелый труд во имя создания новых форм жизни.

В беседах с Гарибальди Бакунин не затрагивал, однако, этих проблем. Его деловые цели здесь были конкретней и проще: наладить союз Гарибальди с поляками, а может, если удастся, и уговорить итальянского вождя принять непосредственное участие в польском восстании. Ведь подобный прецедент уже был.

В начале восстания отряд гарибальдийцев под командованием Франческо Нуло отправился сражаться под польскими знаменами. Разбитые при деревне Кжижовка 5 мая 1863 года, многие гарибальдийцы оказались в плену. Их судили военно-полевым судом. С декабря 1863 года они отбывали каторгу в Забайкалье. Э, Андреоли, А. Венанцио и Л. Кароли вскоре были переведены на Кадаинский рудник, где близко сошлись с Н. Г. Чернышевским и М. Л. Михайловым.[284] Так переплетались пути и судьбы русских, итальянских и польских революционеров.

Сочувствуя всей душой «несчастной и героической Польше», Гарибальди теперь ничего реального уже не мог сделать для нее. Он сообщил Бакунину, что сам собирался поехать в Польшу, «но поляки просили мне передать, что я буду там бесполезен, а мой приезд принесет больше вреда, чем пользы: поэтому я воздержался. Впрочем, я и сам полагаю, что здесь я буду полезнее, чем там. Если мы сделаем что-нибудь в Италии, то это будет выгодно и для Польши, которая ныне, как и всегда, пользуется всем моим сочувствием».[285]

Проведя несколько дней на Капрере, Бакунин вернулся в Геную, а оттуда направился во Флоренцию, где решил пожить некоторое время, чтобы присмотреться к обстановке в Италии.

Сняв небольшую, но вполне приличную квартиру, Бакунины повели здесь весьма деятельный образ жизни. Как у Михаила Александровича, так и у Антонины Ксаверьевны вскоре образовались свои круги знакомых. За исключением тех дней, когда они принимали у себя, ни мужа, ни жену нельзя было застать дома.

Принимали же Бакунины обычно по вторникам. Вот как, по свидетельству их частого гостя Л. Мечникова, выглядели подобные вечера: «Гостиная убрана совершенно по-буржуазному, прилично. Грозный революционер в черном сюртуке, которому он, однако же, умеет придать живописный до неприличия неряшливый вид, мирно играет в дураки со своей Антосей… За фортепьяно седой старичок, необыкновенно добродушного вида,

сам себе аккомпанирует и птичьим голосом поет с сильным, как бы немецким выговором… Смелый, вызывающий революционный гимн („Марсельеза“. — *Н.* П.) звучит в его устах какой-то слащавою, сентиментальной песенкой. Певец, однако же, оказывается, не немец, а швед, один из стокгольмских друзей М. А., к тому же состоящий в каком-то совершенно непонятном мне свойстве или кумовстве с революцией…

Мало-помалу собираются гости…

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний…

За исключением очень немногих завсегдатаев, на этих вечерах редко удавалось два раза сряду видеть одно и то же лицо».[286]

Видя в своей гостиной незнакомых людей, Бакунин склонен был считать их гостями Антоси. Впрочем, и его самого постоянно окружали люди весьма разные. Больше всего было русских и польских эмигрантов, обращавшихся к нему с самыми различными просьбами. «Были тут дамы, которые осаждали Бакунина своими несчастиями от преследований станового; был тут дилетант-художник, который говорил серьезно, что у него кисть выпадает из рук от политического положения Европы. А однажды, — рассказывает дальше В. И. Модестов, — пришли два эмигранта — оба духовного звания, поляк и русский. Он их поместил вместе и потом с хохотом рассказывал, что один выхлопотал себе паспорт и возвращение, а другой у него украл штаны с паспортом и исчез».[287]

Во Флоренции в эту пору было немало русских. Дружеские отношения поддерживал Бакунин с Л. И. Мечниковым. Публицист, путешественник, ученый, Лев Ильич умел и с оружием в руках отстаивать дело свободы. Двадцати двух лет вступил он в армию Гарибальди; командуя батареей в битве при Вольтурно, был тяжело ранен. Пополнив собой немногочисленные еще ряды русских эмигрантов, Мечников стал деятельным сотрудником «Колокола», помогал транспортировке его в Россию. Впоследствии был близок к Интернационалу, поддерживал дружеские отношения с революционерами.

С Бакуниным он познакомился сначала по письмам, через Герцена, а в 1864 году встретился с ним во Флоренции. «Его львиная наружность, его живой и умный разговор, без рисовки и всякой ходульности, сразу дали, так сказать, плоть и кровь тому несколько отвлеченному сочувствию и той принципиальной преданности, с которыми я заранее относился к нему».[288]

Был среди русских, приезжавших во Флоренцию, и Н. Д. Ножин, совсем молодой человек, учившийся в ту пору в Гейдельберге. По свидетельству современников, «Ножин был фанатик, человек, порвавший ради своих убеждений с семьей, с блестящей карьерой, со своим кругом. Он был одним из тех людей, которые знают „одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть“». Страстью этой была революция. «Он всем своим изнывшимся нутром мучительно сознавал, что надо перейти к иным, более справедливым основам общественности и нравственности, — писал друживший с ним тогда Мечников. — Он смутно угадывал некоторые из этих новых основ, но сформулировать их не умел, отчасти по замечательному недостатку красноречия, отчасти же просто потому, что многого еще не успел обдумать и уяснить, даже самому себе».[289] Несмотря на недостаток красноречия, спорщик он был отчаянный. Полемические схватки его с Бакуниным кончались обычно тем, что, назвав его «взбалмошным мальчишкой», Михаил Александрович покидал поле боя. А случалось, что и Ножин убегал «красный как рак, не помня себя», или Курочкин[290] увозил его домой «в нервном припадке».

Встречался Бакунин во Флоренции и с русскими художниками. Н. Н. Ге рассказывает, как, увидев его впервые, Бакунин поразил его словами:

«— А мы уже распределили между нами деньги за вашу картину…

— Жаль только, что денег пет, я еще не получил, да и получу, вероятно, не так скоро», — отвечал смущенный художник.

Встреча эта «не нарушила наших добрых и даже сердечных отношений, — продолжал Ге. — При дальнейшем знакомстве и с окружающими его, а этих последних было много, он производил впечатление большого корабля без мачт, без руля, двигавшегося по ветру, не зная, куда и зачем».[291]

Добрые отношения сложились у Бакунина и со скульптором П. П. Забелло. Молодой тогда художник был красив, энергичен, умен. Он много читал, хорошо знал работы Прудона и Герцена.

«Бакунин говорил мне впоследствии, — писал Мечников, — что он сразу отличил З…о, наметил его для каких-то особых целей и возлагал на него самые блестящие надежды за одну только его энергическую и красивую наружность».

Надежды эти никак не оправдалась. Но Бакунин много хлопотал о Забелло, в частности помогая ему найти выход из крайне бедственного материального положения. Не имея заказов, скульптор вынужден был искать средств к существованию на ином поприще. Превосходно зная французский язык, он стал

переводить «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Чтобы опубликовать перевод, нужны были связи, тогда Бакунин обратился к графине Салиас, прося ее пристроить книгу через знакомых поляков.

Графиня Салиас в период флорентийской жизни Бакунина была его постоянной корреспонденткой. Переписывались они и в последующие годы. Но письма 1864 года — один из немногих источников, по которым можно проследить за его взглядами, в частности на польский вопрос.

Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир (урожденная Сухово-Кобылина) была хорошо образованна, умна и, по словам Герцена, «добра и экзальтированна». Взгляды ее, в общем умеренно-либеральные, отличались, однако, большими симпатиями к делу польской свободы. До 1861 года графиня большею частью жила в Москве, занималась литературной деятельностью, имела салон. Но после того как за ней был установлен полицейский надзор, она выехала за границу и теперь жила во Франции. В письмах к ней Бакунин писал как о своих взглядах, так и о своей жизни во Флоренции. «Живем мы тихо. Работаем мало. Я каждую неделю посылаю по два мелких листа в Стокгольм и зарабатываю таким образом 100 франков, а иногда и более в неделю. Антося принялась серьезно учиться. Иногда ходим в театр и редко вечером посещаем знакомых… Одним словом, читаем, учимся, пишем, иногда болтаем и проводим время тихо, невинно, но довольно приятно».[292] Однако, по другим свидетельствам, мы знаем, что уж тихой-то эта жизнь ни в коей мере не была.

Помимо русских и польских знакомых, Бакунина окружало и немало итальянцев. Уже в первые дни жизни в Италии Бакунин сообщал Демонтовичу, что он в восторге как от страны, так и от итальянцев, среди которых у него много друзей.

Гарибальди снабдил Бакунина рекомендательным письмом во Флоренцию к Джузеппе Дольфи. По словам знавшего его А. фон Фрикена, Дольфи мало походил на своих соотечественников и характером своим столько же, сколько фигурой, напоминал другие времена Флоренции и других людей. Это был высокий, плечистый и здоровый мужчина; смотря на него, я невольно вспоминал те громадные камни, из которых в средние века во Флоренции строили дворцы и башни. Однажды Дольфи шел иод руку с Михаилом Бакуниным, который, как известно, не уступал флорентийскому булочнику ни в росте, ни в ширине плеч; оба они занимали почти совершенно одну из узких флорентийских улиц. «Посмотрите, — сказал мне, указывая на них, Alberto Mario, с которым я шел позади, — это движущаяся баррикада, которую

мы употребим в дело при первом восстании».[293]

Владелец булочной и макаронной лавки, гроссмейстер местной масонской ложи и крайний республиканец и демократ — все это вполне сочеталось в Дольфи. Жертвуя довольно крупные суммы на революционное предприятие, жил он очень скромно, в двух небольших комнатах над своей лавкой. Узкая, без перил лестница, ведущая в его апартаменты, еле выдерживала мощную фигуру Бакунина, часто навещавшего нового друга. «Для Бакунина, — писал Мечников, — Дольфи приказывал своей белокурой, пластической, полуграмотной жене приносить лучшую бутыль самого старого своего vin Lunto. Для Бакунина он не раз развязывал обсыпанными в муке руками свою туго набитую мошну. Через Дольфи Бакунин скоро был посвящен во все тайны демократического флорентийского кружка и сближен со всеми его наличными корифеями и деятелями».[294]

Масоны заинтересовали Бакунина. Поскольку ставки на определенную социальную базу в Европе он еще не имел и практически ориентировался главным образом на круги интеллигенции, то и эта организация показалась ему подходящей для революционной агитации. С этой целью он сблизился с ними и даже вошел в масонскую ложу, но не с тем, чтобы принять их учение, а чтобы, напротив, распропагандировать их. Он попытался составить «франкмасонский катехизис», доказывающий, что существование бога несовместимо с разумом и свободой человека. «Бог существует — значит, человек раб… Человек свободен — значит, бога нет».

Но попытки внушить масонам мысль о необходимости заменить культ личного бога культом человечества ни к чему не привели. Масоны не приняли проповеди Бакунина. Слухи же о его странном увлечении дошли до Лондона и вызвали недоумение Герцена и Огарева. Несколько позднее, оправдываясь и объясняясь, Бакунин писал им: «Только, друзья, прошу вас, перестаньте же думать, чтобы я когда-либо занимался серьезно франкмасонством. Это, может быть, пожалуй, полезно, как маска или как паспорт, но искать дела в франкмасонерии все равно, пожалуй, хуже, чем искать утешения в вине».[295]

Масоны были далеко не единственной флорентийской аудиторией Бакунина. «Очень скоро, — пишет Мечников, — вокруг него составился целый штаб из отставных гарибальдийских волонтеров, из адвокатов, мало занятых судейской практикой, из самых разношерстных лиц, без речей, без дела, часто даже без убеждений, — лиц, заменяющих все: и общественное положение, и дела, и убеждения одними только, не совсем понятными им самим, но очень радикальными

вожделениями и стремлениями».[296]

Такой же «разношерстный сброд» собирался и на вечерах у графа Пульского, частым посетителем которого был Бакунин. Гости графа обычно окружали знаменитого русского изгнанника плотным кольцом, а он, по свидетельству одного из участников этих вечеров, Губернатиса, держа перед собой громадную чашку чая, «которая подавалась ему соответственно его пищеварительной способности», в блестящей, поучительной и остроумной форме проповедовал им. Хозяин дома, по мнению Мечникова, не представлял собой ничего интересного, и прикосновенность его «к всесветной революции» была не ясна мемуаристу. Однако «прикосновенность», бесспорно, была. Участник венгерской революции, приговоренный к смертной казни, граф Пульский успел эмигрировать и теперь жил во Флоренции. Как он сам, так и особенно некоторые из его постоянных гостей интересовали Бакунина. Среди последних были преданные сторонники Мадзини граф Альберто Марио, его жена и его друзья. «Я тогда недоумевал, — пишет Мечников, — и недоумеваю теперь, что могло казаться Бакунину хоть призраком дела в этой своеобразной и чуждой нам среде. Учить их агитации и конспирации значило ковшом лить воду в море, так как самый наивный из них мог смело заткнуть за пояс Михаила Александровича со всем его штабом и причтом».

Мечников, наблюдавший лишь внешнюю сторону жизни Бакунина, не понял, что не учить их конспирации хотел Бакунин, а учиться у них. Именно в это время складывалась у него та схема организации тайного общества, на которую определенные влияния оказали мадзинистские организации Италии.

Помимо живого интереса к практической работе мадзинистских организаций, Бакунина привлекала в окружении графа Пульского и другая сторона — именно здесь строились политические прогнозы о возможности нового революционного взрыва в ближайшем будущем. «Пульский и его жена, — писал Бакунин Герцену 4 марта 1864 года, — …положительно отрицают возможность самостоятельного венгерского восстания в нынешнем году, но прибавляют, что если Италия серьезно встанет, то и Венгрия встанет непременно. Партия движения, по приказанию Лондона и Капреры (Мадзини и Гарибальди. — Н. П.) … несомненно, готовится. Кажется, несомненно, что в конце марта или в начале апреля будет попытка восстания в Венецианской области, что, лишь только она вспыхнет, будет сделана агитация в целой Италии и что Гарибальди позовет итальянцев.

…Электричество все набирается и переполняет атмосферу —

без бури не обойдется. Может быть, будет взрыв позже, но мне кажется, что отлив кончился, начинается вновь прилив».[297] В ожидании этого «прилива» как в Италии, так и в Польше, где, по его расчетам, должна была начаться «хлопская» революция, он решил ненадолго съездить в Стокгольм.

24 апреля 1864 года он писал Тхоржевскому: «Скажите Огареву, что я, наконец, получил вести из Стокгольма и из Финляндии, т. е. от Штраубе и Э. Фолькерсюе.[298] Вследствие чего и решаюсь ехать туда, где встречу обоих».[299] Извещая 1 августа Демонтовича о выезде в Швецию, Бакунин выражал надежду на его братскую помощь. Казалось бы, что встреча со своими агентами в интересах польско-русского дела да еще личные обстоятельства — договора с издателями об издании мемуаров и статей, о чем он писал родным, — являются причиной его поездки. Но главным было не это.

Неудачи изолированных национальных движений в последнее время (вторая половина 1863–1864 год) все более приводят его к мысли о необходимости создания международного революционного общества и координации таким образом действий революционеров разных стран. По существу, эта мысль для Бакунина не нова. Вся его деятельность 1848–1849 годов носила интернациональный характер и была направлена на то, чтобы, связав славян с немцами и мадьярами, содействовать общеевропейской революции.

Первое время по приезде в Лондон (до польского восстания) он пытался наладить старые славянские связи и действовать в том же направлении. 12 мая 1862 года он писал: «Мы должны покрыть славянских братьев сетью тайных обществ. А эти тайные общества должны вмещать в себя все живое, развитое, энергическое и все, что чувствует и думает… После должно все эти тайные общества соединить воедино, привести в движение в одно время с движением в Италии, Польше и России».[300]

Польское восстание на время отодвинуло эти планы, а последующее затем пребывание Бакунина в Швеции и Италии расширило его представление о возможных границах революционного союза. Приглядевшись с близкого расстояния к итальянской действительности, Бакунин хотел теперь снова побывать в Стокгольме, чтобы там, на месте, выяснить конкретные возможности участия шведских и финских лидеров в международном революционном союзе.

По-видимому, поездка в главной своей части показалась Бакунину удачной. Нужные связи он установил.

В середине октября на обратном пути заехал он в Лондон. Здесь снова после многолетнего перерыва произошла его встреча

с Карлом Марксом.

Если 1864 год ознаменовался для Бакунина работой над идеей создания международного революционного общества, то для Маркса это был год практического создания Международного товарищества рабочих — I Интернационала.

Необходимость создания международной организации была ясна и Марксу и Бакунину. Но состав и задачи подобной организации определялись тем, как оба эти человека понимали задачи и движущие силы грядущей революции.

Социальные представления Бакунина были все еще довольно смутными. Из общей массы угнетенного большинства человечества он не выделял тогда рабочий класс, а следовательно, и не мог понять его роли в революции.

Социализм же Маркса, базировавшийся на научной основе, выдвинул идею гегемонии пролетариата. Боевой политической организацией рабочего класса и призван был стать I Интернационал.

Мировой экономический кризис 1857 года, резко ухудшивший условия жизни угнетенных классов, послужил началом нового подъема рабочего движения. Конец 50-х — начало 60-х годов ознаменовались и оживлением в ряде стран национально-освободительного движения. Борьба за создание национальных государств в Германии и Италии, гражданская война в США, восстание 1863 года в Польше — все эти события волновали передовую часть рабочего класса.

Подъем международного рабочего движения выдвигал задачу сплочения сил мирового пролетариата. 10 ноября 1863 года английские рабочие направили французским рабочим обращение с призывом к международному объединению.

28 сентября 1864 года в Лондоне, в Сент-Мартинс-холле, собрался митинг. На нем присутствовали рабочие Англии, Франции, Германии и Италии. Собравшиеся избрали временный комитет для осуществления всей организационной работы и выработки документов новой организации. К. Маркс вошел в состав этого комитета. Им были написаны Учредительный манифест и Временный устав, которые были приняты как программные документы Интернационала. В Уставе Интернационала говорилось, что «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом». Далее формулировалось и другое принципиальное положение о том, что экономическое угнетение рабочих является основой политического гнета и что «экономическое освобождение рабочего класса есть, следовательно, великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено, как

средство…».[301]

Определяя принципы и цели организации Международного товарищества, Маркс писал, что оно «основано для того, чтоб служить центром сношений и сотрудничества между рабочими обществами, существующими в различных странах и преследующими одинаковую цель, а именно защиту, развитие и полное освобождение рабочего класса».[302]

Международная организация самого передового класса — пролетариата была создана. На ее основе могло развернуться широкое международное движение рабочих.

Но на пути этого движения стояли не только реакционные режимы всех европейских стран, но и мелкобуржуазные партии и организации, порожденные недостаточной зрелостью пролетариата.

Пропаганда среди этих отсталых слоев пролетариата, разъяснение принципов и задач Интернационала были важнейшей задачей организации. Людей, разделяющих платформу Международного товарищества и способных вести пропагандистскую работу, было не так уж много.

Бакунин, как казалось Марксу по прежнему знакомству с ним, мог подойти для этой цели.

О приезде его в Лондон Маркс узнал случайно. Старый член «Союза коммунистов» портной Ф. Лесснер сказал Марксу, что он шьет костюм для приехавшего ненадолго в Лондон Бакунина. Тогда Маркс написал Бакунину письмо, на которое тот ответил, что с большим удовольствием повидается со старым знакомым. Возобновление знакомства интересовало Бакунина особенно потому, что он уже знал как о создании Международного товарищества, так и о той роли, которую сыграл при этом Маркс. «Я знал, что он содействовал основанию Интернационала. Я читал манифест, который он написал от имени временного Генерального совета, манифест, который был замечательно серьезен и глубок, как и все то, что выходит из-под его пера, когда он не ведет личной полемики».[303]

3 ноября свидание Маркса и Бакунина состоялось, а на следующий день Маркс писал Энгельсу: *«Бакунин* просит тебе кланяться, Он сегодня уехал в Италию, где проживает (Флоренция). Я вчера увидел его в первый раз после шестнадцати лет. Должен сказать, что он очень мне понравился, больше, чем прежде. По поводу польского движения он говорит следующее: русскому правительству это движение потребовалось для того, чтобы держать в спокойствии самое Россию, но оно никоим образом не рассчитывало на восемнадцатимесячную борьбу. Оно само спровоцировало эту историю в Польше. Польша потерпела

неудачу из-за двух вещей: из-за влияния Бонапарта и, во-вторых, из-за того, что польская аристократия медлила с самого начала с ясным и недвусмысленным провозглашением *крестьянского социализма.* Он (Бакунин) теперь, после провала польского движения, будет участвовать только в социалистическом движении.

В общем, это один из тех немногих людей, которые, по-моему, за эти шестнадцать лет не пошли назад, а, наоборот, развились дальше».[304]

Позднее, в марте 1870 года, в «Конфиденциальном сообщении», разосланном Генеральным советом Интернационала его секциям, Маркс писал о том, что Бакунин вскоре после основания Интернационала имел в Лондоне с ним свидания, и что он (Маркс) принял его в Международное товарищество рабочих, и Бакунин обещал работать не покладая рук.[305]

Очевидно, идейная платформа Бакунина или по крайней мере та ее часть, которую он обнаружил в разговоре с Марксом, устроила последнего и он поручил ему вести пропаганду документов Интернационала в Италии. Вскоре после отъезда Бакунина он выслал ему Устав и Учредительный адрес.

Агитация, которую мог бы повести Бакунин против влияния мадзинистских организаций, могла бы в тех условиях способствовать пониманию итальянским пролетариатом истинных целей и задач рабочего движения.

С интересом относясь к организационной стороне мадзинистских конспирации, Бакунин не принимал его программы. «Идеи Мадзини общеизвестны, — писал он, — это Dio e popolo, „бог и народ“… Мадзиниевский народ — это такая же фикция, как его бог, своего рода добровольное подножие для мощи и славы государства. Это народ монахов, религиозных фанатиков… всегда готовых пойти на смерть в интересах великой итальянской республики и питать своею плотью ту фикцию общей политической свободы, которая мне представляется не иначе как огромным кладбищем, где волею или неволей погребаются все личные свободы».[306] Естественно, что против идей, служащих такой республиканской фикции и к тому же широко распространенных в Италии, Бакунин считал нужным вести борьбу. По этому пункту Бакунин легко договорился с Марксом, дав ему обещание развернуть пропагандистскую кампанию против влияния идей Мадзини. Этой же цели должна была служить и пропаганда программных документов Интернационала, за которую также взялся Бакунин.

Картина широкого международного рабочего движения, которую развернул перед ним Маркс, произвела на Бакунина

огромное впечатление и, бесспорно, повлияла на него. Еще ранее этой встречи, придя к мысли о необходимости создания именно международного союза революционеров, он неожиданно для себя столкнулся с фактом уже создавшейся серьезной организации, объединявшей рабочих крупнейших европейских стран. Влияние этого события выразилось в следующем.

Значительно увеличило в представлении Бакунина роль рабочих в социальной революции; заставило его отрешиться от ставок на национальные движения, сосредоточив все внимание на проблемах международной революции.

И в то же время укрепило мысль о необходимости серьезной разработки тех форм социального общежития, которые он пытался противопоставить идее диктатуры пролетариата, провозглашенной Марксом.

Привело к авантюристической мысли о необходимости форсировать свою деятельность по созданию *тайного* международного революционного общества.

Эти свои мысли он не сообщил Марксу. Напротив, высказав согласие с положениями программных документов Интернационала и взяв соответствующие поручения, он выехал из Лондона во Флоренцию, твердо решив про себя все силы направить на осуществление своего гигантского замысла, согласно которому вся Европа должна была быть покрыта сетью строго законспирированных ячеек Международного тайного общества освобождения человечества.

С этого момента начался новый этап деятельности Бакунина. Один вступал он опять в борьбу — на этот раз со всеми правительствами Европы. Ни средств, ни подлинных единомышленников у него не было. Но это не смущало его.

«Шагая через реки и моря, через годы и поколения, он, — по словам Герцена, — видел одну лишь дальнюю цель» — освобождение человечества от всех форм эксплуатации, неравенства, угнетения.

Внутреннюю, подготовительную работу к созданию тайного общества начал он, по его словам, еще в 1863 году. В 1866 году он писал Герцену и Огареву: «Вы упрекали меня в бездействии, в то время как я был деятельнее, чем когда-нибудь; я говорю об этих трех последних годах. Единым предметом моей деятельности было основание и устройство интернационального революционно-социалистического тайного общества».[307]

Здесь возможна неточность. В 1863 году и, даже судя по цитированному выше письму к неизвестному, в 1862 году зарождались лишь мысли о возможности создания подобного общества, но конкретную и активную деятельность он развернул

лишь в 1864 году.

Вернувшись из поездки, во время которой он установил определенные связи как в Стокгольме, так и на обратном пути в Париже, он приступил к работе над своей программой. Первым документом, формулирующим его новые взгляды, стала объемистая рукопись (около 4 печатных листов) «Международное тайное общество освобождения человечества», написанная одновременно в форме программы и в форме письма. Адресатом был А. Сульман, предварительные разговоры с которым, очевидно, имел Бакунин в Стокгольме. {Рукопись эта не опубликована. Оригинал ее хранится в Шведской Королевской библиотеке. Мы пользуемся переводом копии документа, которым располагает «Группа по изучению революционной ситуации в России в 1859–1861 гг.» Института истории СССР АН СССР.

Документ не датирован. Считая, что его написание относится ко времени возвращения из Швеции, то есть ко второй половине 1864 года, я руководствуюсь как рядом косвенных доказательств (о чем речь в тексте), так и прямыми. В письме-программе есть фраза: «В августе этого года Виктор-Эммануил устроил гнусную западню Гарибальди, но был вовремя предупрежден Мадзини».

Речь шла об экспедиции Гарибальди в Галицию, «на пароходе безоружном… с обещанием, что в Галиции он найдет солдат и оружие». Факт этой несостоявшейся экспедиции относится к лету 1864 года.} Ввиду крайней важности этой рукописи для понимания последующего развития взглядов и деятельности Бакунина остановимся на ней подробнее.

«Целью данного общества является объединение революционных элементов всех стран для создания подлинного Священного Союза свободы, против священного союза всех тираний в Европе: религиозных, политических, бюрократических и финансовых» — так начинается раздел первый этого документа, озаглавленный «Цель общества».

Первые же страницы рукописи раскрывают социальную ориентацию Бакунина: буржуазная молодежь, руководимая небольшой группой преданных делу освобождения интеллигентов, должна «подтолкнуть» народные массы, двинуть их вперед.

Но как найти и объединить людей, для которых действительно нет другого дела, кроме служения человечеству? Открытый конгресс либералов и передовых людей всех стран здесь не поможет, считает Бакунин. «Даже если действительно на такое сборище не явятся дураки и шпики изо всех стран, а приедут известные и порядочные люди — договориться все равно

не будет возможности» ввиду разности их взглядов. К тому же гласность убьет тайну, а она должна быть соблюдена непременно, «так как иначе мы сами разоблачили бы нашим врагам наши проекты, в некоторой степени незаконные, наш план действий, состояние наших сил, также и наши слабые стороны».

Для образования реального альянса нужна тайна, общее единство и «великий единый принцип».

Раскрытию этого принципа посвящает Бакунин следующий раздел программы. В мире, по его мнению, существуют два принципа: принцип авторитета и принцип свободы. Первый из них, держащийся на церкви и государстве, основан на презрении к человеку. Против него «мы выдвигаем великий революционный принцип свободы, достоинства и прав человека».

Дальше следует глубоко гуманистическое обоснование этого принципа.

«Мы верим, что даже если человек зачастую плох и глуп, тем не менее в нем живет способность к разуму, склонность к доброте. …Мы верим, что независимо от какого-либо божественного вмешательства в самом человеке заложена творческая активность и непобедимая внутренняя сила — она его сущность и его естество, на протяжении столетий неизменно влекущая человечество к истине и добру». «…Быть свободным — право, долг, достоинство, счастье, миссия человека. Исполнение его судьбы. Не иметь свободы — не иметь человеческого облика. Лишить человека свободы и средства к достижению ее и пользования ею — это не просто убийство, это убийство человечества. Самый великий и единственный моральный закон — будьте свободными и не довольствуйтесь только состраданием, а уважайте, любите, помогайте освобождению вашего ближнего, так как его свобода непременное условие вашей».

Руссо, полагал Бакунин, ошибался, когда думал, что свобода одного должна быть ограничена свободой других. Порядок, установленный людьми, принял видимость социального договора, по которому каждый поступается частью свободы в пользу общины. Государство появляется не как утверждение свободы, а как ее отрицание, как ограничение индивидуальной свободы каждого в пользу общины.

Эта теория Руссо совпадает с христианской доктриной (высшее божественное право выше индивидуального, или государственный разум выше индивидуального), потому что исходят оба из того, что человеческая природа плоха по своей сущности. «Человек инстинктивно, неизбежно *является* социальным существом и рождается в обществе как муравей, пчела, бобер. Человеку, как и меньшим его братьям, т. е. как всем

диким животным, присущ закон естественной солидарности, заставляющей самые примитивные племена держаться вместе, помогать друг другу и править с помощью естественных законов». Благодаря тому, что человек наделен разумом, отличающим его от животных, благодаря прогрессивному развитию интеллекта он создал «вторую природу — человеческое общество. И это единственная причина, почему его инстинкт естественной солидарности превращается в сознание, а сознание, в свою очередь, рождает справедливость».

Путем последовательных эволюции и исторических революций человек превращает примитивное общество в организованное, разумное, создает свою свободу.

«Дело идет не о том, чтобы уменьшить свободу, необходимо, напротив, все время ее увеличивать, так как чем больше свободы у всех людей, составляющих общество, тем больше это общество приобретает человеческую сущность». Чтобы развивать эту человеческую сущность, необходимо ограничить, уменьшить, уничтожить животное начало в человеке.

Порядок в обществе не должен ограничивать свободу индивидуума, напротив, сам порядок должен вытекать из этой свободы. «Свобода это не ограничение, а утверждение свободы всех. Это закон солидарности. Разум возгорается от разума, но по одному и тому же закону под давлением глупости он гаснет. Таким образом, разум каждого растет по мере того, как возрастает разум всех других, и глупость одного в какой-то мере есть глупость всех». Тот же закон солидарности — в труде. Он зовется законом ассоциации и разделения труда.

«Я могу быть свободным только среди людей, пользующихся одинаковой со мной свободой. Утверждение моего права за счет другого, менее свободного, чем я, может и должно внушить мне сознание моей привилегии, а не сознание моей свободы… Но ничто так не противоречит свободе, как привилегия».

«Полная свобода каждого возможна при действительном равенстве всех. Осуществление свободы в равенстве это и есть справедливость».

Обосновав, таким образом, главный основополагающий принцип, Бакунин переходит к третьему разделу: последствиям, вытекающим из этого принципа.

Для осуществления справедливости, считает он, прежде всего необходима отмена права наследования, свобода брака, равенство женщин и усыновление детей обществом. Единственным производителем богатств должен стать труд.

Перестройку жизни общества Бакунин считает возможным осуществить при минимальном насилии. «Уничтожение права

наследования и мощное действие рабочих ассоциаций при содействии нового духа и демократической организации страны будет достаточно для достижения цели».

В области политической общество организуется снизу вверх. «Община представляет политическое единство, маленький мир, независимый и основанный на индивидуальной и коллективной свободе всех ее членов».

Федеральный союз общин образует округ или провинцию. Управлением, администрацией и судом провинции будет ведать законодательное собрание, состоящее из депутатов всех общин, президент и трибунал провинции избирается или общинами, или этим законодательным собранием. Собрание и президент не имеют права вмешиваться во внутренние дела общины.

Нация состоит из федерального союза провинций. Она будет иметь президента, национальное законодательное собрание и трибунал. Международная федерация состоит из наций, желающих войти в нее.

«Порядок в обществе должен быть не основой, а венцом свободы, и… следовательно, организация должна строиться не путем централизации, как во всех современных государствах, т. е. сверху вниз, от центра к периферии, а посредством свободных федераций и союза, т. е. снизу вверх — от периферии к центру».

В последнем разделе документа, «Перейдем к практике», Бакунин задает Сульману ряд вопросов.

«…Согласны ли Вы:

— Что конституционализм и либерализм умирают в Европе?

— Что мы не можем рассчитывать на буржуазию?..

— Что для того, чтобы поднять народ, нужна социальная и демократическая программа — одним словом, наша программа?

— Что недостаточно, чтобы поднялся один народ, нужно, чтобы все или по крайней мере несколько, а для этого нужна тайная организация, одним словом, международный заговор?

Если Вы ответите „да“ на все эти вопросы, то Вы с нами».

В заключение Бакунин сообщает, что программа эта не рассчитана на осуществление в современном мире.

«Мы хорошо знаем, что, чтобы осуществить только ее основные пункты, необходимо по крайней мере 50, а может быть, более 100 лет. Но как иезуиты, создавшие тайные общества с лучшей в мире организацией, неустанно и ожесточенно трудились свыше двух веков, чтобы уничтожить всякую свободу в мире, мы, желающие ее торжества, основали общество на длительный срок, которое должно нас пережить и которое будет распущено только тогда, когда вся его программа будет выполнена».

В конце рукописи Бакунин предлагает Сульману читать «следующие страницы» лишь в том случае, если он будет согласен с основными вопросами, изложенными выше. Этих «следующих страниц» в документе нет. Однако сличение текста рукописи с последующим вариантом программы Бакунина говорит о том, что на страницах этих должна была быть часть организационная.

Очевидно, отправив свое письмо Сульману, Бакунин стал отделывать, конкретизировать и редактировать ту систему мыслей, которую изложил в первом документе. В итоге был создан новый проект,[308] получивший название «Революционного катехизиса». Общество же, созданное Бакуниным, стало называться «Интернациональным братством».

В первой своей части новый проект повторял идеи и в значительной мере формулировки первого документа. Затем шла «Сводка основных идей этого Катехизиса», где опять-таки в более сжатой и стройной форме излагались мысли, пространно изложенные ранее. Но здесь были и новые моменты. Так появился пункт о революционной политике. «Наше основное убеждение заключается в том, что как свобода всех народов солидарна, то и отдельные революции в отдельных странах должны тоже быть солидарны, что отныне в Европе и во всем цивилизованном мире нет больше революций, а существует лишь одна всеобщая революция… и что, следовательно, все особые интересы, все национальные самолюбия, притязания, мелкие зависти и вражда должны теперь слиться в одном общем универсальном интересе революции».

После теоретической части следовал раздел «Организация», в котором конкретнейшим образом разрабатывались практические задачи тайного общества, говорилось о характере и предполагаемом ходе будущей народной революции.

«Она начнется с разрушения всех организаций и учреждений: церквей, парламентов, судов, административных органов, армий, банков, университетов и проч., составляющих жизненный элемент самого государства. Государство должно быть разрушено до основания… Одновременно приступят в общинах и городах к конфискации в пользу революции всего того, что принадлежало государству;[309] конфискуют также имущество всех реакционеров и предадут огню все судебные дела и имущественные и долговые документы, а всю бумажную, гражданскую, уголовную, судебную и официальную труху, которую не удастся истребить, объявят потерявшей силу… Таким путем завершится социальная революция, и, после того как ее враги будут лишены раз навсегда всех средств вредить ей, уже не будет никакой надобности чинить над ними кровавой расправы, которая уже потому нежелательна,

что она рано или поздно вызывает неизбежную реакцию».

Отрицая государственную организацию общества и предлагая взамен вольную федерацию, Бакунин настаивал на господстве в ней единства и порядка.

Еще большего единства, порядка, строгой иерархии и дисциплины требовал Бакунин от самой революционной организации, призванной подготовить и обеспечить победу революции.

Ядром общества на первых порах является Центральная директория, состоящая из трех человек, которая берет на себя функции вербовки членов и создания временной организации. После того как число членов общества достигает 70 человек, представляющих по меньшей мере две страны, происходит международный учредительный съезд, обсуждающий общую программу, организацию, устанавливающий «окончательное интернациональное революционное правительство, которое будет состоять из интернациональной юнты и высшего совета».

Удачный подбор интернациональных братьев — один из важнейших, определяющих моментов, а потому требования, предъявляемые к ним Бакуниным, максимальны. Член общества должен был быть: мужественным, умным, сдержанным, постоянным, интеллектуально развитым, решительным, не тщеславным, не честолюбивым. Со страстью и волей должен он воспринять всем сердцем основные принципы Катехизиса; он должен быть атеистом и признавать, что «истина, независимая от какой-либо теологии и божественной метафизики, не имеет иного источника, кроме коллективной совести людей».

У брата не должно быть никаких тайн перед интернациональным советом, кроме тех, которые он должен хранить по своей должности согласно законам общества. Все свое политическое влияние, общественное и служебное положение должен он отдавать на службу обществу. Вся деятельность брата — литературная, политическая или экономическая — должна быть согласована с духом, тенденциями и задачами общества.

По правам и полномочиям братья делятся на почетных и активных. Почетные, или братья-соревнователи, должны принять лишь основы программы общества и содействовать своим положением, званием, занятиями его процветанию. Активные братья на основе строжайшей дисциплины выполняют все поручения общества. В соответствии с разными функциями как почетные, так и активные братья при вступлении в общество дают «клятвенное обещание».

Таков, в общих чертах, этот проект программы «Интернационального братства», к которому Бакунин

возвращался не раз в 1865 и 1866 годах, переписывая отдельные разделы, редактируя, дополняя.

В целом программа эта поражает своей масштабностью и определенной продуманностью, свидетельствует об огромной умственной работе, составлявшей в последние два-три года как бы второй план деятельности Бакунина. С одной стороны, он был беспрерывно занят польским делом, конспирациями вокруг пропаганды изданий Герцена, хлопотами по связям с «Землей и Волей», наконец, беспрерывными разговорами и агитацией в Лондоне, Стокгольме, Флоренции, с другой же — подспудно он осмысливал и группировал весь тот материал, который давал ему опыт слаборазвитых стран Европы и круг идейных исканий революционеров и социалистов. Процесс осмысливания происходил, естественно, па базе мировоззрения, уже сформировавшегося у него во второй половине 40-х годов, В итоге в его новой социальной системе торжествовал принцип федерации, а в чертах и характере *грядущей* всемирной революции проглядывали черты его старого плана революции в Богемии. Обоснование и защита принципа свободы и солидарности, отказ от национальных форм движения в пользу всемирной революции, наконец, масштабность и детальность разработки вопросов, связанных с тайной организацией, с революцией и послереволюционным устройством, — все это было плодом наблюдений, раздумий и деятельности начала 60-х годов.

Объектом пристального внимания Бакунина была Италия. Различные социальные доктрины, имевшие в этой стране немало сторонников, естественно, интересовали Бакунина. Учение Мадзини не могло привлечь его. Конечная цель итальянского революционера была в создании единой буржуазно-демократической республики. Условием достижения этой цели для Мадзини была общеитальянская революция, движущей силой которой он считал народ. Важное место в его пропаганде играла этико-религиозная сторона: согласно ей участие в освободительном движении было религиозным долгом каждого итальянца. Лозунг «Бог и народ», подхваченный всеми его сторонниками, так называемой «Партией действия», имел, по словам К. Маркса, определенный смысл «в Италии, где бога противопоставляют папе, а народ — монархам».[310] К тому же бог для Мадзини был основанием создания нового морального кодекса, новой социальной религии. Но ни эта сторона учения Мадзини, ни его стремление привлечь к революции крестьянство без кардинального разрешения земельного вопроса не годились для Бакунина. Не могла импонировать ему и идея мирного разрешения противоречия между трудом и капиталом. Стремясь к

«освобождению трудящихся от тирании капитала», Мадзини выдвигал идею наделения всех мелкой собственностью и создания потребительских и производственных ассоциаций. Правда, сама идея ассоциации была близка Бакунину, но в содержание ее он вкладывал совсем иной смысл. Единственно, пожалуй, что в какой-то мере заимствовал Бакунин у Мадзини, — был опыт работы тайных организаций.

Гораздо ближе Бакунину оказались идеи другого итальянца — Карло Пизакане.

«Пизакане был поистине одной из самых романтических и поэтических фигур итальянского Рисорджименто, — писал о нем итальянский историк Джузеппе Берти, — ему были присущи глубокая непосредственность и прямота, вытекавшие из самого существа его натуры, безграничная искренность, глубокое и острое чувство природы и общества в духе Руссо и ранних социалистов-утопистов».[311]

По мнению Дж. Берти, многое объединяло Пизакане с Герценом, с которым он хорошо был знаком в период его жизни в Италии. С Бакуниным же лично Пизакане не встретился. Он погиб в 1857 году, но работы его, и особенно «Завещание», пользующееся громадной популярностью в Италии, очевидно, знал Бакунин.[312]

Джузеппе Фанелли, руководитель тайного комитета в Неаполе, последнее время работавший с Пизакане и ставший с 1864 года одним из верных сподвижников Бакунина, мог быть связующим звеном между погибшим и живым революционером.

Пизакане — материалист, атеист и социалист — создал оригинальную социальную утопию. Выдвигая на первый план экономические и материалистические основы общественного развития, отрицая частную собственность, Пизакане видел путь спасения человечества в насильственном разрушении существующего общественного строя, уничтожении всех социальные институтов (в том числе и права наследования), в возврате к естественным законам.

Законы природы согласно его доктрине должны быть воплощены в новой, социалистической общественной системе. Каждая личность и каждая община должны быть абсолютно свободны, а нация должна быть вольным союзом свободных коммун.

Народ, считал Пизакане, созрел для революции, но не созрел для самоуправления. Поэтому плодами его побед могут воспользоваться другие, если не гарантировать его права общественным договором. Договор этот должен быть создан гением и не подвластен воле народа. Принципы его следующие:

«1) Каждый индивидуум имеет право пользоваться всеми материальными средствами, коими располагает общество, дабы обеспечить полное развитие своих физических и духовных способностей, обеспечить свое образование.

2) Абсолютная свобода, пределами которой является свобода других, должна быть неприкосновенна и гарантирована общественным договором.

3) Абсолютная независимость жизни, или возможность полностью располагать собственным „я“».[313]

Но что побудит массы начать революцию? Ни просвещение, ни развитие промышленности, ни пропаганда социалистических теорий здесь не помогут, считал Пизакане.

Помочь может только деятельность определенно связанных между собой «свободных мыслителей» — иными словами, тайной организации интеллигенции.

Сходство ряда положений у Пизакане и Бакунина бесспорно. Но есть и различия, и немаловажные. Возьмем хотя бы два основных. Первое — это народ. Пизакане не очень-то доверяет его возможностям и потому выдвигает фигуру гения для создания общественного договора, гарантирующего свободное развитие народа. Бакунин, напротив, в народе видит источник справедливости и законности.

Второе — это свобода, предел которой Пизакане видит в свободе других. Бакунин же полагает, что Руссо, утверждавший подобное мнение, был не прав. «Свобода — это не ограничение, а утверждение свободы всех».

С Руссо и с Пизакане Бакунин расходился как в оценке пределов свободы, так и в отношении к сущности человеческой природы. Но в вопросе о необходимости восстановления «естественного состояния человека» и, таким образом, воссоздания естественных законов человеческого общества Бакунин так же, как многие его современники, вероятно, шел от Руссо.

Естественный строй, соответствующий естественным свойствам человеческой природы, проповедовали еще во времена Великой французской революции бабувисты (последователи Гракха Бабефа), считавшие равенство основным принципом естественного права. Книга соратника Бабефа и идеолога бабувизма Буонарроти «Заговор во имя равенства» не прошла мимо сознания Бакунина. В частности, принципы организации строго законспирированного иерархически построенного тайного общества, расчет на то, что невежественные массы скорее всего могут способствовать успеху революции, возможно, оставили след в душе русского революционера еще в 40-х годах. Но вопрос

о естественных законах тогда не привлек его. Теперь же, в 60-х годах, глубже и серьезней размышляя, беря за основу положительную природу человека, он стал искать основание его свободе именно в его естественном праве.

Говорить здесь о прямом идейном влиянии Руссо или Буонарроти все-таки, пожалуй, не стоит. Положения эти были свойственны вообще гуманизму того времени. Так, Элизе Реклю пришел к ним иным путем, не через Руссо, а от живого, конкретного наблюдения природы и людей.

Ученый-географ, путешественник и мыслитель, Элизе Реклю был человеком редкой душевной чистоты, огромного нравственного обаяния. Посвятив жизнь изучению жизни земли и всех народов, ее населяющих, Реклю с полным основанием отстаивал принципы естественной свободы, взаимопомощи и солидарности, царящей среди всех живых существ.

«Вдохновитель других, — писал о нем П. А. Кропоткин, — Реклю принадлежал к тем людям, которые никогда не управляли и не будут управлять никем; он был анархист, анархизм которого является выводом из широкого и основательного изучения форм жизни человечества во всех климатах и на всех ступенях цивилизации».[314] Элизе Реклю, так же как и брат его Эли, познакомились с Бакуниным в 1864 году в Париже. Элизе тогда же вступил в его «Братство», однако, очевидно, на правах почетного брата, потому что тактики бакунинской он не принял.

«Одушевленные с Реклю одним идеалом, мы с ним часто, почти всегда расходимся по вопросу о том, каким путем осуществить наш идеал», — говорил Бакунин. Реклю видел этот путь в интенсивной пропаганде социалистических и анархистских идей. Без постепенной эволюции революция, предоставляющая людям вместо мира бесправия царство полной свободы, обречена па поражение.

«В области социальных знаний, — считал Реклю, — истина передается и усваивается точно так же, как и в области математики и других наук, — постепенно и последовательно».[315]

Мысли Реклю о свободе, взаимопомощи и солидарности как естественных проявлениях человеческой природы, были идентичны мыслям Бакунина. Каждый из них пришел к этим выводам своим путем. Впоследствии, на основании изучения биологии, этнографии, истории, наблюдения за жизнью современного человеческого общества и вообще живого мира, к подобным же заключениям пришел П. А. Кропоткин, создавший биосоциологический закон взаимопомощи и солидарности.

Работая над своей программой, Бакунин в то же время, то

есть с конца 1864 года, погрузился в создание своего первого тайного международного революционного общества. Об этом свидетельствует как З. Ралли в своих воспоминаниях, так и сам Бакунин, впоследствии писавший, что в 1864 году он вместе с несколькими итальянскими друзьями «образовали интимный союз. Это первое социалистическое общество в Италии приняло название Союза Социалистической Демократии».

Первыми итальянцами, примкнувшими к Бакунину, были: Джузеппе Фанелли — архитектор по профессии и революционер по призванию; Северино Фриша — врач из Сицилии — сначала участник заговоров против Бурбонов, потом — походов Гарибальди; Карло Гамбуцци — неаполитанский адвокат; Себастиано ди Лукка — журналист; Альберто Туччи и Кармелло Палладино.

О том, как Бакунин вербовал членов в свое «Братство», рассказал в своих воспоминаниях профессор санскритского языка Губернатис, который был тогда еще молодым человеком и жил во Флоренции.

На вечерах у графа Пульского Губернатис внимательно слушал все, что говорил Бакунин о немецкой философии. Однажды, заметив пристальный интерес молодого ученого к своим речам, Бакунин приостановился со словами: «Но зачем я говорю вам об учении Шопенгауэра? Вот кто способен рассказать о нем больше моего, так как может показать, откуда Шопенгауэр заимствовал свои мысли».

«Я был застигнут врасплох, — пишет Губернатис, — и дал легко овладеть моей душой». Спустя некоторое время Бакунин, подойдя к нему, осведомился, не масон ли он и не мадзинист ли. Получив отрицательный ответ и выслушав пространные объяснения молодого человека о необходимости свободы, Бакунин крепко пожал ему руку со словами: «Ну, значит, вы наш, так как мы и работаем в этом направлении. Вы должны примкнуть к нашей работе». Я возражал, что желаю остаться свободным и хочу публично отвечать за все свои поступки. Тогда он пустил в ход все свое немалое красноречие и убедил меня, что ввиду мрачного заговора государств против интересов общества необходимо этому заговору противопоставить другой. Он говорил: «Реакционеры все действуют согласно, напротив, сторонники свободы рассеяны, разделены, несогласны; необходимо добиться их тайного соглашения в международном масштабе».

«Я немного противился еще, но, наконец, объявил, что если дело пойдет на социальную революцию непосредственную, то я вступлю в тайное общество».

Сила убеждений Бакунина так поразила Губернатиса, что, вернувшись домой, он не спал всю ночь, переживая «гнусность и бесполезность» своей прошлой жизни, убеждая себя в том, что был бы «тем более гнусен, если бы остался еще один час дольше» со своими республиканскими и революционными чувствами на государственной службе. Наутро он подал в отставку и все силы свои решил отдать тайному «Братству».

«Бакунин, видя мою решимость взяться за работу, поручил мне преподавать социальный Катехизис двум молодым людям, пользовавшимся тогда некоторым влиянием среди рабочих».[316]

Революционное увлечение Губернатиса продолжалось недолго, вскоре он вышел из «Братства» и уехал из Флоренции. Однако рассказ его важен не только как иллюстрация пропагандистских приемов Бакунина, но и как свидетельство того, что уже во Флоренции им были предприняты попытки проникновения со своей агитацией в рабочую среду. Условий для широкой деятельности среди рабочих в городе не было, поскольку не существовало еще здесь и фабричной промышленности, а рабочий вопрос находился, как свидетельствует Мечников, в «зачаточном состоянии».

Неаполь представлялся Бакунину более подходящим местом для его пропагандистских целей. Однако он не сразу перебрался туда. Во Флоренцию приехал брат его Павел Александрович с женой Натальей Семеновной.

Узы не только родства, но и духовной близости объединяли его с братом и особенно с новой родственницей, с которой он был знаком лишь по переписке.

Еще в 1861 году, вскоре после того как Наталья Семеновна стала женой Павла, она написала Михаилу Александровичу, что «будет работать в Премухине во имя той же святой свободы, которая ей дороже всего, и для того же бедного народа…». «Дай бог вам успеха во всем добром, — писала она в другом письме. — Я убеждена, что в душе мы хотим одного и того же и признаем ту же святую истину».[317]

Бесспорно, что гигантские революционные планы Бакунина не были доступны его родственникам, да и вряд ли он раскрывал им их, но общие разговоры о свободе между ними, конечно, велись. Воскресшая же с приездом брата тень премухинского мира была чрезвычайно приятна Михаилу Александровичу.

Лето 1865 года обе семьи провели в Сорренто. После отъезда Бакуниных-младших Антонина Ксаверьевна писала Наталье Семеновне: «Здесь жизнь течет спокойно и правильно по-прежнему. Встаем рано, Michel обливается и садится пить кофий да ест виноград — мы съедаем три ротоли в утро, — а я

отправляюсь купаться… Michel целое утро пишет, а я то читаю, то перевожу с итальянского на французский, то шью. В три часа Michel идет спать, в 4 я его бужу, в пять отправляемся купаться, а в шесть обедаем. В 7 часов отправляемся гулять; …в 9-м возвращаемся и пьем чай на террасе, а после чего Michel опять принимается за свою работу, а я за свою, я до 12, он до часу и даже до двух».[318]

Помимо работы над программой, Бакунин в это лето начал писать мемуары, аванс за издание которых он получил в последнюю поездку в Стокгольм. Однако писание это прекратилось с переездом в Неаполь, где новые конспирации и новые люди заняли все его время.

Поселились Бакунины на окраине города, в доме, расположенном на холме. Из окон их квартиры открывался вид на весь Неаполь, узкой лентой окаймлявший залив, и на величественный Везувий. Но красоты природы и архитектуры не волновали Бакунина, он не замечал их. Антонина Ксаверьевна, напротив, целыми днями просиживала на балконе, любуясь пейзажем, по вечерам же часто бывали в театрах и в гостях. В марте 1866 года она писала Н. С. Бакуниной: «Зима прошла для нас незаметно. Michel много и неустанно работал, а я веселилась. Наехало сюда много американских семейств, мы сблизились с некоторыми, Michel с мужчинами, хотя он от дам, а я от мужчин не прочь, но американские мужчины интересны, пожалуй, во всех других отношениях, только не в отношении к поворотливости — и Michel с ними очень подружился… устроил себе корреспонденцию с американским журналом, — что он туда пишет, не знаю. Ведь я политикой не занимаюсь».[319]

За время жизни в Неаполе Бакунин перестал идеализировать интеллектуальные возможности своей супруги. «Посмотрите на мою Тосю, — сказал он однажды Г. Н. Вырубову, — она у меня глупенькая и совсем не разделяет моих убеждений, но она очень мила, чрезвычайно добра и отлично переписывает мне важные рукописи, когда мне нужно, чтобы не узнали мой почерк».

Среди американцев, о которых пишет Антонина Ксаверьевна, был вице-консул Соединенных Штатов, Ф. С. Сальвадор. Пользуясь своим официальным положением, он выдал Бакунину паспорт, весьма нужный при его деятельности.

Документ этот выглядел довольно своеобразно.

> «Консульство Соединенных Штатов Америки
> Неаполь
> Всем, кому настоящее будет предъявлено, привет. Я, нижеподписавшийся, консул Соединенных Штатов

Америки, сим предлагаю всем, до кого это относится, чинить свободный пропуск дворянину Михаилу Бакунину, сопровождаемому его женой, в его путешествии по Италии, Германии, Франции и Испании. Предъявитель сего гражданин Соединенных Штатов, и прошу в случае надобности оказывать ему всякую законную помощь и покровительство.

Дано за моею подписью и с приложением моей консульской печати в Неаполе сего числа 15 апреля 1866 г. и в девяностый год независимости Соединенных Штатов Америки.

Ф. С. Сальвадор, вице-консул».

Далее вместо фотографии шли приметы: «Возраст — 51 год, рост — 6 1/2 футов англ. дюймов. Лоб — большой. Глаза — серые. Нос — обыкновенный… Волосы — седые. Цвет лица — светлый».[320]

В Неаполь к Бакунину с письмом от Герцена и Огарева приехал Григорий Николаевич Вырубов — ученый и публицист.

28 июня 1866 года Бакунин писал Герцену: «Несколько слов твоих через В[ырубова] получил и рад был с ним познакомиться. Он, кажется, порядочный человек. Напоминает мне своею контовскою доктриною мою юность, когда я горячку порол во имя Гегеля, так же как он порет ее теперь во имя позитивизма. Но Конт перед Гегелем впереди, — напрасно только молодой друг наш возводит его на степень абсолюта».[321]

Герцен характеризовал Вырубова как человека чистого и доброго, но «он доктринерством съел свое сердце и к окружающему относится, как адвокат или прокурор».

В первое время знакомства Бакунин как будто не вполне доверял Вырубову, и, когда — пишет последний — являлись к нему «странные таинственные личности, он объяснял, что у него важное совещание, и просил посидеть с Тосей, которая обыкновенно была на балконе и любовалась звездами… Она тотчас же закидывала меня целым рядом вопросов: сколько вообще звезд? Есть ли на них люди и какие они? Где конец мира и как создался этот мир? — и тому подобными неразрешимыми загадками, очень интересующими людей, ничем путным не занимающихся и не имеющих никакого серьезного дела».[322]

Вскоре, однако, Бакунин решил, что поклонник Конта вполне подходит к тому, чтобы стать членом «Братства». Однажды он вручил ему «объемистую рукопись» (очевидно, «Революционный катехизис»), попросив держать ее содержание в строгой тайне.

«На другой же день, — пишет Вырубов, возвращая Бакунину

этот странный документ, — я ему объяснил, что терпеть не могу политических конспирации… Но Бакунин не так-то легко выпускал из рук намеченную жертву.

— Вы видели, у нас есть члены-соревнователи, вовсе не обязанные вступать в какие-либо заговоры, а только помогающие словом или пером распространению наших идей. Вам надо непременно записаться в их число.

— Пожалуй, только вот эти клятвы на кинжалах очень уж мне не нравятся.

— И не нужно их! Это мы для итальянцев придумали; мы довольствуемся вашим словом. Согласны?

— При таких условиях согласен.

Он встал, торжественно провозгласил, что принимает меня в члены всемирного братства, крепко обнял и прибавил:

— Теперь, как новый брат, вы должны заплатить 20 франков.

При этом практическом финале я не мог удержаться от смеха, да и он улыбнулся своей доброй, приятной улыбкой».[323]

Если Вырубов принял бакунинскую проповедь скептически, то другая представительница русских в Неаполе, княгиня Зоя Сергеевна Оболенская, отнеслась к его идеям весьма восторженно. Это была экзальтированная дама, которая, по характеристике Вырубова, «представляла собой странную и только в России возможную смесь барского самодурства и ультракрайнего радикализма».

Из этих двух качеств Бакунин видел только последнее. «Она принадлежит к редкому числу тех женщин в России, — писал он, — которые не только сердцем и умом, но также и волей, а когда нужно и делом, сочувствуют нам».[324]

Муж Зои Сергеевны был московским гражданским губернатором и, как считал Бакунин, «честным фанатиком новоправославного, демократически-государственного, поляко-поедающего направления». Оставив его в России, княгиня забрала детей и обосновалась близ Неаполя, на острове Иския. Вместе со всем своим многочисленным штатом занимала она половину большой гостиницы. Тут были разноплеменные гувернеры и гувернантки, горничные, лакеи и даже привезенный из России домашний доктор.

Но «княжеская» эта жизнь продолжалась недолго. После того как Оболенская отказалась вернуться в Россию, швейцарская полиция по требованию ее мужа отобрала у нее детей, а русские власти лишили ее довольно крупного состояния. Вскоре вышла она замуж за Валериана Мрочковского. Бывший киевский студент польского происхождения, он участвовал в польском восстании, затем жил в Париже, а в 1865 году приехал в Неаполь, где,

познакомившись с Бакуниным, и вошел в его «Братство».

У княгини Оболенской собирались и другие русские, бывавшие в Неаполе. Встречался Бакунин здесь с братьями А. О. и В. О. Ковалевскими, с одним из которых, а именно Владимиром Онуфриевичем — знаменитым впоследствии ученым, познакомился еще в 1861 году в доме Герцена.

Этот чистый, искренний и глубоко порядочный человек в то время тяжело переживал клевету, опутавшую его имя. В революционной среде Петербурга и эмиграции был распущен слух о том, что он агент III отделения.

«Я просто теряюсь, когда подумаю, что достаточно одной сплетни, пущенной каким-нибудь скотом, — писал Ковалевский, — чтобы заставить подозревать человека, которого знают целые года. И знаете, какое одно из главных обвинений; зачем я не арестован, когда арестованы так многие. Этим людям, чтобы убедиться в том, что я не шпион, хотелось бы, чтоб меня выпороли в III отделении и сослали в каторжную работу, но доставить подобное доказательство я, по всей вероятности, воздержусь».[325]

Бакунин и Герцен пытались помочь Владимиру Онуфриевичу рассеять клевету. Для этого нужно было найти первоисточник слухов, что было совсем не просто. Н. И. Утин, публично обвинявший Ковалевского в доме Оболенской, отказался сообщить Бакунину источник своей информации. Тогда Бакунин ему заметил, «что обвинять громко человека в шпионстве, не называя своих источников и не приводя положительных доказательств, не благородно, не честно, а также и не совсем безопасно».[326]

Но подобные аргументы не могли убедить Утина. Человек этот, впоследствии сыгравший отрицательную роль в жизни Бакунина, был слишком самолюбив и склонен к интригам.

Сын миллионера, Николай Исаакович Утин учился в Петербургском университете, принимал деятельное участие в студенческом движении. Вскоре деятельность его перешла пределы университета. Он познакомился с И. Г. Чернышевским и стал одним из организаторов «Земли и Воли» и членом ее ЦК. В мае 1863 года, после ряда провалов, опасаясь ареста, он бежал за границу. Прибыв в Лондон, Утин до начала 1864 года занимался переправкой герценовских изданий, сотрудничал в «Колоколе». Однако подобная роль не устраивала его. «Он являлся, — писал по этому поводу П. Л. Лавров, — представителем существующей уже в России революционной организации, и, привыкнув к тому влиянию, которое он имел на университетскую молодежь Петербурга, даровитый и самолюбивый молодой человек

готовился не к подчиненной роли рядом со старыми эмигрантами».[327]

В этих условиях расхождение его с Герценом было неизбежно. Но формы разрыва бывают разные. В этом случае они были таковы, что дали Герцену основание писать потом об Утине как о «не совсем честном человеке» и называть его «самым лицемерным из наших заклятых врагов».

Из Лондона Утин направился в Брюссель, а затем в Швейцарию, где нашел кружок молодых русских эмигрантов, более импонирующих ему. Живя постоянно в Женеве, он бывал и в Неаполе и встречался с Бакуниным.

Михаил Александрович так же, впрочем, как и Огарев, проявлял значительно большую терпимость в отношениях с эмигрантской молодежью, чем Герцен. Происходило это не потому только, что его не смущали внешние манеры и часто малая эрудиция представителей нового поколения, а потому, что прежде всего его устраивал крайний радикализм их взглядов. Об этом вопросе, и в частности об отношениях с Утиным, нам придется говорить еще немало; теперь же остановимся на другом сюжете — отношении Бакунина со старыми друзьями, Герценом и Огаревым, в период жизни в Неаполе.

«Рознь в средствах, в путях, не в цели» — так формулировал Бакунин суть этих отношений. «Рознь» — была фактором постоянным, хотя форма ее и содержание также менялись с развитием деятельности и взглядов Бакунина. На этот раз Бакунин выступил против идеализации Герценом русской крестьянской общины.

Основоположник русского крестьянского социализма, Герцен считал общину тем звеном, в котором сосредоточивались элементы социалистических отношений в народной жизни.

Не отрицая роли общины в будущем социальном устройстве и в известной мере ориентируясь на нее, как на реально существующий институт, Бакунин вместе с тем видел в ней и черты консерватизма, служащие интересам самодержавного государства, видел и процесс разложения общины, которого не хотел замечать Герцен. Главное же, что возмущало Бакунина в позиции старых друзей, была в его представлении их ориентация на «мирный нереволюционный социализм». Вся линия «Колокола» не устраивала его.

Годы, наступившие после подавления польского восстания, были трудными для издателей «Колокола». Российские либералы, ловившие прежде каждое слово из Лондона, теперь, в условиях торжествующей реакции, отвернулись от того, чему поклонялись так недавно. Революционную же разночинную аудиторию

«Колокол» не удовлетворял. Молодая эмиграция требовала создания вокруг «Колокола» практического центра для руководства движением, своего участия в редакции, решительного революционного тона. Герцен считал невозможным менять лицо и тон журнала. Его программа в этом смысле оставалась прежней: слово, совет, анализ, обличение, теория.

Бакунин в этом споре тяготел к тем, кто хотел революционизировать «Колокол». Говоря своим друзьям о том, что звуки их «Колокола» рождаются теперь почти в пустыне и что благовестит он не то, что следует, он предлагал им или прекратить издание, или принять иное направление и прежде всего решить, к кому обращаться. «Народ не читает, следовательно, вам действовать прямо на народ из-за границы невозможно. Вы должны руководить тех, которые положением своим призваны действовать на народ… Ищите публики новой, в молодежи, в недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в нигилистах — в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля».

Обращаться же к правительству или к «лысым друзьям-изменникам» бессмысленно, писать же статьи вроде 1 мая нынешнего года «из рук вон плохо».

В статье, особенно возмутившей Бакунина, Герцен осуждал покушения на Александра II.

4 апреля 1866 года Дмитрий Владимирович Каракозов у Летнего сада в Петербурге стрелял в императора. Находившийся в толпе крестьянин Комиссаров толкнул руку стрелявшего. Покушение не удалось.

«Выстрел 4 апреля был нам не по душе, — писал Герцен. — Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую брал на себя какой-то фанатик. Мы вообще терпеть не можем сюрпризов ни на именинах, ни на площадях: первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами».

И далее: «Сумасшедший, фанатик или озлобленный человек из дворян стреляет в государя; необыкновенное присутствие духа молодого крестьянина, резкая быстрота соображения и ловкость его спасают государя».[328]

«Ни за что в мире я не бросил бы в Каракозова камня и не назвал бы его печатно „фанатиком или озлобленным человеком из дворян“», — отвечал Бакунин.

«Я так же, как и ты, не ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивлюсь отнюдь, что не все разделяют это

мнение и что под тягостью настоящего невыносимого, говорят, положения нашелся человек, менее философски развитый, но зато и более энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно разрезать одним ударом. Несмотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его „нашим“ перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников. В противовес сему ты в той же статье восхваляешь „необыкновенное“ присутствие духа молодого крестьянина, редкую быстроту соображения и ловкость его. Любезный Герцен, ведь это из рук вон плохо, на тебя непохоже, смешно и нелепо».[329]

С откровенностью друга критикуя позицию Герцена, Бакунин рассказывал и о своей деятельности, не без задней мысли противопоставить свои масштабы, свои революционные успехи пропаганде издателей «Колокола».

Рассказывая об устройстве тайного интернационального общества и пересылая его программу, он писал: «После трехгодовой трудной работы я добился положительных результатов. Есть у нас друзья в Швеции, в Норвегии, в Дании, есть в Англии, в Бельгии, во Франции, в Испании и в Италии; есть поляки, есть даже несколько русских.

Весь народ, особливо в Южной Италии, массами валит к нам, и бедность наша не в материале, а в числе образованных людей».[330]

Здесь, конечно, явное преувеличение. Народ массами не валил, да и далеко не во всех перечисленных странах существовали члены «Братства». Их численность вообще не достигла 70 человек, то есть количества, необходимого для созыва учредительного съезда. Но дел у Бакунина, как всегда, было масса.

Прежде всего и главным образом он был поглощен усовершенствованием своей программы и пропагандой идей «Интернационального братства». Но наряду с устной пропагандой и изданием нелегальных листков «Ситуации», рассчитанных на итальянских читателей, он вел и большую литературную работу на страницах газеты «Свобода и справедливость».

Лондон. Вторая половина XIX века.

А. И. Герцен.

Н. П. Огарев.

Г. А. Вырубов.

А. Рейхель.

П. А. Бакунин, брат М. А. Бакунина.

П. А. Бакунин. Рис. Н. С. Бакуниной.

Н. С. Бакунина. Автопортрет.

Н. С. Бакунина жена П А Бакунина.

Неаполь. Вторая половина XIX века.

Флоренция Вторая половина XIX века.

Джузеппе Гарибальди.

Джузеппе Мадзини.

Цюрих. Вторая половина XIX века.

Женева. Вторая половина XIX века.

Лион. 1872 г.

М. А. Бакунин.

М. А. Бакунин с женой А. К. Бакуниной.

М. П. Сажин (Арман Росс).

З. К. Ралли.

С. Г. Нечаев.

Н. А. Герцен, дочь А. И. Герцена.

М. А. Бакунин.

Автограф письма М. А. Бакунина Набруцци. 1872 г.

М. А. Бакунин в последние годы жизни.

Следуя правилам «Революционного катехизиса», он всю свою деятельность подчинил главной задаче — служению интересам «Интернационального братства». Обещание, данное им К. Марксу о пропаганде документов и идей Международного товарищества рабочих, казалось, не беспокоило его.

Но Маркс был встревожен отсутствием известий от человека, взявшего на себя определенные обязательства.

Наконец на третье письмо Маркса Бакунин послал ответ, в котором ссылался на трудности работы в Италии при отсутствии средств, при разочарованности и скептической настроенности масс, наступившей после стольких ошибок итальянских демократов. «Только социалистическая пропаганда — последовательная, энергичная и страстная — может еще вернуть этой стране жизнь и волю.

…Мадзини сильно ошибается, если по-прежнему исходит из Италии. Англия, Франция, возможно, и Германия, но две первые бесспорно, если говорить только о Европе, а эта великолепная Северная Америка — вот настоящий интеллектуальный центр

человечества, где разыграется драма. Остальные пойдут на буксире».[331]

Было ли это письмо искренним? Конечно, нет. Бакунин хитрил, скрывал свои взгляды и, чтобы отвлечь внимание от своей деятельности в Италии, сообщал, что «инициатива нового движения» начнется не там. Единственно, что в его действиях приносило пользу Интернационалу, была борьба против влияния Мадзини, за которой с интересом следил Маркс.

4 сентября 1867 года, пересылая Энгельсу номер итальянской газеты, он писал, что там «имеется очень удачная атака на *Мадзини*. Полагаю, что к этому причастен Бакунин».[332]

В середине 1867 года деятельность Бакунина в Неаполе подошла к логическому завершению. Рассчитывать на расширение состава «Интернационального братства» и в этом городе больше не приходилось. Его давно уже влекла Швейцария как центр эмиграции, и в частности русской. В сентябре чета Бакуниных перебралась в Женеву.

ГЛАВА VII
«АЛЬЯНС»

Реакционеры все действуют согласно, напротив, сторонники свободы рассеяны, разделены, несогласны; необходимо добиться их тайною соглашения в международном масштабе.

М. Бакунин

Женева была традиционным городом международных конгрессов. Теперь, в середине 1867 года, когда в буржуазно-демократических кругах Западной Европы в связи с угрозой войны между Францией и Пруссией возникла идея создания международной пацифистской организации, местом проведения ее I конгресса стала столица Швейцарии.

Конгресс, начавшийся 9 сентября 1867 года, стал крупным событием в жизни Европы. Легендарные биографии и мировая слава ряда делегатов привлекали толпы любопытных. На улицах Женевы, убранных зеленью и флагами, народ встречал и провожал до Избирательного дворца наиболее известных из них.

Восторженными возгласами был встречен Гарибальди, ехавший в открытом экипаже и махавший шапочкой в ответ на приветствия толпы.

Шесть тысяч человек заполнили огромное здание Избирательного дворца. После вступительной речи председателя конгресса Жюля Барни один за другим на трибуну стали подниматься представители различных организаций и рабочих союзов. Их программные требования чаще всего были утопичны и не всегда аргументированы, но слушатели в массе не замечали этого.

В работе конгресса принял участие и Бакунин. Еще в июне узнал он из опубликованного манифеста Лиги мира и свободы о предстоящем событии. Ему особенно понравилось то, что среди тех, кто поддержал созыв пацифистского конгресса, было много деятелей 1848 года и вообще лиц широко известных в демократических и либеральных кругах Европы, таких, как Луи Блан, А.-М. Альбер, Виктор Гюго, Пьер Леру, Эдгар Кине, Эли и Элизе Реклю, Жюль Фавр, И.-Ф. Беккер, Джузеппе Дольфи, Гарибальди.

Международный конгресс, представлявший подобные круги, мог, по мнению Бакунина, стать подходящей ареной для пропаганды идей «Интернационального братства».

Появление Бакунина в зале заседания было встречено овацией. В первый же день он был избран вице-президентом конгресса и занимал место на эстраде в президиуме. Там же находился и Н. П. Огарев.

С речью он выступил на второй день заседания — 10 сентября. Само появление его и выступление были весьма эффектны. Вот как описал это событие присутствовавший там Г. Н. Вырубов. «Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, как всегда неряшливо одетый в какой-то серый балахон, из-под которого виднелась не рубашка, а фланелевая фуфайка, раздались крики: „Бакунин!“ Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Несмотря на то, что в огромном зале было немало противников, все встали, и восторженным рукоплесканиям не было конца. На другой день Бакунин произнес блестящую речь, которая, как всегда, имела шумный успех. Если оратором считать того, кто удовлетворяет требованиям литературно образованной публики, изящно владеет языком и в речах которого можно всегда найти начало, середину и конец, как поучал Аристотель, — Бакунин не был оратором; но он был великолепным народным трибуном, умение говорить массам постиг в совершенстве и, что всего замечательнее, говорил им одинаково убедительно на разных языках. Его величавая фигура, энергичные жесты, искренний, убежденный тон, короткие, как бы топором вырубленные фразы — все это производило сильное впечатление».[333]

О чем же говорил этот «народный трибун»? Он высказывался за поражение самодержавной России в любой войне, предпринятой царизмом, ибо всегда «неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластия».

Но революционное пораженчество было не единственным содержанием его речи. Последние слова он обратил против централизованных государств вообще.

«Всеобщий мир невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиться единства свободные, организованные снизу вверх,

свободной федерацией общин в провинцию, провинций в нацию, наций в Соединенные Штаты Европы».[334]

«Продолжительные возгласы сопровождают последние слова гражданина Бакунина, который, возвращаясь на свое место, принимает горячие поздравления от своих коллег», — сообщает протокол конгресса.

Успех речи Бакунина не означал, однако, что все делегаты были согласны с ним. Единства мнений вообще не было в этой организации. Программу Лиги должен был выработать комитет к следующему заседанию конгресса (через год). В числе других членом комитета был избран Бакунин. Здесь он оказался среди революционно-демократического меньшинства, так как большинство принадлежало буржуазным либералам. Но это обстоятельство не смущало его и не останавливало решительных намерений использовать Лигу для пропаганды своих идей. Под маркой Лиги хотел он выпустить брошюру против Мадзини, а работу «Федерализм, социализм и антитеологизм» предложить Лиге в качестве программной.

В работе этой, развивая основные мысли «Революционного катехизиса», он конкретизировал отдельные положения, представил их в новом аспекте. Важным моментом стала конкретизация доселе неясно выраженного в его работах социологического термина «народ», а также выяснение роли мелкой буржуазии. Отметив, что крупная буржуазия «давит, пожирает и толкает в бездну» мелкую, Бакунин делал логический вывод о ее естественной революционности и о том, что у нее нет другого спасения, «кроме союза с народом, и что она заинтересована в социальном вопросе не менее и с той же стороны, что и народ.

…Но инициатива нового движения будет принадлежать народу, а не ей: на западе — фабричным и городским рабочим, у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских земель — крестьянам».[335]

Интересно в этой работе и обоснование анархического социализма, который он противопоставляет доктринерскому, основанному «двумя замечательными людьми Сен-Симоном и Фурье». Признавая одну сторону их учений — глубокую, научную, строгую критику современного общественного строя, он обвиняет их в регламентации будущего. «Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты — все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были более или менее государственники».

Один лишь Прудон создал безгосударственную форму социализма, которую теперь Бакунин и предлагал принять

комитету, вырабатывающему программу Лиги.

«Убежденная в том, что свобода без социализма — это привилегия и несправедливость, а социализм без свободы — это рабство и животное состояние, Лига громко провозглашает во всеуслышанье необходимость коренного социального и экономического преобразования, имеющего целью освобождение народного труда из-под ига капитала и помещиков и основанного на строжайшей справедливости, не юридической, не теологической, а просто человеческой, на положительной науке и на самой неограниченной свободе».[336]

Несмотря на всю радикальность линии, предложенной Бакуниным комитету, некоторых успехов он сумел добиться. Так, программа, принятая комитетом после почти годичных споров и обсуждений, признавала, что «нынешняя экономическая система подлежит коренному изменению».

Заставить мирных буржуазных либералов не только принять, но даже понять подобные идеи было чрезвычайно трудно. Ведь среди тех, кого приходилось убеждать, были люди, подобные члену комитета Карлу Грюну. Этот немецкий либеральный деятель, в свое время участник революции 1848–1849 годов, не мог понять идей Бакунина и даже усвоить его терминологию. Встретившись со старым знакомым, он более всего был поражен не его новыми мыслями, а его внешним видом и его молодой женой.

«Он поседел, одежда на нем была в беспорядке, высокий стан согбен, рот без зубов, но в остальном он не изменился, больше того — стал еще сердечнее, благодушнее, внимательнее. Он показал мне свою маленькую жену… я с трудом сохранил серьезность. Эта маленькая, худенькая полька рядом с русским богатырем едва доставала ему До груди. Точно пони рядом со слоном в цирке. Он отправил жену с каким-то молодым русским в театр, а для нас заказал настоящего китайского чаю с настоящим коньяком, и мы долго болтали… Потом он взял меня за руку: „Все-таки хорошо, что мы снова увиделись и в принципе так единодушны, атеизм, коммунизм…“, третий „изм“ я забыл, но это был не нигилизм, а нечто вроде „агамизма“ или что-то в этом роде по смыслу».[337]

Речь шла, конечно, об антитеологизме, но это уж было слишком сложно для Грюна. Внешнюю сторону дела он, очевидно, описал правильно.

В эти годы Бакунин стал резко стареть, перестал совсем следить за своей одеждой.

По приезде в Швейцарию поселились Бакунины на живописных берегах Женевского озера в Вене. Быт им здесь

удалось организовать хуже, чем в Неаполе. Денег не было: нерегулярный литературный заработок не мог обеспечить жизни, а материальная помощь, оказываемая ранее княгиней Оболенской, иссякла, так как сама она оказалась в весьма трудном положении.

И Михаил Александрович и Антонина Ксаверьевна писали в Премухино, прося братьев выделить его долю наследства или сообщить хотя бы, на что они могут рассчитывать. «Я нахожусь в беде, и Вы, если только есть маленькая возможность, должны мне помочь. В долгу, как в шелку, а денег ни гроша… Объясните, определите мое положение и один раз навсегда напишите мне: есть ли у меня что-нибудь? 0 или +? Если же +, то сколько именно, и в какое время, и на каких условиях я могу его получить. Я буду счастлив, если он окажется достаточным, чтоб освободить меня от долгов. А я должен теперь около 12 000 франков».[338]

Ни ответа, ни денег из России не приходило. Это обстоятельство, конечно, осложняло жизнь Бакунина, но не настолько, чтобы отвлечь его от главного занятия — расширения состава «Интернационального братства», пропаганды его идей в любой среде, которая казалась подходящей ему. С этой целью, помимо работы в Лиге и среди русской колонии, он посещал и собрания швейцарских рабочих, произносил речи на митингах: призывал, вдохновлял, объяснял. Барон Н. Врангель, встретившийся с ним на одном из таких митингов, эмоционально и вместе с тем иронически пишет о том, как на трибуну, обтянутую красным кумачом и украшенную швейцарскими флагами, тяжело поднялся этот «народный трибун», постоял несколько секунд безмолвно и заговорил.

«Громкие слова, возгласы, удары грома, рычанье льва, сверкание молнии, рев бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Этот человек… был создан для революции. Революция была его естественная стихия, и я убежден, что, буде ему удалось бы перестроить какое-нибудь государство на свой лад, ввести туда форму правления своего образца, он на следующий же день, если не раньше, восстал бы против собственного детища, и стал бы во главе своих политических противников, и вступил в бой, дабы себя же свергнуть».[339]

При всей парадоксальности этой характеристики она верно подчеркивает неукротимую революционную страстность натуры Бакунина, которая ничуть не угасала с годами, а даже, напротив, становилась ярче. Да и интеллектуальные способности его после пятидесяти лет получили не только новое направление, но и новое восходящее развитие. Тот спад умственной жизни, который

пережил он в годы тюрьмы и ссылки, остался далеко позади. И может быть, потому, что силы его оставались неизрасходованными столько лет в цветущую, зрелую пору его жизни, он теперь, уже, казалось бы, на закате, снова рос: постигал новые горизонты, отбрасывал старые свои же схемы.

«В продолжение трех лет, — писал он родным, — я успел очистить свой ум от последних остатков гнилого спиритуализма, а теперь занимаюсь освобождением его от всякого доктринаризма».

В Женеве, сообщал он в том же письме, нашел «живую русскую и интернациональную среду».

Среду эту представляли молодые революционеры 60-х годов, эмигрировавшие из России. Здесь были в прошлом члены Центрального комитета «Земли и Воли», а теперь участники международного и русского революционного движения Н. И. Утин и А. А. Серно-Соловьевич; видный деятель движения 60-х годов, транспортировавший в Россию издания «Вольной русской типографии», Н. И. Жуковский; революционно настроенные эмигранты супруги В. И. и Е. Г. Бартеневы; участник польского восстания 1863 года А. Д. Трусов; О. С. Левашева; издатель-эмигрант, владелец русской типографии в Женеве, а затем в Цюрихе М. К. Элпидин и многие другие.

Молодая эмиграция сначала нравилась Бакунину.

Он увидел в них «пионеров новой правды», вполне подходящих к тому, чтобы привлечь их к «Интернациональному братству». «Для начала, — пишет Ралли, — он обратился с этой целью к Ник. Иван. Жуковскому, который привлек за собой Н, Утина, Ольгу Левашеву и еще нескольких „дам“… Сформировался в Женеве следующий кружок: Н. И. Жуковский, Н. Утин, С. Жеманов, М. Элпидин, О. Щербаков и „дамы“. Кружок этот, по предложению Бакунина, должен был дать ему людей для образования интернациональной ветви русских братьев».[340]

С января по октябрь 1868 года многие члены этого кружка снимали комнаты в одном доме с Бакуниным, образовав нечто вроде небольшой русской колонии. Там, по словам Бакунина, были: «Жуковский с женой, г-жа Левашева, сестра Жуковской, княжна Оболенская, Мрук (Мрочковский), Загорский. Затем прибавился Утин с женой».

Николай Иванович Жуковский близко сошелся с Бакуниным. «Жука я люблю, — писал о нем позднее Михаил Александрович Огареву, — он артист, и за ним водятся разные артистические блохи, но у него есть сердце, и много сердца».[341]

Сотрудничество с Жуковским дало свои плоды. Была основана газета «Народное дело». Историю возникновения газеты

и степень своего участия в ней Бакунин изложил следующим образом: «Жук в то время предложил мне основать русскую газету. Муж г-жи Левашевой дал для этой цели тысячу рублей Жуку. Но г-жа Левашева, которая возгорелась безумной страстью к Утину, хотела, чтобы последний принял участие в редакции газеты. Между нами и Утиным было абсолютное несходство — не идей, ибо, собственно, Утин никогда не имел никаких идей и говорил, что мы должны принять принципы, какие русская молодежь найдет нужным в нас влить, — было абсолютное несходство характеров, темпераментов, целей. Мы хотели само дело, Утин заботился только о себе. Я долго противился всякому союзу с Утиным. Наконец я устал и уступил, и после короткого опыта, так как деньги были собственно г-жи Левашевой, я оставил Утину газету вместе с ее названием».[342]

Однако «короткий опыт» был. Выразился он в первом номере «Народного дела», в основном принадлежащем перу Бакунина. Вышел он в начале сентября 1868 года, начинался с «Нашей программы», написанной Бакуниным вместе с Жуковским и повторяющей основные идеи «Революционного катехизиса».

Опубликование этой программы сразу же проложило резкую черту между Бакуниным и молодой эмиграцией.

Революционная молодежь, сформированная под идейным влиянием Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, оказавшись в эмиграции, примкнула к рабочему движению, пошла за идеями Международного товарищества рабочих.

Русская секция Интернационала оформилась в 1870 году, но уже в 1868 году ее будущие участники определили свое отношение к делу, которым руководил Маркс. Так, выражая мнение этой группы эмиграции, А. А. Серно-Соловьевич писал Марксу 20 ноября 1868 года:

«Итак, следует признать: а) что движение очень сильно; б) что движение сильно лишь благодаря существованию Интернационала; в) что со всех сторон делаются попытки погубить Интернационал и г) что сила движения в стране находится в прямом отношении к силе Интернационала».[343]

Приняв линию Интернационала, эти молодые люди, естественно, должны были выступить против Бакунина. Случилось это не сразу, так как обаяние личности, легендарная слава да и само отношение старого революционера к молодежи первое время сглаживали противоречия. Но после выхода «Народного дела» те, кто не был согласен с ним, не могли более молчать.

Критику Бакунина возглавил Утин, его поддержали Трусов и Бартенева. Серьезнейшая борьба, завязавшаяся с этого времени

между Бакуниным и Утиным, была основана не только на идейной основе. В большом количестве и главным образом со стороны Утина в нее были привнесены элементы склоки, интриги, лжи.

Но об этом еще придется говорить ниже, теперь же вернемся к осени 1868 года, когда вышел первый номер «Народного дела».

21 сентября в Берне собрался II конгресс Лиги мира. Большинство его представляли, по характеристике Бакунина, радикальные доктринеры, свободные мыслители, эмансипированные женщины, либеральные пасторы и тому подобные буржуазные либералы разных сортов.

Ясно было, что призывы Бакунина не будут иметь здесь ни малейшего успеха. Однако он решил проводить свою линию и в этой аудитории до конца. В первой речи, развив свои программные тезисы, он придал им на этот раз ярко выраженный антигосударственный, анархический смысл. Он обрушился на государство, как институт, в корне противоречащий человеческой свободе, справедливости, всеобщей солидарности человечества. Он призывал всех, кто хочет полного и совершенного освобождения народа, к разрушению всех государств и основанию на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран.

Ни это и ни последующие его выступления на заседании конгресса не могли вдохновить депутатов. Убедившись в тщетности усилий расшевелить этих «узколобых доктринеров», Бакунин и его сторонники 25 сентября подписали «Коллективный протест членов, вышедших из состава конгресса». Подписей было пятнадцать. Среди них известные уже члены «Братства» Элизе Реклю, Туччи, Фанелли, Фриш, Жуковский, Мрочковский, Загорский, друг Бакунина — лионский революционер Альбер Ришар и еще несколько человек, симпатизировавших этому направлению.

Так, наконец, Бакунин покончил с неудачной затеей пропаганды своих идей в столь чуждой интересам народа среде. «К стыду своему, — писал он позднее, — я участвовал в этой буржуазной лиге и в продолжение целого года имел глупость не отчаиваться обратить ее к принципам социализма».[344]

Но пока он предпринимал эти тщетные попытки, Международное товарищество рабочих росло, крепло и завоевывало все новых сторонников.

Дальнейшая революционная работа вне Интернационала, за которым шли рабочие большинства европейских стран, была бессмысленной, Бакунин понял это и в июле 1868 года вступил в Женевскую секцию Международного товарищества рабочих. Но

этого ему было совершенно недостаточно. Не рядовая работа в Интернационале на основе его принципов, а пропаганда через Интернационал своих взглядов, распространение их среди широких кругов рабочих — такова была его задача. Для этого недостаточно было войти в Интернационал самому, нужно было ввести и свою организацию, создать там определенный перевес сил. Так, приступая к активной работе в Интернационале, Бакунин с самого начала собирался действовать вопреки его принципам, его программе.

Маркс и Энгельс создавали программу Международного товарищества рабочих на основе изучения закономерностей развития капиталистического общества и научного предвидения перспектив классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом.

Идеи, вносимые в рабочее движение Бакуниным, были принципиально противоположны научному социализму.

В вопросах же организации рабочего движения бакунизм был прямо враждебен марксизму.

Единству действий международного пролетариата, обеспечиваемому Генеральным советом Интернационала, пролетарской партийности Бакунин противопоставил «автономию секций», с одной стороны, и тайную, строго законспирированную организацию внутри Интернационала — с другой.

После ухода с Бернского конгресса Лиги Бакунин собрал своих сторонников и предложил им основать особый союз под названием «Альянс социалистической демократии (или социалистов-революционеров)», который вошел бы в Интернационал на правах самостоятельной организации.

Бакунин хотел представить «Альянс» и его программу как нечто новое, образованное и сформированное теперь, после разрыва с Лигой. Однако дело обстояло иначе. По существу, «Альянс» был лишь новой формой «Интернационального братства». Последняя редакция программы «Интернационального братства» сообщала, что принципы этой организации «тождественны принципам программы „Международного альянса социалистической демократии“», а организация «Братства» имеет три степени:

1) интернациональные братья, 2) национальные братья, 3) полутайная, полуоткрытая организация Международного альянса.

Из последнего пункта явствует, что с самого начала Бакунин задумал «Альянс» как «полутайную» организацию, что вполне соответствовало его тактике борьбы путем создания международного тайного общества как единственно действенного средства в условиях международного союза реакции.

Была ли подобная тактика верной, политически и морально оправданной? Нет. Ни объединение международных сил реакции, ни насущная необходимость объединения всех революционных сил не делали неизбежным и нужным создание тайного союза. Напротив, именно эти обстоятельства и требовали гласной, открытой борьбы.

«Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии»[345] — так писали К. Маркс и Ф. Энгельс еще в 1848 году.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».[346]

Эти заключительные слова «Манифеста Коммунистической партии» — образец ясной революционной тактики, исходящей из веры в творческие возможности рабочего класса, из истинного уважения к народу, наконец, из трезвой оценки расстановки классовых и политических сил.

Однако принципы и тактика научного коммунизма, естественно, не могли быть приемлемы для мелкобуржуазной теории и тактики Бакунина, исходившего из идеалистических посылок.

Сохраняя в тайне истинные задачи «Альянса», Бакунин решил во что бы то ни стало ввести свою организацию в Международное товарищество рабочих.

Определенные основания для надежд на успех этого предприятия у него были.

Статья первая Устава Интернационала сообщала, что в Международное товарищество принимаются все рабочие союзы, стремящиеся к одной цели — взаимной помощи, прогрессу и полному освобождению рабочего класса.

Такая широта при определении принципа приема в Интернационал различных рабочих организаций объяснялась уровнем рабочего движения того времени. Часть рабочих шла еще за мелкобуржуазной утопией Прудона. Его мирный анархизм, отрицание всякого государства, в том числе и демократического, его догматическое учение о бесплодности для рабочего класса политической борьбы, его пропаганда кредита и взаимной помощи все еще находили немалый отклик среди рабочих Франции, Швейцарии, Бельгии, Испании и соответственно были

представлены в Интернационале.

Наряду с прудонизмом в Международном товариществе существовали и другие направления, как тред-юнионизм, лассальянство и пр.

«Международное Товарищество Рабочих, — писал Энгельс, — поставив себе целью сплотить воедино разрозненные силы мирового пролетариата и стать таким образом живым выразителем общности интересов, объединяющих рабочих, неизбежно должно было открыть доступ социалистам всех оттенков».[347]

Надеясь на широту принципов и демократизм Устава Интернационала, Бакунин и решил направить Генеральному совету программу «Альянса» с просьбой принять эту организацию в Международное товарищество.

Ответ по этому вопросу поручено было составить К. Марксу. 15 декабря 1868 года, посылая программу «Альянса» Ф. Энгельсу, он писал: «Прилагаемый документ, несмотря на его нелепость, прошу тебя изучить *серьезно,* написать мне *свои замечания по-французски* и *вернуть мне его, самое позднее, в ближайшую субботу.*

Г-н Бакунин, — …орудует за кулисами в этой истории…

…Сегодня вечером в нашем Генеральном Совете царило, особенно среди французов, сильное возмущение по поводу этого документа.

…Совет постановил… *публично* дезавуировать в Париже, Нью-Йорке, Германии и Швейцарии это контрабандное общество. Мне поручено… составить постановление об отказе признать это общество».[348]

«Женевский документ очень наивен, — отвечал Энгельс. — … Интернационал не может согласиться на это шарлатанство, это ясно, как день. В этом случае было бы два генеральных совета и даже два конгресса; это — государство в государстве, и с первой же минуты вспыхнул бы конфликт между практическим советом в Лондоне и теоретическим, „идеалистическим“, советом в Женеве.

…Как и ты, я считаю все это дело мертворожденным, чисто женевским доморощенным детищем. Оно стало бы жизнеспособным лишь в том случае, если бы вы чересчур свирепо обрушились на него и тем придали бы ему значение. Я полагаю, что лучше всего было бы спокойно, но твердо отклонить претензию этих людей пробраться в Интернационал… Так как, попросту говоря, у молодцов этих никакого другого поля деятельности, кроме *болтовни,* нет, то они очень скоро до смерти надоедят друг другу, и так как можно думать, что притока со стороны… у них не будет, то вся эта мелочная лавочка,

несомненно, вскоре развалится сама собой. Если же ты резко выступишь против этой русской интриги, то без пользы для дела взбудоражишь весьма многочисленных среди рабочих (особенно в Швейцарии) идейных мещан и повредишь Интернационалу…

Ничего более жалкого, чем эта теоретическая программа, я никогда не читал».[349]

Скептически отнесясь к Бакунину, Энгельс явно недооценил известной силы этого «наивного женевского» документа для мелкобуржуазной и отсталой рабочей среды. Недооценил он и энергию Бакунина. Однако советы его о тоне ответа имели большой смысл, и Маркс вполне согласился с ними. Отказ «Альянсу» был составлен «дипломатически».

А тем временем Бакунин, еще не знавший об отрицательном ответе и желавший, напротив, заручиться поддержкой Маркса, направил ему письмо, воспользовавшись вопросом, который задал о нем Маркс в письме к А. А. Серно-Соловьевичу. Сам Маркс в письме к Энгельсу так объяснял обстоятельства, при которых он задал этот вопрос:

«…Русский Серно в своей прежней переписке с Боркхеймом был решительно *против* Бакунина. В *моем* ответе Серно я хотел использовать этого юношу для получения сведений о Бакунине… Русский Серно тотчас же поспешил передать содержание этого письма Бакунину, и последний пользуется им для сентиментального вступления!»[350] Звучало оно следующим образом:

«Мой старый друг, — писал он, — Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая касалась меня. Ты спрашиваешь его — остался ли я по-прежнему твоим другом. Да, и даже более чем когда-либо, дорогой Маркс, потому что лучше, чем когда-нибудь, я понимаю теперь, до какой степени ты был прав, следуя сам и приглашая нас идти по проторенной дороге экономической революции и резко порицая тех из нас, которые сбивались на тернистый путь либо национальных, либо исключительно политических действий. Я делаю теперь то, что ты начал уже 20 лет тому назад. С тех пор как я торжественно и публично распрощался с буржуа на Бернском конгрессе, я не знаю другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Мое отечество будет теперь Интернационал, одним из главных основателей которого ты являешься. Итак, ты видишь, дорогой друг, что я — твой ученик, и я горжусь этим». После этой «сентиментальной» и, безусловно, неискренней части письма Бакунин переходил к делу: «…Ты пишешь, что мы на Бернском конгрессе неверно ставили вопрос, когда говорили об уравнении классов и личностей. Замечание это вполне справедливо в отношении терминов,

формулировки, которую мы употребили, но эта формулировка была нам, так сказать, навязана глупостью и совершенной неспособностью нашей буржуазной аудитории». Далее Бакунин отмежевывался от политической линии Герцена, которая была неприемлема для Маркса («между мной и им нет абсолютно никакой солидарности»), и сообщал, что посылает Марксу программу «Альянса», «который мы основали вместе с Беккером и со многими итальянскими, польскими и французскими друзьями. По этому вопросу нам придется еще много говорить».[351]

На это письмо Маркс не ответил.

Узнав об отказе Генерального совета, Бакунин снова обратился в Интернационал с просьбой принять отдельные секции «Альянса» на том условии, что сама организация как международная будет распущена, но отдельные секции Швейцарии, Испании, Италии и Франции войдут в соответствующие секции Интернационала. Но это был всего лишь маневр. Однако большинство деятелей рабочего движения приветствовали такое решение.

Эту точку зрения разделял и будущий ближайший соратник Бакунина Джемс Гильом. В рабочее движение Гильом пришел лишь недавно, в 1865 году. Взгляды его, сформировавшиеся под идейным влиянием Фейербаха, Дарвина, Фурье и Прудона при непосредственном наблюдении жизни и борьбы рабочих Швейцарии, были близки к мировоззрению Бакунина.

Встретились они впервые в 1867 году на конгрессе Лиги мира, но познакомились ближе лишь спустя год, когда Гильом приехал в Женеву на конгресс Романской федерации. Узнав, что Гильому негде остановиться, Бакунин пригласил его к себе. «Бакунин сразу очаровал меня своим обращением. Я пробыл у него на квартире в этот раз только два дня, но и этого времени было вполне достаточно, чтобы у меня с Бакуниным установились самые дружеские отношения, несмотря на разницу наших лет».[352]

Гильому было тогда 24 года, и, конечно, Бакунин оказал на него известное влияние. Сам Гильом так писал об этом впоследствии:

«Я обязан Бакунину следующим: до знакомства с ним я считал себя стоиком и был занят главным образом вопросом о нравственном усовершенствовании своей личности… Под влиянием Бакунина я отказался от этого, я понял, что лучше направить свои усилия к моральному усовершенствованию по пути более человеческому, более общественному, я решил искать основу морали в коллективном сознании людей, объединенных общностью пропаганды и революции».[353]

Но, несмотря на это влияние и солидарность во взглядах, Гильом первое время не был согласен с Бакуниным в необходимости существования «Альянса» в недрах Интернационала.

Многие члены «Братства», весьма близкие к Бакунину в последние годы, также выражали свое несогласие со столь сложной организацией. Бакунин же продолжал настаивать на своем.

В конце 1868 — начале 1869 года он предпринял поездку по Швейцарии с чтением лекций в рабочей среде о целях и задачах «Альянса». Но и эта пропаганда не принесла ему успеха.

Тогда в январе 1869 года он созвал в Женеве съезд «Интернационального братства», на котором произошел раскол между ним и большинством его последователей. Причина была, очевидно, в том, что братья не хотели перенесения деятельности в среду Интернационала. Упрекали они Бакунина и в диктаторстве. О разногласиях этих мы можем судить лишь по письму, которое послал Бакунин своим недавним друзьям, расставшись с ними. В этом послании, объявляя о своем выходе из «Братства», он, в частности, писал: «Человек, окруженный внешними врагами и препятствиями, должен обладать внутренней уверенностью. У меня нет уже этой уверенности, ни этого доверия, и вот почему я ухожу. Вы не скажете, что своим уходом я совершаю акт власти или диктатуры… По моему глубочайшему убеждению, диктатором не юридическим, а фактическим является и всегда будет являться тот, кто действует, и лишь постольку, поскольку он действует в интересах общества». [354]

«Братство» прекратило свое существование. А тем временем из Генерального совета на второе ходатайство Бакунина о принятии его секций в секции Интернационала, при условии роспуска «Альянса» как международной организации, пришел положительный ответ.

В июне 1869 года отдельные секции влились в Интернационал, «Альянс» же объявил себя распущенным, что не означало, однако, действительного прекращения его деятельности. «Полутайное» стало тайным.

Слишком был уверен Бакунин в том, что только его программа обеспечит активное участие всех слоев народа в революции и что только тайная, строго законспирированная организация может в существующих условиях подготовить революционный взрыв.

История доказала всю ложность и утопичность представлений Бакунина, но не дала нам оснований сомневаться

в его личной искренности, самоотверженности, бескорыстном служении делу освобождения человечества.

Субъективное и объективное тесно переплетены в истории. И нередко субъективно честный и преданный революции человек служит объективно ложной системе идей. Осудить такого человека легко. Найти мотивы и основания его деятельности, его веры в свою правоту — труднее. А основания, как мы говорили выше, все-таки были.

Несмотря на утопичность взглядов Бакунина и известную долю фантазии, бакунизм не был плодом досужего воображения мечтателя, не связанного с реальной жизнью. Напротив, как в теоретическом отношении, так и в самой жизни той эпохи он находил известную основу.

В теоретическом плане бакунизм был разновидностью утопического социализма. До появления и утверждения социализма научного утопический социализм был самой передовой формой идеологии.

Во второй половине XIX века, потеряв для передовых стран Европы свою прогрессивность, он тем не менее продолжал оставаться боевой и революционной формой мировоззрения в таких странах Европы, как Россия, Италия, Испания и некоторые другие.

Преобладание крестьянского населения, известная неразвитость социально-экономических форм жизни, элементы феодального гнета, сочетавшиеся с жестокой буржуазной эксплуатацией, — все это создавало ту среду, в которой неизбежно появлялись и культивировались различные утопические учения о перестройке жизни на началах свободы, равенства и справедливости.

Одним из таких учений и стал бакунизм. Причем Бакунину в отличие от многих других теоретиков утопического социализма было свойственно стремление создать научную, материалистическую теорию, понять закономерности революционного преобразования мира. Однако одно стремление без научного знания и понимания законов общественного развития, без трезвой оценки сил и средств не способно изменить исходные утопические и идеалистические представления.

Свой общественный идеал Бакунин искал в народной жизни. Одно из главных его положений состояло в том, чтобы «не навязывать народу» ту или иную систему, не учить народ, а лишь создать ему условия для выявления его естественной жизни, естественной организации. «Мы революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни, а потому враги государства и

всякого государствования, в противоположность всем метафизикам позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает ее результатом…

Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих… инстинктах, в своих стремлениях… все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе».[355]

Будущая организация жизни представлялась Бакунину следующим образом: «Мир, свобода и счастье всем угнетенным. Война — всем притеснителям и грабителям. Полное возвращение трудящимся капиталов, фабрик, орудий труда и сырья — ассоциациям; земля — тем, кто обрабатывает ее своими руками. Свобода, справедливость, братство по отношению ко всем человеческим существам, рождающимся на земле. Равенство для всех. Для всех безразлично все средства развития, воспитания и образования и одинаковая возможность жить своим трудом. Организация общества путем вольной федерации снизу вверх рабочих ассоциаций, как промышленных, так и земледельческих, как научных, так и художественных или литературных — сначала в коммуне, федерация коммун в области, областей в нации, а наций — в братский Интернационал».[356]

Борьбу за политические свободы Бакунин отрицал. По его убеждению, не принося народу улучшения, усиливая лишь буржуазию, она отвлекает массы от бунтовских настроений, развращает их государственными иллюзиями. Государственные формы, по мнению Бакунина, не играли никакой роли. Он не замечал особой разницы между монархией и республикой: народу отнюдь не будет легче, «если палка, которою его будут бить, будет называться палкой народною». Непосредственной задачей революционеров Бакунин считал организацию социальной революции, которая осуществила бы социальный переворот, утвердила бы в жизнь «анархию и социализм».

Взгляды Бакунина на революцию и ее задачи были принципиально не верны.

Всякая социальная революция — закономерный результат развития классовой борьбы. Она разрешает противоречия между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями, ломает отжившие

производственные отношения и соответствующую им политическую надстройку — государственную власть. Основным вопросом революции становится вопрос о политической власти. «Переход государственной власти, — пишет В. И. Ленин, — из рук одного в руки другого *класса* есть первый, главный, основной признак *революции,* как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия».[357]

Но вопрос о власти не исчерпывает содержания социальной революции. В широком смысле слова она включает все те социальные преобразования, которые осуществляет революционный класс. Характер революций определяется тем, какие социальные задачи они осуществляют и какие социальные силы в них участвуют.

Ни социальные задачи, которые имел в виду Бакунин, ни движущие силы, на которые он рассчитывал, не могли обеспечить победу социалистической революции. Его теория по своему классовому содержанию была одним из вариантов мелкобуржуазной революционности. Соответственной была и его практика борьбы. Вместо постепенной организации и сплочения пролетариата, вместо создания политической партии рабочего класса он предлагал создать тайную революционную международную организацию.

Придя к этому выводу еще в период создания «Интернационального братства», Бакунин в последующие годы лишь дальше развивал и теоретически обосновывал это положение. Тем же целям служила и его деятельность.

Наряду с конспиративными акциями членов «Альянса», которые пока еще оставались в тайне, Бакунин развернул бурную легальную деятельность в Женевской секции Интернационала, где занял ведущее положение. Он писал статьи, выступал на собраниях, участвовал в организации Романской федерации, объединившей все интернационалистические секции Швейцарии, по существу, полностью контролировал издание газеты этой федерации — «Равенство».

В сентябре 1869 года в Базеле собрался IV конгресс Интернационала. Здесь впервые принципиальные разногласия между сторонниками Маркса и бакунистами вылились в открытую дискуссию.

Важнейшим вопросом, обсуждавшимся конгрессом, была проблема земельной собственности. Против правых прудонистов, отстаивающих принцип индивидуальной собственности, выступили как сторонники Маркса, так и анархисты, поддерживающие Бакунина. Так большинством голосов было принято решение о коллективном землепользовании.

Однако уже при обсуждении этого вопроса завязалась дискуссия между Бакуниным, требующим «социальной ликвидации», под которой он прежде всего понимал упразднение политического и юридического государства, и Эккариусом, утверждавшим, что социальное преобразование «должно быть произведено посредством той власти, которой рабочий класс сможет овладеть в государстве».[358]

Основным пунктом разногласия между Бакуниным и Генеральным советом стал вопрос об отмене права наследства. Пункт этот Бакунин повторял во всех своих программных документах и многих выступлениях. Он придавал этому вопросу огромное значение, так как таким путем он полагал в будущем обществе раз и навсегда предотвратить возможность возрождения неравенства и реставрацию капиталистических отношений. Речь шла здесь главным образом не о крупной собственности, которая была бы экспроприирована сразу же после победы революции, а о мелких земельных участках, которые нельзя было бы коллективизировать сразу. Вопрос этот был тем более важен, что Бакунин опирался более всего на те страны, где преобладала мелкая земельная собственность.

Но тезис этот во всех аудиториях вызывал непонимание или решительное возражение. Противники Бакунина из буржуазной среды полагали, что, работая, человек старается для своих детей, а не потому, что его увлекает сам процесс работы. Если же уничтожить права наследования, то люди будут работать лишь столько, сколько нужно, чтобы прокормить себя, или не будут работать вовсе.

По этому поводу Бакунин в письме к Сульману рассказывал случай, который произошел с ним в Японии, во время его бегства. На обеде у французского негоцианта, раздосадованный прописными истинами, произносившимися вокруг, он решил прекратить эту благодушную беседу, привести в негодование столь безмятежное общество.

«Для начала я отверг одним махом право на наследство и на собственность. Мои слова вызвали всеобщее возмущение, все с яростью набросились на меня. Среди прочих один господин, бывший лейтенант, совсем недавно ставший торговцем в Хакодате и обладавший уже довольно значительным состоянием, сказал мне:

— Как, господин, и вы думаете, что, если не любовь к детям, я согласился бы забраться в эту дьявольскую страну, далекую от прекрасной Франции и лишенную всего того, что делает жизнь счастливою?

— А простите, месье, я не знал, что вы женаты, — сказал я

ему.

— Нет, черт побери, я еще не женат, но, безусловно, возвратясь домой, я найду какую-нибудь женщину, которая мне подойдет, и тогда женюсь на ней, и я вам отвечаю, что у меня будут дети.

Таким образом, этот господин работал с такой самоотверженностью и таким рвением из-за любви к детям, которых еще не было на свете, но которые, возможно, появятся, когда он женится на женщине, пока неизвестной ему».

Выступая на Базельском конгрессе, Бакунин говорил: «Но что же произойдет, если вы не отмените права наследования? Они (крестьяне. — *Н.П.*) станут передавать эти участки своим детям с санкции государства на правах собственности. Напротив, если вы одновременно с социальной ликвидацией провозгласите политическую и юридическую ликвидацию государства, если вы отмените право наследования, то что же останется у крестьян?

Только голое фактическое владение, и это владение, лишенное всякой легальной санкции, не пользующееся уже мощным покровительством со стороны государства, легко будет поддаваться преобразованию под давлением революционных событий и сил».[359]

Планы Бакунина в отношении права наследования иллюстрируют его тактику, исходящую из выдуманной, а не реальной жизненной программы.

Совершенно иной была тактика К. Маркса. В «Докладе Генерального совета о праве наследования»[360] он подверг резкой критике предложение Бакунина, способное оттолкнуть крестьян в то время, когда речь шла об их привлечении на сторону социалистической революции. Пролетарское государство должно было дать крестьянам больше, чем дала буржуазия. Да и никаким декретированием нельзя было прежде времени решать проблему преобразования земельной собственности и аграрных отношений. Выдвижение проблемы права наследования в качестве исходного пункта социального преобразования было вредно теоретически и неприемлемо практически. Однако голосование по обоим предложениям: Генерального совета и Бакунина — не дало перевеса ни той, ни другой стороне. Количество сторонников у обоих предложений было примерно равным, и ни одно из них поэтому не было принято. Но первое же открытое выступление в Интернационале против линии Генерального совета показало Марксу всю опасность бакунинской пропаганды, вносящей раскол в ряды Международного товарищества.

Борьба, которую повели против бакунизма Маркс и Энгельс, основана была на необходимости защитить единство рабочего

движения, оградить идеологию пролетариата от мелкобуржуазных влияний, противопоставить утопическим положениям Бакунина основные положения научного социализма.

Борьба Маркса и Энгельса против анархизма была глубоко принципиальной, идейной борьбой. Однако некоторые идейные противники бакунизма не всегда придерживались допустимых форм политической полемики.

Так была воскрешена старая легенда о том, что Бакунин агент русского правительства или, в лучшем случае, панславист и «русский патриот». Дискуссия же на Базельском конгрессе квалифицировалась одним из его оппонентов, М. Гессом, как столкновение между цивилизацией и варварством.

В качестве доказательства «патриотически панславистской» линии Бакунина противники его использовали старые его статьи 1849 года, критиковавшиеся тогда Энгельсом.

Еще в 1868 году С. Боркхейм решил возобновить эту критику. Однако Маркс тогда попытался смягчить подобные нападки на Бакунина. 7 ноября он писал Энгельсу, что так как помешать Боркхейму невозможно, то он скажет ему: «что ты — старый друг Бакунина и что поэтому твоя статья ни в коем случае не должна быть использована в оскорбительном для последнего смысле». [361]

Однако уже спустя четыре месяца Энгельс и Маркс вынуждены были изменить свою тактику. Деятельность Бакунина могла принести слишком большой вред делу Интернационала. В этих условиях не приходилось заботиться о том, чтобы в ходе полемики не обидеть своего противника.

«Ни одна принципиальная борьба групп внутри социал-демократического движения не обходилась *нигде на свете* без ряда личных и организационных конфликтов, — писал Ленин. — …Люди суть люди, и без „конфликтного“ материала, без „склоки“ не обходились исторические столкновения течений марксистского и анархистского (Маркс и Бакунин), гедистского и жоресистского, лассальянского и эйзенахского и т. д.». [362]

25 февраля 1869 года Энгельс писал Марксу: «Я написал Боркхейму насчет Бакунина, — чтобы *он* возбудил вопрос, возможно ли для нас, западных людей, вообще какое бы то ни было сотрудничество с этим панславистским сбродом…». [363]

Кампания, поднятая в прессе Гессом, Боркхеймом против Бакунина, была резка и несправедлива. Но и его ответы не носили сдержанного характера.

От публичных выступлений против Маркса Бакунин воздерживался. О своем личном отношении к Карлу Марксу он

вполне откровенно написал в это время Герцену (26 сентября 1869 года). Объясняя, почему он не допускает прямых нападок на Маркса, Бакунин писал: «Первая причина — справедливость… я… не могу не признать за ним огромных заслуг по делу социализма, которому он служит умно, энергично и верно вот уже скоро 25 лет… и в котором он, несомненно, опередил нас всех. Он был одним из первых, чуть ли не главным основателем интернационального общества. А это в моих глазах заслуга огромная…

Вторая же причина — политика и, по-моему, совершенно верная тактика.

…Маркс, несомненно, полезный человек в интернацион[альном] обществе. Он в нем еще до сих пор один из самых твердых, умных и влиятельных опор социализма, — одна из самых сильных преград против вторжения в него каких бы то ни было буржуазных направлений и помыслов. И я никогда не простил бы себе, если бы для удовлетворения личной мести я уничтожил или даже уменьшил его, несомненно, благодетельное влияние.

А может случиться и, вероятно, случится, что мне скоро придется вступить с ним в борьбу, не за личную обиду, а по вопросу о принципе, по поводу государственного коммунизма, которого он и предводительствуемая им партия, английская и немецкая, горячие поборники. Ну, тогда будем драться не на живот, а на смерть. Но все в свое время, теперь же время еще не пришло».

Далее, переходя к своей тактике, направленной против Маркса и его сторонников, Бакунин восклицал: «Как же ты не видишь, что все эти господа вместе наши враги, составляют фалангу, которую нужно прежде разъединить, раздробить, чтобы легче ее разбить. Ты ученее меня и потому лучше знаешь, кто первый оказал: Divide et impera. Если я пошел теперь открыто войной против Маркса, три четверти интернац[ионального] мира обратились бы против меня, и я был бы внакладе, потерял бы единственную почву, на которой хочу стоять…»[364]

Так, понимая роль, значение и огромный авторитет Маркса, Бакунин, по существу, лишь откладывал свое выступление против него до более подходящей обстановки.

Бесконечные дрязги в среде эмиграции, непрекращающаяся борьба с идейными противниками утомили Бакунина. Да и личные дела его были в весьма плачевном состоянии. Денег не было совершенно. 4 февраля 1869 года он послал записку родным: «Сестры. Долги меня давят. Мне грозит голодная смерть. Помогите».[365]

В поисках выхода из своих материальных затруднений он искал любую литературную работу и потому с удовольствием взялся за перевод «Капитала» Маркса, предложенный ему петербургским издателем Н. П. Поляковым через посредничество живущего за границей студента Н. Н. Любавина. В счет причитавшегося ему гонорара (900 рублей) он получил аванс — 300 рублей, что дало ему возможность расплатиться с некоторыми кредиторами и переехать в Локарно, где жизнь была дешевле и где хотел он отдохнуть от женевской суеты.

К переезду этому была и личная причина. Еще в Неаполе Антонина Ксаверьевна сошлась с К. Гамбуцци.[366] В 1868 году у нее родился первый ребенок, теперь она ждала второго и предпочитала, чтобы событие это произошло не в шумной эмигрантской Женеве, а в более уединенном месте.

Ко времени переезда Бакунина в Локарно она жила в Неаполе, но готова была приехать к нему, как только он устроится на новом месте.

Подобная, с точки зрения общепринятой морали ложная ситуация не была трагичной и даже слишком тяжелой для Бакунина. Он всегда предоставлял полную свободу жене и в сложившемся положении продолжал нежно и заботливо относиться и к ней и к ее детям.

Уже в Локарно, получив телеграмму о ее приезде, он выехал к ней навстречу, два дня в большом волнении ждал задержавшегося парохода, а потом писал Огареву: «Вообрази себе ее положение — она на море с полуторагодовалым ребенком, с восьмимесячной беременностью и с замечательным расположением к морской болезни. Целые сутки провела она на пароходе в Гаете неподвижно и при страшной качке. Она приехала ко мне измученная и больная. Ребенок ее тоже болен. Теперь она отдохнула, и маленький сын ее также. Но недели через 4, через 3, может, через 2, она должна родить. Ты понимаешь, что при таких обстоятельствах у меня голова идет кругом».[367]

Но Антонина Ксаверьевна приехала в декабре, а Михаил Александрович перебрался в Локарно в октябре, так что некоторое время он смог действительно отдохнуть. Причем чуть ли не впервые он нашел время к несколько оглядеться вокруг. «Вообрази себе, — писал он Огареву 2 октября 1869 года, — после сухой и тесно прозаической атмосферы Женевы Италия во всей ее приветливой теплоте, красоте и первобытной мило ребяческой простоте… Здесь кажется все вдвое дешевле, а приволье, а свобода, а простота и теплота и воздух… Ну, просто царство небесное. …Ты видишь, что я просто в восторженном состоянии

духа, и боюсь только одного, что мягкость жизни и воздуха уменьшат, смягчат мою дикую социалистическую беспардонность».[368]

Это свое качество (или направление) Бакунин считал весьма принципиальным. Так, посылая Герцену свою брошюру «Исповедание веры…» и прося его переменить форму и кое-где смягчить текст, он оговаривал: «Что же касается до беспардонного направления, то оно должно остаться всецело, не только по содержанию, но и по форме. Ведь ты давно знаешь, что это моя природа, а природы не переменишь».[369]

Из двух своих старых друзей в последние годы Бакунин ближе сошелся с Огаревым. На протяжении более чем 30 лет отношения этих двух людей прошли разные этапы. В молодые годы Огарев хуже, чем Герцен, относился к Бакунину. Затем они долго не виделись. Участие Бакунина в революционном движении Европы, годы тюрем и ссылки сгладили былые антипатии. Уже в Лондоне позиции Огарева и Бакунина несколько сблизились.

Более, чем Герцен, склонный к практической стороне революционной работы и менее Герцена склонный к скептицизму, Николай Платонович в те годы нередко поддерживал Бакунина как в его вере в силы и возможности «Земли и Воли», так и в польском вопросе.

Последний вопрос стоил Герцену «Колокола».[370] «Много лежит на совести Мих[аила] Ал[ександровича], есть доля и на Ог[ареве] — а я больше их виноват, потому что уступал от слабости и не хотел спорить»[371] — так писал Герцен спустя три года, подчеркивая тем самым некоторую общность в позиции Огарева и Бакунина.

В конце 60-х годов, когда издательская деятельность перестала занимать все время и мысли Огарева, он с интересом и симпатией стал наблюдать за той огромной практической революционной работой, которую вел Бакунин. Михаил Александрович, со своей стороны, тепло и внимательно относясь к старому другу, пытался расшевелить его, приобщить к своему делу, отвлечь от пагубного пристрастия к вину. «Ты в кабак ходи, — писал он ему, — да только в меру. Ты не родился анахоретом, — никогда не был и никогда не будешь им, — a chassez le naturel il revient au galop.[372] Только в меру. Эх, брат, в меру, кажется, вся тайна».

В том же письме он уговаривал Николая Платоновича не предаваться унынию, не заниматься бессмысленным самоанализом, этим традиционным занятием русских интеллигентов.

«Ты… ковыряя в своей душе, находишь в себе разные гадости.

Нет сомнения, что всякий *без исключения,* кто захочет в себе ковырять таким образом, найдет много неприличного.

Но зачем предаваться излишнему ковырянию своего прошлого, своей души? Ведь это занятие самолюбивое и совершенно бесполезное… Прошедшего не воротишь. Не каяться и не жалеть мы должны, а собрать все, что у нас осталось от наших прошедших ошибок и бед, силы, ума, уменья, здоровья, страсти и воли и сосредоточить все это для служения одной любимой и последней цели, — а наша цель с тобой революция».

Далее на вопрос Огарева, придется ли им увидеть эту революцию, Бакунин отвечает: «Этого никто из нас не отгадает. Да если и увидим, Огарев, нам с тобою не много будет личного утешения, — другие люди, новые, сильные, молодые — разумеется, не Утины, — сотрут нас с лица земли, сделав нас бесполезными. Ну, мы и отдадим им тогда книги в руки… А теперь мы еще, несомненно, полезны».

Дав ряд деловых советов Огареву, Бакунин так заканчивает это любопытное письмо:

«Друг мой, мы старики, поэтому мы должны быть умны; у нас нет более юношеского обаяния. Но зато есть ум, есть опыт, есть знание людей. Все это мы должны употребить на служение делу». [373]

Призывая к служению делу Огарева, Бакунин не переставал служить ему сам. Его благодушное настроение в первое время жизни в Локарно не означало того, что он действительно «отдыхает». Подобное понятие в буквальном смысле слова еще не было знакомо ему. Удалившись от женевской суеты, он перенес всю тяжесть своей деятельности на руководство движением посредством писем. «Вчера я сосчитал число моих корреспондентов, — пишет он 23 ноября 1869 года, — и насчитал их 44, из которых девятнадцати я пишу по крайней мере раз, а иногда два и три раза в неделю, шестерым непременно два раза в месяц, а остальным — не менее раза в два месяца».[374] Так всякий день ему приходилось писать 3–4 письма. А если учесть, что коротких писем писать он просто не умел и что нередко его послания достигали размеров одного-двух, а иногда и пяти печатных листов, то можно представить себе его нагрузку.

Но, конечно, перепиской дело не исчерпывалось. То и дело в Локарно являлись его товарищи по «Альянсу» из Италии, Франции, Швейцарии, Испании. Бакунин их наставлял, направлял, руководил. Главное же его время в конце 1869 — начале 1870 года было отдано переводу «Капитала». «Перевод страшно трудный. Сначала я не мог перевести более трех страниц в утро, теперь дошел до пяти, надеюсь скоро дойти до десяти», —

сообщал он Огареву.

В декабре он просил Жуковского поговорить с его женой Адой о переписке уже переведенных им десяти листов.

Эта женщина, по словам его, была «чрезвычайно умна, благородна до донкихотства, молчалива и верна как гроб». К тому же достоинства ее увеличивались тем, что она одна осталась свободной «от утинского обаяния, которому гаремно (в нравственном смысле этого слова) поддались все другие бабы».

На письмо Бакунина Жуковский не ответил, и Бакунин принялся переписывать перевод сам. Однако работе этой не суждено было завершиться. Иные дела захватили Михаила Александровича, вопрос же о несостоявшемся переводе возник снова несколько позднее, но уже при совсем других обстоятельствах.

ГЛАВА VIII
БАКУНИН И НЕЧАЕВ

Бакунин тяготит массой, юной страстью, бестолковой мудростью. Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову.

А. Герцен

Нечаевщина… слово страшное, неприятное, вызывающее омерзение. Ложь, мистификация, провокация, предательство, убийства, совершенные во имя великой цели, или иезуитизм, поставленный на службу революции, — все это нечаевщина. Как могло возникнуть такое в русской революционной среде и как Бакунин, такой, каким мы уже знаем его, мог оказаться причастным к ней?

Вопрос этот вот уже сто лет волнует писателей, историков, социологов. Историки исследуют факты, писатели пытаются заглянуть в душу революционного подполья, за протоколами допросов, судебными отчетами, исследованиями ученых увидеть духовный мир, психологию действующих лиц реальной исторической трагедии.

Роман Достоевского «Бесы» посвящен нечаевщине. При всей тенденциозности писателя, при всей гротескности изображения именно ему удалось глубже всех проникнуть в мятущуюся душу человека, взявшегося освобождать других, прежде чем стать внутренне свободным самому. Петр Верховенский связан всем: и своим представлением о том, что все позволено, и своим полным неуважением ко всему живому, и своей верой в необходимость создания этакого идола, предводителя Ивана-царевича, за которым пойдет, не может не пойти народ, ибо без «деспотизма еще не было ни свободы, ни равенства».[375]

Прототип Петра Верховенского — Сергей Нечаев. Но прототип не портрет. «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева», — напишет Достоевский в своем дневнике. Да и не эту задачу ставил он себе. Просто почудилась ему страшная опасность, о которой решил он предупредить людей.

Но обратимся к Нечаеву подлинному.

В 1868 году в студенческих кружках Петербурга стал появляться вольнослушатель Петербургского университета Сергей

Геннадиевич Нечаев. Был он сыном мещанина из Иваново-Вознесенска. Юность его протекала нелегко. На жизнь зарабатывал тем, что писал вывески для ивановских купцов. 19 лет приехал в столицу, здесь, сдав экзамены на звание народного учителя, обосновался сначала в Андреевском, а затем Сергиевском народном училище. Став вольнослушателем университета, он почти не посещал лекций, да и читал в общем немного и как-то односторонне. Так, в «Колоколе», старые номера которого он доставал у товарищей, его интересовало лишь то, что он мог прочесть там о каракозовском деле.

В кружке Медико-хирургической академии он принимал участие в совместном чтении Луи Блана, Карлейля, Рошфора, Буонарроти. Известно также, что читал он «Исповедь» Руссо и «Речи» Робеспьера. Но и прочитанное можно воспринимать по-разному. Нечаев воспринимал все чисто утилитарно, отбирая то, что подходило ему, остальное просто отбрасывал. Импонировали же ему из всего прочитанного главным образом идеи заговора, оправданности террора, по-своему понятого равенства, диктатуры. Впрочем, и эти идеи восприняты им были крайне смутно, никакой продуманной системы взглядов он не приобрел ни в те, ни в последующие годы. Не стал он и интеллигентом в полном смысле этого слова. «Нечаев, — пишет Вера Засулич, — не был продуктом нашего мира, он не был продуктом интеллигенции, среди нас он был чужим».[376]

«Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, — продолжает она в другом месте, — были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть и не против правительства только… а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много и много презрения».[377]

Не чувствуя себя связанным со средой, в которой он очутился, презирая окружающих и встречая к тому же противоречия с их стороны, он с первых же шагов вступил на путь лжи, мистификации, шантажа.

К тому времени, когда Нечаев появился в кружках Петербурга, студенческое движение было одним из серьезных факторов освободительной борьбы.

В условиях реакции второй половины 60-х годов проблемы форм борьбы с правительством, отношения к народу, к обществу, к товарищам по борьбе настоятельно требовали ответа. Готовых решений здесь не было. На многочисленных сходках порой

рождались и быстро гибли проекты различных программ. В этой обстановке, войдя в студенческую среду, Нечаев получил известную популярность. Сама личность этого человека не могла остаться незамеченной.

Он обладал железной волей, фанатизмом, непреклонной верой в свою правоту, в правильность избранного им пути. Его мысли, чувства, желания, стремления сводились к одному — до конца разрушить «этот поганый строй».

Можно привести его характеристику, данную на следствии В. Александровской, хорошо знавшей Нечаева и предложившей свои услуги III отделению для организации его ареста.

«Он смел и остроумен, но не всегда осторожен, смел до дерзости. Деспот весьма односторонний. Хитер и подозрителен, но не глубок и односторонне легковерен. Непреклонной воли, но с неверным соображением. Деятелен до изнурения. Общечеловеческих мирных стремлений или слабостей никаких не проявляет, кроме слепой самоуверенности. Как понимание людей, так и всего окружающего у него односторонне. Так, например, он убежден, что большая часть людей, если их ставить в безвыходное положение, то у них, невзирая на их организацию и воспитание, непременно выработается отважность в силу крайней в том потребности… Делом своего общества, по-видимому, он весь поглощен; других интересов для него не существует… Излишков себе никаких не позволяет».[378]

«Нечаев, — говорил его товарищ В. Орлов, — личность, способная импонировать всякому развитию слабого характера».

Один из обладателей подобного характера, Н. Н. Николаев, показал, что «совершенно подчинялся Нечаеву, которому вообще все повиновалось беспрекословно».[379]

Все знавшие Нечаева сходились на том, что у этого человека всегда на первом плане стояли интересы уничтожения существующего строя, по-своему понятые интересы народа. Люди, не умевшие отрешиться от своих личных дел и чувств во имя революции, чествовали известную неловкость, общаясь с ним.

«Мне стыдно было сознавать, — вспоминает А. И. Успенская, — что у меня есть личная жизнь, личные интересы. У него же ничего не было — ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, хотя бы такого же скудного, как у нас, не было даже своего имени; звали его тогда не Сергеем Геннадиевичем, а Иваном Петровичем».[380]

Мысль Нечаева о возможности расширить студенческое движение до всеобъемлющего протеста против социально-экономического и политического угнетения, двинуть разночинную интеллигенцию в народ и взбунтовать его нашла

воплощение в «Программе революционных действий», составленной зимой 1868/69 года группой лиц с участием Нечаева и П. Н. Ткачева.

Но «Программа» эта не была еще проявлением того, что вошло в историю иод названием «нечаевщина». Однако есть основания полагать, что и эти идеалы были в основном сформулированы Нечаевым примерно в то же время (1868).

Вот что рассказывает Г. Е. Енишерлов — участник студенческого движения, приписывающий себе приоритет в создании иезуитской системы. Однажды на одной из сходок споры разгорелись вокруг предложенных Енишерловым «заговоров», «военного coups d'йtat)), „всякого рода покушения на личности“, „иезуитского пути“. „Только один, — пишет Енишерлов, — худой, с озлобленным лицом и сжатым судорогой ртом, безбородый юноша, горячо пожав мне руку, сказал: „Я с вами навсегда, прямым путем ничего не поделаешь: руки свяжут… Именно иезуитчины-то нам до сих пор и недоставало; спасибо, вы додумались и сказали. Я ваш“.

Это был тогда еще вовсе безвестный народный учитель Сергей Геннадиевич Нечаев“.[381]

В марте 1869 года, когда Бакунин был озабочен созданием секций „Альянса“ и когда ввиду распада „Интернационального братства“ он на какое-то время потерял часть своих сторонников, в Женеве появился Нечаев. Мы не знаем, в какой обстановке произошла их первая встреча, но бесспорно одно: Нечаев сразу же понравился Бакунину. Сергей Геннадиевич держался сдержанно и вместе с тем уверенно. Он заявил, что явился как представитель революционного комитета, что за спиной его стоит организация в России, что сам он был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и бежал оттуда.

Миф этот с недоверием был встречен русскими эмигрантами, хорошо знавшими, что никакой серьезной организации в России нет и что побег из Петропавловской крепости дело нереальное. Однако оба эти обстоятельства не смутили Бакунина. Русскую жизнь он, по существу, не знал, в отношениях же с людьми чаще всего был легковерен. Обычно он верил в то, во что *хотел* верить. В сложившейся ситуации ему очень хотелось поверить в возможность существования в России тайной организации, которую можно было бы использовать в своих целях. „Я был уверен, что мне удастся провести через Нечаева и его товарищей наши идеи и наш взгляд на вещи в России, а также думал серьезно, что Нечаев способен будет стать во главе русской ветви революционного союза моего“[382] — так говорил впоследствии он своим друзьям.

„Я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы оба стары, и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного, чем Вы, — напишет он потом Нечаеву, — что поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны связаться с Вами, а не с кем другим“.[383]

Это все соображения деловые, но были здесь и другие моменты — эмоциональные. В глубине души мечтал он всегда об организации революционеров, обладающих теми качествами, которые он увидел в Нечаеве. Железная воля, убежденность, полная самоотверженность, отсутствие всех личных побуждений, чувств, стремлений, исключительная преданность революции. Все, кого он встречал до этого, не отвечали в конечном итоге этим требованиям. Или честолюбие и тщеславие, или недостаточная убежденность, или личная жизнь отвлекали его прежних соратников от главного революционного дела.

С Нечаевым было иначе. Он увлек Бакунина „своим темпераментом, — вспоминает З. Ралли, — непреклонностью своей воли и преданностью революционному делу. Конечно, Бакунин сразу увидел и те крупные недостатки и отсутствие какой-либо эрудиции в новом эмигранте, но как Михаил Александрович, так и все те, которые встречались в те времена с Нечаевым, прощали ему все ради той железной воли, которой он обладал“.[385] Не все, конечно, здесь Ралли не прав, но Бакунин действительно прощал. Он не только увлекся Нечаевым, как много раз в своей жизни увлекался самыми разными людьми (например, Н. Н. Муравьевым-Амурским), — он просто полюбил его. Ибо любовь к людям, не абстрактная, а самая конкретная, была вполне свойственна ему. „Я Вас любил глубоко и Вас люблю до сих пор, Нечаев, я горячо верил, слишком верил в Вас!“ — напишет он ему тогда, когда для любви, а тем более веры не останется уже никаких оснований. „Немного мне было нужно времени, чтобы понять Вашу серьезность, чтобы поверить Вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что, будь Вас таких хоть немного, Вы представляете серьезное дело, единственное серьезное револю[384] в России, и, раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам всеми силами и средствами и связаться сколько могу с Вашим русским делом“.[386]

Не помог, видно, Бакунину опыт с „Землей и Волей“.

Снова, как прежде, но еще с большей страстью, уверовал он в возможность „русского дела“.

„Сейчас я по горло занят событиями в России, — пишет он Гильому. — Наша молодежь в теоретическом и практическом отношении, пожалуй, самая революционная в мире, сильно

волнуется… У меня теперь находится один такой образец этих юных фанатиков, которые не знают сомнений, ничего не боятся и принципиально решили, что много, много их погибнет от руки правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока не восстанет народ. Они прелестны, эти юные фанатики, верующие без бога и герои без фраз“.[387]

„Юный фанатик“ смог уверить Бакунина и в том, что почва для восстания уже готова в России. Вырубов рассказывает, как он однажды, зайдя к Бакунину, застал его за беседой с Мадзини, причем Михаил Александрович уверял своего собеседника, что русская революция начнется очень скоро.

„На Волге, — говорил он, — бунты происходят через каждые сто лет: в 1667 г. — Разин, в 1773 — Пугачев, и теперь, как мне достоверно известно, революционный вопрос стоит там на очереди. Раскольники волнуются, к ним присоединяются рабочие массы, калмыки и киргизы тоже выражают свое неудовольствие — словом, приготовляется всеобщее восстание“.

Я было попытался убедить его, что сведения его почерпнуты из мутных источников, что, вернувшись недавно из своего саратовского имения, я могу его уверить, что на Волге все тихо и мирно и никто там ни о какой революции не помышляет, убедить его, однако, я не мог; разыгравшуюся его фантазию укротить было не легко».[388] Конечно, ни «доктринер» Вырубов, ни старый друг Герцен, с настороженностью отнесшийся к Нечаеву, ни в чем не могли убедить Бакунина. Огарев же полностью разделил его увлечение и надежды и должен бы был впоследствии, так же как Бакунин, нести моральную ответственность за всю эту эпопею. Однако общественное мнение оставило его в стороне, обрушив все негодование лишь на одного из двух виновных.

Итак, Бакунин и Огарев полностью приняли как Нечаева, так и его вымышленную организацию. Однако сразу раскрывать перед Нечаевым все карты своего «Альянса» Бакунин не захотел. Он лишь сообщил ему, что существует некий «Европейский революционный союз», от имени которого 12 мая 1869 года он выдал Нечаеву следующий документ: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771». Далее следовала подпись Бакунина и печать со словами: «Европейский революционный союз, Главный комитет».

Так в ответ на легенду Нечаева о существовании русского революционного комитета появилась еще одна легенда о несуществующей организации европейского масштаба.

Возможно, что, творя легенду о Европейском комитете, Бакунин стремился создать впечатление в России (куда должен

был направиться Нечаев) о представительстве этим комитетом интересов Интернационала.

«Альянс» был никому не известен, а следовательно, представитель его не мог произвести должного эффекта на русскую молодежь. Слухи же об Интернационале и его деятельности дошли и до России, вызвав энтузиазм среди учащейся молодежи. Естественно, что посланец Бакунина с мандатом от Европейского комитета мог сойти за представителя того самого Международного общества, о котором мало конкретного знали в Москве и Петербурге. Но одного мандата для успешной пропаганды Нечаева в России было мало. Для успеха дела нужно было снабдить нового адепта программными документами, средствами и, наконец, создать ему репутацию стойкого борца, связанного с европейским революционным движением. Последней цели служила легенда о Европейском комитете. Средства были добыты путем передачи Нечаеву Бахметьевского фонда.

Эти деньги в 1858 году молодой помещик П. А. Бахметьев[389] передал Герцену на нужды русской революционной пропаганды. Вся сумма была положена в банк на имя Герцена и Огарева и до 1869 года оставалась неприкосновенной, вызывая постоянные претензии от разных групп русской эмиграции, стремившихся использовать ее на то или иное дело. Не питая никакого доверия ни к Нечаеву, ни к его идеям, Герцен был против передачи ему этих денег. Но Огарев потребовал раздела фонда и выдачи своей половины Нечаеву.

Не стало дело и за программным обеспечением. С марта по август 1869 года появился ряд листовок, брошюр, статей, призывавших к немедленной революции, объяснявших цели и задачи ее.

Среди этих произведений прокламация «Русские студенты!» без подписи (автор Огарев);[390] прокламация «Студентам университета, Академии и Технологического института в Петербурге» (подпись «Нечаев»); прокламация «Несколько слов к молодым братьям в России» (подпись «Бакунин»); брошюра «Начало революции» (без подписи); брошюра «Постановка революционного вопроса» (без подписи); две статьи в № 1 «Издания Общества Народной расправы» (подпись «Русский революционный комитет»); «Катехизис революционера» (без подписи) и другие.

Обращаясь к молодежи в прокламации «…К молодым братьям», Бакунин провозглашал: «Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука… Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна

погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа».[391]

В брошюре «Постановка революционного вопроса», хотя и не подписанной, но принадлежащей перу Бакунина, вопрос о поведении молодежи в народе развивается более конкретно. В народ следует идти затем, чтобы, приняв участие в народных бунтах, объединить их разрозненные силы.

Народный бунт в России существует в двух видах: бунт мирного сельского населения и разбойный бунт. «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со времени основания московского государства отчаянным протестом народа против гнусного общественного порядка… Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством…»[392]

В подобной апологии разбойного мира сказалось не столько некоторое влияние западных утопистов (Вейтлинг, Пизакане), сколько исповедуемый Бакуниным своеобразный культ народа, преклонение перед «бессознательным» и стихийным в его жизни. Поскольку «разбойный мир» традиционно представлялся наиболее активным, наиболее бунтарским отрядом всех народных сил, Бакунин стал отождествлять стремление к разрушению с революционностью. И если не идеальные разбойники типа Карла Моора, то по крайней мере вольные разбойные артели времени Степана Разина стали казаться ему действенной революционной силой.

Год спустя в письме к Нечаеву Бакунин попытался обосновать идею использования «разбойного мира» с точки зрения морально-этической. «Да кто же у нас не разбойник и не вор? — уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, со своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противучеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным».[393]

Брошюру «Начало революции» многие исследователи считали принадлежащей перу Бакунина. Основанием для подобного утверждения для Ю. Стеклова было сходство ее идей о тайной организации с программными требованиями «Интернационального братства»; для М. Конфино — сходство

этого же места брошюры с последующим письмом (от 2 июня 1870 года) Бакунина Нечаеву. Чтобы не возвращаться к этому аргументу далее, следует сказать, что подобные сопоставления лишены, с нашей точки зрения, оснований. Бесспорно, что Бакунин познакомил Нечаева со своими программными документами и что последний многое из них взял на вооружение. Ведь своей-то программы у него, по существу, не было. Однако определенные идеи были. И идеи эти были именно его, а никак не Бакунина. В брошюре подобных идей две: террор и допустимость любых средств для достижения революционной цели.

Из предыдущей главы мы знаем, как отнесся Бакунин к выстрелу Каракозова. Здесь же читаем иное: «Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяние коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора с исключением только его идеализма, который мешал действовать как следует, с заменой его суровой, холодной, беспощадной последовательностью».

Итак, террор и разрушения — в этом задачи начала революции. «Данное поколение должно начать настоящую революцию… должно разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением „скорее и больше“. Формы разрушения могут быть различны. „Яд, нож, петля и т. п.!.. Революция все равно освящает в этой борьбе… Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно!“»[394]

Этот дикий манифест можно сравнить лишь с бредовыми планами Петра Верховенского: «Мы провозгласим разрушение… Мы пустим пожары… мы пустим легенды. Я вам… таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал…»[395] Но где же здесь идеи Бакунина? На наш взгляд, их тут нет. Ни террор как таковой, ни формы его («яд, петля, кинжал») никогда не входили в арсенал старого революционера. Зато Нечаеву они были органически свойственны. Их же он снова и подробно представил в первом номере «Издания Общества Народной расправы», где даже перечислил высших, богатых и должностных лиц, подлежащих истреблению. Этому изданию нельзя отказать в известной выразительности. Образность и пафос ненависти тут налицо. «Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по

отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла».[396]

Отрицание «нравственных обязанностей и чести» (давшее повод Достоевскому написать злую фразу «…Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести…»[397]) распространялось Нечаевым не только на ненавидимый им господствующий мир, но на всех людей вообще. Доказательство тому — «Катехизис революционера», эта квинтэссенция того, что принято называть нечаевщиной.

В литературе до сего времени ведутся споры о том, кому принадлежит авторство «Катехизиса». Анализ источников, в том числе и неизвестных предыдущим исследователям, позволил мне прийти к выводу о том, что Бакунин не является автором этого документа.[398]

Для того чтобы представить себе разность позиции Бакунина и Нечаева в вопросах методов борьбы, отношения к делу, к товарищам и противникам, достаточно сопоставить «Катехизис» с уставом «Интернационального братства» и другими программными документами, которые незадолго до того редактировал и дополнял Бакунин в связи с созданием «Альянса», а также с его письмом Нечаеву от 2 июля 1870 года.

«Катехизис» — это свод правил, ими должен руководствоваться революционер. Предоставим первое слово Нечаеву.

Отношение революционера к самому себе — таков первый раздел «Катехизиса».

Полное отречение от всех форм личной и общественной жизни, презрение к общественному мнению, ненависть к общественной нравственности. «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».[399]

Отношение к товарищам:

«Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к… товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции». Товарищи не все равны. У каждого посвященного «должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, т. е. не совсем посвященных», на которых он должен смотреть как на часть «революционного капитала, отданного в его распоряжение».

Отношение революционера к обществу:

«Революционер живет в обществе, имея целью лишь его беспощадное разрушение». Имея в виду эту конечную цель, он должен притворяться для того, чтобы проникать всюду, во все

слои: «высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец».

Все общество должно быть разделено на несколько категорий;

«Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие нумера убрались прежде последующих…

Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта…

К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силой. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями, опутать их, сбить их с толку и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами.

Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программе, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат был для них невозможен, и их руками мутить государство.

Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголющих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

Предоставим теперь слово Бакунину.

Отношение революционера к самому себе:

«Интернациональные братья не имеют иного отечества, кроме всемирной революции, иной чужбины и иного врага, кроме реакции»[400] — это из устава. Но преданность революции, признание ее отечеством не означает еще полнейшего отречения от себя.

«Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков, — скажет Бакунин Нечаеву спустя несколько месяцев. — Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств,

привязанностей и связей должно быть нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм Вы хотели бы, да еще и теперь (хотите), сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение гибельно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять всегда мимо. Но никакой человек, как бы он ни был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна ни была его дисциплина и как могуча ни была его организация, никогда не будут в силах победить природу. Да, мой милый друг, Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола, Вы по образу мыслей подходите больше… к иезуитам, чем к нам».[401]

Отношение к товарищам по борьбе:

«Каждый должен быть священным для остальных, более священным, чем брат по рождению. Каждый брат должен получать помощь и защиту до пределов возможного» — это опять из устава.

«…Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность — один за всех, все за одного — с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожение существования самого общества.

…Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов», — и это из принципов новой организации, предложенной Бакуниным Нечаеву.

Отношение революционера к обществу:

Говорить о прямом сравнении текстов здесь не приходится. У Бакунина нет ни планов на использование современного общества, ни деления его на категории для уничтожения тех или иных лиц, для превращения в рабов или для деморализации общественной жизни. Бакунин против убийств «высокопоставленных скотов» и тем более против массового террора, способного вызвать лишь реакцию, которая снова обрушится на голову народа.

«Не нужно будет удивляться, — пишет он в своей программе, — если в первый момент восставший народ многих… перебьет, это будет, пожалуй, неизбежным злом, столь же

фатальным, как и опустошения, причиненные бурей. Но это естественное явление не будет ни нравственным, ни даже полезным».[402] Ведь все жертвы народного негодования сами по себе не виновны.

«Все революционеры, угнетенные, страдающие жертвы современной организации общества, сердца коих, естественно, полны мести и ненависти, должны хорошо помнить, что короли, угнетатели, эксплуататоры всякого рода столь же виновны, как и преступники, вышедшие из народных масс: они злодеи, но не виновные, так как они, подобно обыкновенным преступникам, являются непроизвольным продуктом современной организации общества».[403]

Итак, система идей Бакунина противоположна как «Катехизису», так и брошюре «Начало революции». Все это творчество Нечаева. Но можно ли целиком снять ответственность со старого революционера за появление в свет этих произведений?

С нашей точки зрения — нельзя.

И Бакунин и Огарев несут полную моральную ответственность за творчество этого 22-летнего молодого человека, получившего их полную поддержку. Не будь этой поддержки, никто бы, кроме, может, нескольких юношей, не пошел за Нечаевым. Не было бы и резонанса от его деятельности на Западе.

Теперь все сложилось иначе. Создав себе известное положение за границей, Нечаев в августе 1869 года отправился в Россию. Для того чтобы помочь его конспиративной деятельности в русских условиях, Огарев и Бакунин решили распространить слух о его гибели.

Отчасти для этого, отчасти для того, чтобы поднять акции Нечаева среди молодежи, решено было распространить в виде листовки стихотворение Огарева «Студент». В последних строках этого произведения сообщалось:

Жизнь он кончил в этом мире
В снежных каторгах Сибири,
Но дотла не лицемерен,
Он борьбе остался верен
До последнего дыханья.
Говорил среди изгнанья:
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу.

— Великолепно! — сказал Бакунин, прочтя стихи.

Герцен реагировал иначе. «Да что же ты Нечаева заживо хоронишь? — с удивлением спрашивал он, — стихи, разумеется, благородны, но того звучного порыва, как бывали твои стихи, caro mio, нет».[404]

«Звучного порыва», пожалуй, действительно не было. Был лишь еще один вклад в пропагандистскую кампанию «тройки», в которой, по мнению Герцена, Огарев был «коренным». Проясняя свое образное выражение, Герцен писал Николаю Платоновичу: «Я… говорил о „психе“ — Бакунине, Нечаеве — на пристяжке и о тебе в корню».[405]

В главном, в оценке в целом всей «тройки», Александр Иванович был прав. Деятельность юноши и «двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной»,[406] — писал он Огареву.

Деятельность эта, особенно пропагандистская, была так вредна, что ограничиться личными письмами было невозможно. Нужна была критика в открытой прессе. Работая над полемическим письмом к Бакунину, Герцен думал поместить его в «Полярной звезде», а если удастся, то и в русской легальной прессе.

«Мне кажется, — писал он Огареву 25 февраля 1869 года, — что если по моему письму к Бакунину (без имени) провести стругом, то его можно целиком поместить в „Неделе“».[407]

Писать статью «Письма к старому товарищу» Герцен начал в январе 1869 года. Работа претерпела несколько редакций, дополнений, углублений. Началась она еще до нечаевской эпопеи и вызвана поначалу была желанием сформулировать свои раздумья о главном вопросе современности, противопоставить свои «оценки сил, средств, времени, исторического материала» взглядам и практике Бакунина.

Когда три письма из четырех были написаны, появилась брошюра Бакунина «Постановка революционного вопроса». Прочтя ее, 11 мая 1869 года Герцен писал Тучковой-Огаревой о том, что Бакунин «…совсем закусил удила». «…Я привезу его новую статью, которая наделает страшных бед. Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность».[408]

После этого Герцен принялся за четвертое письмо, которое и было окончено в августе 1869 года. Однако при жизни его работа не успела выйти в свет. Появилась она лишь в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена» в 1870 году.

Обратимся к содержанию полемики.

«Мне всегда мешало раздумье, мы об этом спорили с тобой тридцать лет назад. Тут дело в личностях, в характерах, в pli (складе. — *Н.П.*) целой жизни. Одни складываются с молодых лет

в попы, — проповедующие с катехизисом веры или отрицания в руках, — они призывают себе на помощь все средства и все силы, даже силу чудес, для вящего торжества своей идеи. Другие этого не могут — для них голая, худая, горькая истина дороже декорации, для них ризы, облачения, драматическая часть дела смешна, а смех — ужасная вещь»[409] — так писал Герцен в первой редакции «Писем к старому товарищу».

Пожалуй, он был прав. В значительной мере дело было в личностях, в характере, в складе целой жизни. Но было и другое. Сам Герцен писал о том, что личности являются на исторической арене тогда, когда в них возникает определенная потребность. Для тех социальных сил, на которые ориентировался Бакунин (наиболее отсталые слои рабочего класса, угнетенное крестьянство, деклассированные элементы), была потребность и в проповеди, готовой призвать себе на помощь даже «силу чудес». Горький скептицизм Герцена не мог помочь тем, кто при жизни своей хотел увидеть зарю нового мира.

Поиски путей, которыми должно идти человечество, составляли смысл и содержание жизни Герцена. Ответа на этот вопрос он не нашел, но исторический опыт и собственные размышления привели его в конце пути к твердому убеждению, что без «знания и понимания» никакой социальный переворот невозможен. «Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен и потому еще ни мир построяющий, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществись».[410]

«Наше время», полагал Герцен, время окончательного изучения и собирания сил. Время изучения экономических вопросов, время изучения народного сознания, которое «так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, сырое произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных институтов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели».

Эти слова Герцена были ответом на одно из главных утверждений Бакунина о том, что учить народ «было бы глупо, ибо он сам лучше знает, что ему надо. Его нужно не учить, а бунтовать или, вернее, объединять его разрозненные и потому бесплодные бунты». Не учить народ, а учиться у народа — эту формулу не раз повторял Бакунин. Именно поэтому Герцен в

своих «Письмах» несколько раз возвращается к проблеме народа. Задолго до практического и неудачного опыта сближения интеллигенции с народом[411] он видел, что масса с неверием смотрит «на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию».

«Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с tabula rasa, с выжигания дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все утешение…»[412]

«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Нельзя отрицать и государства до совершеннолетия большинства, так отвечал Герцен на призыв Бакунина к беспощадному разрушению всего государственного строя, коренному уничтожению всех порядков, общественных сил, средств, вещей и людей, «на которых зиждется крепость империи», отрицанию науки, «которая должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение». Здесь Герцен был не точен. Об уничтожении людей речи у Бакунина не было. Но «даже призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения — принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной… Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей… Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны».

Революция не должна только разрушать. Новый порядок «должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной». Герцен жалел людей, жалел «вещи, и иные вещи больше иных людей».

«Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказнила статуй, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев. Я это так живо чувствовал, стоя с тупой грустью и чуть не со стыдом… перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: „Все это истреблено во время революции“.[413]

Итак, революция не должна уничтожать всего лучшего, созданного за много веков человечеством; она не должна быть бунтом бессмысленным и беспощадным, к ней нельзя призывать, пока нет сил, потому что „подавленный взрыв двинет назад“. Нельзя звать массы к полному социальному перевороту потому также, что нет еще положительной программы „идей

построяющих“. Ведь одна бакунинская страсть к разрушению не есть еще творческая страсть — так считал Герцен. Вопрос о том, что будет после социального переворота, был главным для него.

Предложенная Бакуниным социальная ликвидация всего старого мира без реальной „построяющей“ программы была не только чужда, но и просто враждебна Герцену.

„Аракчееву, — писал он, — было с полгоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать „экзекуцию“, палачей и пуще фискалов — в них будет огромная потребность. Не начать ли новую жизнь с сохранения специального корпуса жандармов? Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?“ Бакунин и не призывал к этому. Его план был еще более утопичен. Вопрос Герцена звучал риторически. Ответа на него он дать не мог.

Свою задачу видел Герцен в пропаганде словом. Он возражал Бакунину и другим, считавшим, что время слова прошло, время дела наступило. „Как будто слово не есть дело? — писал он. Как будто время слова может пройти?“

Расчленение слова с делом возможно лишь тогда, когда все уяснено и понятно и нужно лишь действовать. „Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен на дело? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности“.

„Историческую попутность“ Бакунин понимал по-своему. Спор старых товарищей разрешила жизнь. Впрочем, незадолго до смерти Бакунин близко подошел к точке зрения Герцена, но пока он был еще очень далек от нее.

Летом 1869 года, когда Герцен заканчивал свои „Письма к старому товарищу“, а Бакунин писал следующую пропагандистскую брошюру „Наука и насущное революционное дело“, Нечаев появился в Москве.

„Мандат, — пишет Ралли, — данный Бакуниным, а также рекомендация к Любену Каравелову в Бухарест, много послужили Нечаеву. В Москве в особенности этот мандат произвел большое впечатление на Успенского и других“.[414]

Упорно и настойчиво действуя от лица мифического Центрального русского комитета, связанного с Европейским революционным комитетом, он сумел объединить рвущуюся к реальной борьбе молодежь в несколько кружков. Однако иезуитские методы работы: составление взаимных характеристик членов кружка друг на друга, диктаторство Нечаева, наконец, само содержание предлагаемой им программы борьбы — все это

не могло надолго удержать в подчинении молодых людей и никак не способствовало созданию той централизованной организации с железной дисциплиной, о которой мечтал Нечаев. Оппозиция к его планам, проявленная студентом Ивановым, кончилась трагически для последнего. Стремясь укрепить свой авторитет диктатора, не допустить ни малейшего отступления от проповедуемых им истин, а также устрашить других членов организации и „связать их кровью“, Нечаев в сообществе с Успенским, Кузнецовым, Прыжовым и Николаевым организовал убийство Иванова.

Опубликованное недавно во французском журнале письмо Г. А. Лопатина к Н. А. Герцен (дочери) от 1 августа 1870 года следующим образом повествует об этом событии: „…Я знал, что У[спенск]ий выманил И[вано]ва в лес под приличным предлогом, и я всегда удивлялся, почему, идя с ним рядом, он не выстрелил ему в висок? Для чего тут понадобилось пять человек? Но теперь мне пишут, что, по рассказам участников, они так растерялись, что забыли, что при них есть оружие, и стали бить И[ванова] камнями и кулаками и душить руками; вообще убийство было самое зверское. Когда Иванов был уже мертв, Нечаев вспомнил о револьвере и для большей уверенности выстрелил трупу в голову“.[415]

Преступление было обнаружено на четвертый день. Начались аресты, давшие основание к последующему процессу нечаевцев. Процесс этот состоялся летом 1871 года. Отчеты о заседаниях печатались в „Правительственном вестнике“, так как правительство хотело скомпрометировать революционеров в глазах общества. Однако желаемого результата не получилось. Благодаря неожиданной гласности широкая публика узнала многое о причинах, породивших революционное движение. Авантюристическая же и иезуитская тактика Нечаева была повсюду осуждена. В. Н. Фигнер писала, что теория Нечаева „цель оправдывает средства отталкивала нас, а убийство Иванова внушало ужас и отвращение“.[416]

Революционная молодежь, по словам Н. А. Чарушина, извлекла из этого практический урок „ни в каком случае не строить революционную организацию по типу нечаевской, не прибегать для вовлечения в нее к таким приемам, к каким прибегал Нечаев“.[417]

Еще задолго до процесса слухи об арестах в России достигли пределов Швейцарии. Огарев и Бакунин были обеспокоены.

„Желаю и для тебя и для меня вместе, — писал Михаил Александрович Огареву 7 января 1870 года, — чтобы слухи о нашем Бое (Нечаеве) оказались несправедливыми… А жаль

других молодцов, кто бы они ни были и к каким бы партиям ни принадлежали, даже к утинскому курятнику“.

В том же письме рассказывал он об обстоятельствах своей жизни: „Сын наш выздоравливает, но зато Антося того и смотри свалится. Во-первых, страшно устала, день и ночь в продолжение 10 дней таскала на руках до сих пор единородного, а во-вторых, должна не сегодня, так завтра родить. А я прохожу целую науку практической жизни. Перевожу теперь много и скоро, веду огромную переписку, читаю то Прудона, то Конта и задумываю и приступаю к книге об низложении государства и всех государственных порядков… Скучать некогда. Все мое отдохновение состоит в болтовне с Антосей за обедом и чаем и в чтении журналов в cafй“.[418]

Книга, к которой приступал в это время Бакунин, была главной его теоретической работой „Государственность и анархия“. Несколькими днями раньше, 4 января, об этом же он сообщал Герцену. „А я, брат, перевожу экономическую метафизику Маркса… И в редкие свободные минуты пишу книгу-брошюру об упразднении государства“.[419]

Но увы… как перевод „Капитала“, так и работа над книгой были прерваны новым появлением Нечаева.

12 января Бакунин узнал, что Нечаев, благополучно скрывшись от ареста, прибыл теперь в Швейцарию. Когда Бакунин получил это известие, то так „прыгнул от радости, что чуть было не разбил потолка старою головой. К счастью, потолок очень высок… — писал он. — Я сам непременно хочу видеться с Боем, но сам ехать решительно не могу: во-первых, известная вещь — круглое безденежье, при известных Огареву обстоятельствах… а во-вторых, если бы и были деньги, не мог бы в настоящую минуту отлучиться из дома в ожидании с часа на час происшествия, также известного Огареву. Итак, буду ждать нашего Боя, или скорее боевого, сюда. У меня ждут его покров, постель, стол и комната, а также глубочайшая тайна“.[420] Тайна нужна была прежде всего потому, что Нечаев разыскивался полицией как уголовный преступник (именно так расценило следствие убийство Иванова) и на этом основании мог быть арестован и выдан России.

Письмо Бакунин адресовал как Огареву, так и тем женевским друзьям, которые принимали участие в Нечаеве. Это были: Николай Озеров, Семен Серебренников и Наталья Герцен.

Вскоре сам Нечаев пожаловал в Локарно. Держался он теперь иначе, ведь за плечами его уже было „прошлое“. Как он представил его Бакунину — неизвестно, но по крайней мере не так, как было в действительности. Спустя год, когда Бакунин

прочел в газетах судебные отчеты по делу нечаевцев и „подвиги“ Сергея Геннадиевича стали очевидны, он записал в своем дневнике 1 августа 1871 года: „Процесс Нечаева. Какой мерзавец!“ Но пока Бакунин еще безусловно верил всему и прежде всего обновленной легенде о бюро Центрального революционного комитета, существующем в России и руководящем всем движением.

Первое, что хотел Нечаев от Бакунина, была публичная поддержка его деятельности и организация защиты общественностью от угрозы быть выданным царскому правительству. „Наш Бой совсем завертел меня своей работой, — сообщал Бакунин Огареву 8 февраля 1870 года. — Сегодня по его требованию… написал наскоро статью о полицейских услугах, оказываемых иностранными правительствами русскому в деле разыскивания мнимых разбойников“.[421]

Но, конечно, планы Нечаева в отношении Бакунина не исчерпывались одной статьей. Ему по-прежнему нужны были авторитет, влияние, связи и колоссальная энергия Бакунина, по-прежнему нужны были деньги и издательские возможности.

Центром „русской агитации“ решено было сделать Цюрих, где находилось немало русских студентов. Там же, по мысли Нечаева и Огарева, следовало начать издание нового „Колокола“, к которому ради традиции и средств должна была быть привлечена Наталья Александровна Герцен.

Бакунин же по настоянию Нечаева, выступавшего от лица мифического бюро, должен был целиком переключиться на русскую пропаганду.

Переезд в Цюрих, прекращение работы, дававшей ему средства к жизни, и, главное, содержание семьи были чрезвычайно тяжелы для Михаила Александровича. Но Нечаев настаивал — „Русское дело“, в которое поверил Бакунин, требовало его участия.

„Я сказал откровенно условия, на которых могу *весь* отдаться делу. Победил ложный стыд и сказал все, что должен был сказать. Они были бы глупы, если бы не согласились на них, и бессильны и неспособны, если б не нашли средств к исполнению всех условий, необходимых для дела“.[422]

Условия прежде всего были материальные, так как о программных разногласиях вопрос стал лишь спустя некоторое время. „…Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению делу, я должен иметь средства для жизни… К тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять

эту сумму, если я весь труд свой отдам общему делу“.[423]

Удовлетворить скромные требования Бакунина Нечаев взялся с легкостью. Ему ничего не стоило пообещать Михаилу Александровичу средства, необходимые для жизни, а заодно и избавить его от работы над переводом „Капитала“. Как улаживал это последнее дело Нечаев, Бакунин узнал позднее, а пока он удовлетворился лишь его обещанием о том, что комитет все берет на себя.

Нечаев же от имени бюро комитета направил Любавину следующее письмо:

„До сведения комитета дошло, что некоторые из живущих за границей русских баричей, либеральных дилетантов начинают эксплуатировать силы и знания людей известного направления… Между прочим, некий Любавин… завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса и, как истинный кулак-буржуй, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему задаток и в силу оного взял обязательство не оставлять работу до окончания… Комитет предписывает заграничному бюро объявить Любавину: 1) что если он и подобные ему тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силенки… что он (Любавин) немедленно уведомит Б-на, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать перевод, вследствие требования революционного комитета“.

Далее в письме в угрожающем тоне излагались требования немедленно снять с Бакунина все нравственные и материальные обязательства, связанные с работой.[424]

Обещая Бакунину разрешить его материальные трудности, Нечаев сослался на некоего помещика Н., который продает свое имение для того, чтобы вырученную сумму передать комитету. Однако помещика такого в природе не существовало. Деньги же были нужны не только на жизнь, а главным образом на развертывание новой пропагандистской кампании. Для этого Бакунин помог Нечаеву получить вторую часть Бахметьевского фонда.

Будь жив Герцен, он бы воспрепятствовал этому. Но Александр Иванович умер 21 января 1870 года.

„Огарев! Неужели это правда? Неужели он умер? — писал тогда Бакунин. — Бедный ты! Бедные Natalie обе! Бедная Лиза! Друг, на наше несчастье слов нет. Разве только одно слово: умрем в деле. Если можешь, напиши хоть одно слово.

Твой теперь единственный старый друг М. Б.“.[425]

У старшей дочери Герцена Натальи Александровны — Таты,

как звали ее близкие, — было тяжелое нервное заболевание. Ее состояние, сильно тревожившее отца, возможно, способствовало быстрому течению его собственной болезни. Тата была светлым, чистым, прекрасным человеком. Александр Иванович и все его друзья связывали именно с ней надежды на возможность продолжения его дела. После смерти Герцена близкие, а главным образом брат Александр Александрович и мачеха Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева, окружили ее заботой и вниманием, так как была она еще очень слаба.

В начале февраля Наталья Александровна приехала в Женеву к старым друзьям Тхоржевским и Огареву. Вот здесь-то она и познакомилась с Нечаевым, загоревшимся идеей использовать через нее средства Бахметьевского фонда, втянуть ее в революционные конспирации и прежде всего в издание „Колокола“.

Бакунин, со своей стороны, приложил все усилия как к передаче фонда, так и к тому, чтобы приблизить Тату к „русскому делу“.

Причем в хлопотах о Тате Бакунин руководствовался не только соображениями о пользе делу, но и теплым, дружеским отношением к ней. В письмах к Огареву, называя ее его дочерью, Михаил Александрович говорил: „…Свою старшую дочь ты должен и ты только один можешь спасти. Будет ли она потом в состоянии, сохранит ли охоту заниматься русским делом, — это увидится впоследствии. Насиловать и натягивать ее мысль, ее волю… во имя абстрактного патриотического дела, в ущерб ее здоровью и счастию, ты, разумеется, не станешь — это не в твоем характере. …Неужели бедной и милой Тате не должно быть лучшего исхода в жизни, как сделаться нянькой детей Александра Александровича или компаньонкою Натальи Алексеевны?“[426]

В отношении фонда Бакунин был еще более настойчив, и в результате его и Огарева хлопот вторая часть денег была передана Нечаеву.

Тата, уехав на некоторое время из Женевы, в конце февраля снова вернулась туда и в какой-то мере вошла в курс конспирации Бакунина — Огарева — Нечаева.

Однако отношения с последним осложнились неожиданными обстоятельствами. Нечаев влюбился в Наталью Александровну. Письма его, в которых освещается короткая история этого неудачного романа, опубликованы недавно в Париже Т. Бакуниной и Ж. Катто.[427]

Автор вступительной статьи Татьяна Алексеевна Бакунина (внучатая племянница Михаила Александровича) считает, что со стороны Нечаева было лишь желание любой ценой и любыми

средствами использовать имя и деньги Таты.

Мне кажется, что это не так.

Да, интересы дела всегда были на первом плане для этого неугомонного фанатика. Но в данном случае возникшее вдруг чувство ничуть не мешало этому делу. Да и что неестественного могло быть в увлечении 23-летнего молодого человека красивой, умной девушкой? В другой ситуации этот роман ни у кого бы не вызвал удивления, но здесь Нечаев — иезуит, фанатик, страшный, беспринципный человек… И все же письма его, вносящие новую черту в привычный уже образ, дают возможность предположить, что чувство его было искренним.

Уже в начале марта после нескольких встреч Нечаев объяснился Тате и узнал, что не может рассчитывать на взаимность. 20 марта не в первый раз Тата писала ему: „Итак, чтобы не вышло недоразумения, не забывайте, что, как только я поняла, что, кроме дела, Вы спрашиваете тоже о личных отношениях, я Вам сейчас же дала отрицательный ответ и несколько раз повторяла… Ну и опять говорю Вам, что нет, не люблю“.

Но Нечаев не потерял еще надежды. Вынужденный в мае уехать из соображений конспирации в горы, он продолжал писать ей непривычно для него длинные послания.

26 мая. „Писать к вам становится трудной, хотя и любимой задачей. Вы хорошо знаете, почему я не могу говорить с вами обиняками, почему не могу скрыть того, что думаю, и почему не в силах сдержать ту горячность (по-вашему, грубость), что выходит прямо из души…“

27 мая. „Писем от вас нет. Ждал вчера и жду сегодня, понимаете, с каким нетерпением. Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из прекраснейших в стране; и в самом деле, здесь совмещены все возможные, так называемые, красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня мука: сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно. Кругом горы, леса, ручьи, долины, овраги и прочие „прелести“ природы, которыми я не умею наслаждаться и которые только тоску на душу наводят, да еще какую тоску! Из головы не выходите вы! Что-то думает она теперь? Что у нее в голове? Что будет отвечать? Припоминаю все наши разговоры и чем более вдумываюсь в них, тем более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запугал вас… Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами,

а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямотой… Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы… казалось, ненавидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня.

…Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю“.

30 мая. „…Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски… Как бы хотелось мне вас видеть!.. Соберитесь сюда погулять… Это всего 6 часов езды от Женевы… Верую в вашу решимость и жду вас. …Ради „дела“, ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнеситесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрением самое чистое, высокое, человеческое чувство“.

Но Тата была тверда. Она не только не любила Сергея Геннадиевича, но и вскоре, наблюдая за его деятельностью, перестала верить ему. „Ехать к Вам я и не думаю, — отвечала она на последнее письмо, — работать в одном деле с Вами никогда не буду. Видеться нам совсем не нужно, поезжайте в Англию, в Америку, живите там, пока Вас не забудут. Искренно желаю, чтоб Вы как можно скорее пришли к убеждению, что так относиться к людям, как Вы это делаете, невозможно, не возбуждая в них недоверия, которое легко переходит в негодование, или ненависть, или все это вместе“.

Пока Нечаев скрывался в горах и писал Тате отчаянные письма, Бакунин продолжал находиться в Локарно, испытывая страшное беспокойство по поводу отсутствия известий от своего Боя.

„Мой милый друг, — писал он ему 11 мая 1870 года, — что ж значит ваше молчание? Получили ли вы мои письма (от 2-го, от 4-го, от 6-го, от 9-го мая) и депеши (от 5-го, от 7-го)? Я их послал по указанному вами адресу. Если получили, зачем не отвечаете. Вообразите же себе, что я ничего не знаю и не понимаю. Отвечайте немедленно, прошу вас. Где вы? Что вы? Что дело? Что К-н? Где его обещанный ответ? И главное — зачем ассамблея?“

В этот момент Бакунин не знал, что Нечаева нет в Женеве. Известно ему было лишь из писем Огарева, что его срочно требуют в Женеву, где „переполох“, какие-то „ассамблеи“ и прочее.

„Когда же получу от вас объяснение ваших шарад и загадок? Какие у вас ассамблеи, зачем ассамблеи? Что решили? Где Бой? В

Женеве или нет? В чем теперь дело и стоит или лежит оно? Что делает Тата? Что делаешь ты? Как относится ко всему Жуковский? Пиши ради Христа“,[428] — требовал он от Огарева.

Объяснить в письмах положение дел Огарев, очевидно, не мог. Бакунин же не мог ехать за отсутствием денег. Ведь он был не один. Для того чтобы везти семью, нуяшы были не только средства, но и заранее приготовленная квартира. Причем Антося требовала эту квартиру только в деревне. „Эта необходимость, — писал он Огареву, — объясняется главным образом известными тебе обстоятельствами“. „Ты видишь, сколько хлопот, — сетовал он в другом письме. — Где те времена, что взял мешочек и отправился из одного конца мира в другой!“[429]

В ожидании ответа и денег Бакунин буквально каждый день направлял запросы женевским друзьям. „Если бы я был убежден, что действительно мое немедленное присутствие необходимо для спасения дела или жизни, или чести одного из вас, я бросил бы все и поехал…“[430]

Речь действительно шла о спасении и „дела“ и „чести“, и не одного из его друзей, а прежде всего самого Михаила Александровича.

В начале мая в Женеву приехал Герман Александрович Лопатин.

Это был известный революционер, обладавший безупречной репутацией мужественного и честного человека. Несмотря на свои 25 лет, он уже имел за плечами аресты, ссылки, побеги. В начале 1870 года он организовал бегство из вологодской ссылки Петра Лавровича Лаврова и вместе с ним приехал в Париж.

Из Парижа он отправился в Женеву, чтобы „уладить дело“ с Бакуниным и Нечаевым. К этому времени в русских революционных кругах опасная роль Нечаева определилась вполне. Провокационные действия его, как, например, составление списков лиц, участвовавших в студенческих кружках, оказавшихся затем в руках полиции, выкрадывание компрометирующих документов с целью держать в руках того или иного человека, упоминаемое выше письмо Любавину и многое другое, сделали его фигурой достаточно одиозной.

Лопатин прекрасно знал, сколь опасным может быть Нечаев, если он будет располагать письмами Любавина, он понимал также, что Бакунин не сможет быть причастен к махинациям своего временного соратника. С тем чтобы объяснить Бакунину истинное положение дел и добиться возвращения документов, находившихся у Бакунина и Нечаева, он и направился в Женеву. Сообщая потом Бакунину причину своего беспокойства за эти документы, Лопатин писал, что он слышал, что по поручению

Нечаева кто-то угрожал Любавину „имеющимися у вас в руках его письмами… Мои приятели не могли представить мне серьезных доказательств, …а передавали их только как достоверные слухи. Но, принимая во внимание: 1) вашу близость с Нечаевым; 2) оригинальное отношение Нечаева к собственности, позволяющее ему иногда класть в карман интересные письма, ключи и т. п. „полезные вещицы“, найденные им в отсутствие приятеля на его письменном столе… 3) принимая во внимание теоретические взгляды на революционную деятельность, развитые Нечаевым в разговорах с моими друзьями, а впоследствии и со мной самим; 4) и, наконец, его образ действий на практике, хорошо известный мне из достоверных сведений… — принимая во внимание все это, я не мог не согласиться, что опасения моих друзей имели за собой некоторые основания“.[431]

Приезд в Женеву Лопатина и вызвал все те „ассамблеи“, о которых писал Огарев Бакунину.

Агенту III отделения П. Г. Горлову — человеку ловкому, готовому по аттестации собственного начальства „идти в Марсель так в Марсель, к Гарибальди так к Гарибальди“, удалось в это время проникнуть в среду революционной эмиграции Женевы.

В донесении, посланном в Петербург, он сообщал, что в первых числах мая прибыл сюда Герман Лопатин „с целью передать неизвестное мне поручение Бакунину и вообще посмотреть, насколько солидарна русская эмиграция“. Об „ассамблеях“, связанных с „неизвестным“ поручением, он не узнал, но на другом собрании, связанном с обсуждением протеста швейцарскому правительству против выдачи политических преступников, присутствовал.

„Собрание состоялось 7 мая 1870 года. На этой сходке присутствовали: бывшая жена Огарева, а теперь почему-то называющая себя женой Герцена, старшая и младшая дочери Герцена, m-me Озерова, русская, настоящей фамилии которой еще не знаю, Жуковский с женой, Элпидин, Гулевич, Мечников, Озеров, Огарев, Лопатин.

Из неэмигрантов один, называвший себя Романовым из Казани, и другой назывался Серебренниковым, и я. Бакунина в Женеве не было“.[432] Об этом собрании Огарев сообщил Бакунину тоже весьма туманно. „Вижу из твоего письма, — отвечал Бакунин, — что собрание было русское и всеобщее, эмиграционное, так как в нем участвовали Мечников и Гулевич, но зачем, по какому вопросу и какая нужда заставили… не знаю… Что делается, что задумывается у вас, ничего не знаю. Жду объяснений“.[433]

Приехал Бакунин меячду 15 и 20 мая и сразу же встретился с

Лопатиным в присутствии появившегося для этой встречи Нечаева. Встреча была нелегкой. Занавес из лжи и мистификаций, много месяцев закрывавший Бакунину истинное положение дел, вдруг приподнялся.

Прежде всего Лопатин убедил Бакунина в том, что все прежние рассказы Нечаева о его побеге из Петропавловской крепости, об организации в России, о комитете, представителем которого он будто является, не более чем миф.

„Нечаев мог рассказывать все это Вам, живущим вне России, — говорил Лопатин, — но он не попробует повторить все это Вам в моем присутствии, зная очень хорошо, что мне известны все кружки, все люди и все отношения и факты в России. Вы видите, что он молчанием своим подтверждает истину всего того, что я говорю и об его бегстве, которого малейшие обстоятельства и подробности, как он сам знает, мне слишком хорошо известны, а также и об его друзьях и об его мнимом комитете“.[434]

Рассказал Лопатин и о том, как Нечаев „улаживал“ отношения Бакунина с Любавиным, послав последнему полное угроз письмо от имени „комитета“. Копию этого письма и копию ответа Любавин прислал Лопатину в Женеву, с тем, однако, чтобы эти документы не были опубликованы. Лопатин ограничился тем, что показал их заинтересованным в деле лицам. По просьбе Н. А. Герцен копии эти остались в ее архиве.

Узнав об истинном положении дел, Бакунин был потрясен. „Я не могу Вам выразить, мой милый друг, — писал он Нечаеву несколько дней спустя, — как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке. Значит, ваш комитет — это Вы… Значит, всо дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше ваших друзей.

…Увлеченный верою в Вас, я отдал Вам свое имя и публично связал себя с Вашим делом… Веря в Вас безусловно в то время, как Вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет — хуже этого, я испортил свое положенно в отношении к русскому и интернациональному делу“.[435]

Необходимость разрыва с Нечаевым стала очевидна. Но надо сказать, что не только поведение Нечаева, лишенное каких бы то ни было этических норм, убедило в этом Бакунина.

Итог второй пропагандистской кампании, развернутой

Нечаевым в феврале — июне 1870 года, показал Михаилу Александровичу всю глубину их теоретических расхождений. Из новой серии прокламаций, брошюр и других изданий, рассчитанных на русскую аудиторию, Бакунин написал, по существу, лишь две: воззвание „К офицерам русской армии“, брошюру „Всесветный революционный союз социальной демократии. Русское отделение“. Брошюра же „Наука и насущное революционное дело“, выпущенная в феврале 1870 года, была написана им еще летом 1869 года. Здесь Бакунин продолжал развивать свои идеи о том, что наука в современном обществе не нужна народу, так как истинной науки правительство не допустит, а подтасованное просвещение только заразит народ „официально-общественным ядом“ и отвлечет от „единственного, ныне полезного и спасительного дела — от бунта“.

Изобразив положение народа, покритиковав его долготерпение, Бакунин обрушивается на главный источник всех бед — государство.

В целом как в данной брошюре, так в двух других, вышедших в это время, новых для Бакунина мыслей, по существу, нет. Но, пытаясь приспособить программу „Альянса“ к русским условиям, обосновать еще раз идею тайного общества, Бакунин не без влияния Нечаева проявляет крайнюю нетерпимость к противникам. Провозгласив полнейшую свободу и полное равенство всех людей, он заключает: „Кто за нее (за программу. — *Н.П.*), тот пойдет с нами и будет нам другом. Кто против нее — тот друг всех супостатов народных, царский жандарм, царский палач, наш враг… Кто не за нас, тот против нас. Выбирайте!“[436]

Основной вклад во второй пропагандистской кампании принадлежит Нечаеву. Им были выпущены листовки: „Что ж, братцы?“, „До громады“, „Мужикам и всем простым людям работникам“, „Гой, ребята, люди русские“, „От русского революционного общества к женщинам“, „К русскому мещанству“, второй номер „Народной расправы“ и, наконец, совместно с Огаревым шесть номеров „Колокола“.

Сам план этой кампании — обращение к разным слоям русского общества и идеи общинного социализма, отразившиеся в ряде этих брошюр, — говорит об определенном влиянии Огарева или о совместном творчестве Нечаева с ним.

„Колокол“ — одно из удивительных изданий этой поры. Задуманный еще во время первой литературной кампании, он сразу же вызвал возражение Д. И. Герцена. „Колокол“ не возможен в направлении, которое ты и Бакунин приняли»,[437] — написал он 30 июня 1869 года Огареву. Герцен выразился точно,

Огарев и Бакунин именно «приняли» программу, сочинил же ее Нечаев.

В письме от 2 июня 1870 года Бакунин писал Нечаеву: «Против своего лучшего убеждения, я уговорил Огарева согласиться на издание „Колокола“ по выдуманной Вами дикой, невозможной программе».[438]

Программа же была просто либерально-конституционной и совершенно расплывчатой. Для определенных принципиальных воззрений Бакунина такое было недопустимо.

В подготовке как первого, так и последующих номеров он не принял никакого участия, а когда весной 1870 года «Колокол» появился, Бакунин писал Огареву и Нечаеву:

«Прочитав со вниманием первый номер возобновляемого вами „Колокола“, я остался в недоумении. Чего вы хотите? Ваше знамя какое? Ваши теоретические начала какие и в чем истинно состоит ваша последняя цель? Одним словом, какой организации желаете вы в будущем для России? Сколько я ни старался найти ответ на этот вопрос в строках и между строками вашего журнала, признаюсь со скорбью, что я ничего не нашел. Что вы такое? Социалисты или поборники эксплуатации народного труда? Друзья или враги государства? Федералисты или централизаторы?»[439]

Познакомившись с номерами нового «Колокола», которые кстати прислал ему Бакунин, Маркс писал Энгельсу: «Итак, „Колокол“ под руководством Бакунина станет еще великолепнее, чем при Герцене».[440] Но спустя три дня Маркс понял свою неточность. И мая 1870 года он исправил ее в новом письме к Энгельсу: «При ближайшем рассмотрении я увидел, что редактором является Огарев. Бакунин поместил в первых номерах только *одно* письмо, в котором разыгрывает постороннего, обвиняет редакцию в отсутствии принципов и т. п., рекламирует себя как социалиста и интернационалиста и т. п.».[441]

Пропагандистские брошюры, выходившие из-под пера Нечаева, к счастью для Бакунина, не предназначались для западного читателя, а сразу же переправлялись в Россию. Одним из любопытнейших произведений Нечаева, выпущенных в период второй пропагандистской кампании, стал второй номер «Издания Общества Народной расправы».

Бакунин теперь смог окончательно убедиться в полном несходстве своей анархической программы с предложенным Нечаевым образцом диктаторского режима.

В статье «Главные основы будущего общественного строя» Нечаев создал примитивную схему казарменного коммунизма. Тотчас после «низвержения существующих основ» Нечаев

предлагал сосредоточить все «средства для существования общественного в руках нашего комитета» и объявить обязательную для всех физическую работу.

«В течение известного числа дней, назначенных для переворота и неизбежно последующей за ним сумятицы, каждый индивидум должен примкнуть к той или иной рабочей артели, по собственному выбору… Все оставшиеся отдельно и не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные столовые, ни в общественные спальни… одним словом, не примкнувшая без уважительных причин к артели личность остается без средств к существованию.

Для нее закрыты будут все дороги, все средства сообщения, остается только один выход — или к труду, или к смерти».[442]

Говоря далее о внутренней стороне трудовой жизни артели, Нечаев пишет, что за работой и ее качеством должен следить выборный из среды рабочих «оценщик». Все «оценщики» объединяются «конторой», которая «занимается регулированием хода работ, развитием деятельности и усовершенствованиями всей этой местности, будет ли то село или город».

«Контора заведует всеми общественными учреждениями (спальнями, столовыми, школами, больницами), общественными местными работами больших размеров, где участвуют поочередно все работники всех артелей…

Контора заведует воспитанием детей, для которых целесообразно устраивать особые здания… До наступления известного возраста, принятого в местности за норму, дети не принадлежат к артелям. Матери, желающие сами воспитывать своих детей, могут этим заниматься, но это не избавляет их от обязанности работать физически известное число часов в сутки. Вообще все работники по наступлении часа, в который оканчивается физический труд, могут заниматься чем угодно: отдыхать, гулять, быть в музеях, в библиотеках… быть в театре актером или зрителем, заниматься наукой или изобретениями и открытиями».

«Все юридические, сословные права, обязанности и институции, освященные религиозными бреднями, не имеют места при новом строе рабочей жизни. Мужчина и женщина… будучи производительным работником, могут быть свободны во всех отношениях… Отношения между полами совершенно свободные. При взаимном согласии мужчина и женщина живут вместе и расходятся, если не найдут это более удобным».

Мировоззрение всех членов общества, считает Нечаев, преобразуется радикально. Те же, кто не сможет это сделать,

«должны погибнуть во дни переворота».

Идеальная, по Нечаеву, организация общества и в самом деле напоминает страницы Достоевского. «Первым делом понижается уровень образования, науки и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроить послушание. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая.

Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желания собственности.

Мы уморим желания: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».[443]

Картина, созданная писателем, конечно, утрирована, но где-то по идее совпадает со стремлениями Нечаева.

Таким-то вот казарменно-тоталитарным вариантом коммунизма хотел увлечь Нечаев молодое поколение. Для большей убедительности, однако, он счел нужным снабдить статью совершенно фантастическим примечанием.

«Подробное теоретическое развитие наших главных положений желающие найдут в изданной нами статье „Манифест Коммунистической партии“.

Ссылка на „Манифест“ — еще одна очередная мистификация, еще одна попытка использовать чужой авторитет для поддержания своих поистине бредовых идей.

Каково же было в целом теоретическое кредо Нечаева?

Задачу свою и небольшой группы, по его мнению, настоящих революционеров он видел в том, чтобы „до конца разрушить этот поганый строй“. Все политические направления, будь то анархизм, либерализм или бланкизм, он готов был использовать в той мере, в какой они служили делу разрушения существующего строя. Принципиальность в вопросах политических, как и во всех других, была ему абсолютно чужда. Однако ясно одно: анархизм, особенно в своей положительной программе, менее всего импонировал Нечаеву. Не мог он принять и свойственное Бакунину уважение к народу и ко всем институтам народной жизни, так как не только не уважал народа, но и презирал его, считал, по существу, лишь объектом социальных экспериментов.

Характерна в этом отношении фраза, сказанная им однажды П. Успенскому: „Любить народ, это значит вести его на пулеметный огонь“;[444] характерны и планы социального переустройства народной жизни, представлявшие собой картину „казарменного коммунизма“ с железной диктатурой „нашего

комитета“.

Итак, теоретическая и этическая несовместимость взглядов Бакунина и Нечаева, казалось, должна была быть ясной с самого начала. Но увы… для Бакунина эта ясность наступила лишь через полтора года тесного сотрудничества с человеком, совершенно чуждым ему по духу и взглядам.

Колоссальная ошибка, совершенная им, в какой-то мере могла быть объяснена его чрезмерной доверчивостью и большой долей наивности в отношениях с людьми, при полной уверенности в своей опытности, мудрости и даже хитрости. Сыграло здесь роль и его не удовлетворенное всю жизнь стремление в любой форме служить русскому делу. Причем характерно, что этот сложный и многогранный человек, не лишенный порой определенных диктаторских замашек в кругу своих братьев по партии, готов был в интересах революционного дела играть любую подчиненную роль, идти, как он писал Герцену, „в барабанщики или даже в прохвосты“. Возможно, кажется нам, что вполне искренне писал он в свое время в „Исповеди“ о том, что у него мало честолюбия и что он охотно мог бы подчиниться каждому, „лишь бы только увидеть в нем способность, и средства, и твердую волю служить тем началам, в которые я верил… как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убежденье и вере“.[445]

„Способности, средства, твердую волю“ — все это он увидел в Нечаеве. Увидел он и то, чего совсем не было, — общность теоретических воззрений. Произошло это потому, что в первый свой приезд Нечаев скрывал свою беспринципность в этих вопросах, ловко оперируя понятиями, взятыми им из бакунинских программ.

Еще до опубликования второго номера „Народной расправы“, поняв существенную разность взглядов Нечаева со своей программой, Бакунин решил еще раз попробовать убедить своего недавнего соратника, изложив ему основы своих взглядов на народный характер предстоящей революции. Мысли эти пронизывают все работы Бакунина. Но в письме от 2 июня 1870 года звучат и новые для него идеи, здесь ставится вопрос о необходимости тщательной подготовки революции. „Тайные общества“ революционеров, пишет Бакунин, „должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения“; они „должны быть заложены и организованы не в видах близкого восстания, а с целью продолжительной и терпеливой работы“.[446]

Народ, включающий в себя в качестве возбуждающего

фермента и „разбойный мир“, — есть армия революции. Штаб же ее, считает Бакунин, должен состоять из разночинной интеллигенции. „Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян… Но этот мир надо действительно организовать и морализировать. Вы же, — обращается он к Нечаеву, — своею системою его развращаете и готовите в нем себе изменников, народу же эксплуататоров“.

Здесь сталкиваются проблема нравственности, вставшая во весь рост перед Бакуниным, и проблема использования „темных элементов народной жизни“. „Как же морализировать этот мир?“ — ставит вопрос Бакунин и тут же отвечает на него: „Возбуждая в нем прямо сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание нашей пропаганды. Ближайшая цель ее — создание тайной организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народно-вспомогательную силу и сделаться практическою школою нравственного воспитания для всех членов…“.[447]

Утопизм и даже просто наивность планов Бакунина, направленных на то, чтобы морализовать „этот мир“, очевидны, однако интересно то значение, которое он придает вопросу нравственного воспитания. Безусловно, что опыт нечаевщины заставил его глубже задуматься над этой проблемой и включить подобные требования в свой новый проект программы тайного общества, который он предлагал принять Нечаеву. Ибо, несмотря ни на что, еще не потерял надежды обратить его на путь истинный.

Изложив свои программные и этические требования, Бакунин в конце письма еще раз поставил условием Нечаеву прежде всего полную искренность, отказ от „полицейско-иезуитской системы“, отказ от нелепой мысли, „что можно совершить революцию вне народа и без участия народа“, принятие „социально-революционной программы, изложенной в первом номере „Народного дела“, и плана организации и революционной пропаганды“, изложенной в письме. В случае согласия Нечаева Бакунин предлагал установить „новую крепкую связь“, создать „заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей“, издавать „Колокол“ с явною революционною социалистическою программою».

9 июня, закончив письмо, Бакунин направил его Огареву, Озерову, С. Серебренникову и Н. А. Герцен с просьбой снять и сохранить копию, а затем передать Барону (Нечаеву). Копия с

письма была снята Натальей Александровной. Еще при жизни отца она ведала его деловой перепиской. Ее моральный авторитет был настолько велик, что не раз к ней обращались деятели революционной эмиграции с просьбой выступить в роли арбитра при тех или иных сложных обстоятельствах, снять и сохранить копии тех или других важных писем. Именно благодаря ее деятельности многие документы были сохранены и с недавнего времени стали достоянием общественности.

Надежда Бакунина на возможное перерождение Нечаева поразила Наталью Александровну. «Как Вы можете еще думать, — писала она Бакунину, — о возможности работать с ним (Нечаевым) после всего, что произошло между вами, после всего, что Вы сами рассказали в своем письме к Нечаеву? На чем будет основываться Ваше доверие? А если этого доверия не будет, как Вы будете работать с ним? Как Вы узнаете […], что он Вас не обманывает тайно, как он это делал во время ваших взаимоотношений? Для меня это было бы совершенно невозможным».[448]

Но Михаил Александрович, твердо решивший сделать еще одну попытку союза с Нечаевым, попробовал в следующем письме своим друзьям от 20 июня 1870 года обосновать необходимость подобного шага. «Соборное послание Огареву, Тате, Озерову и Серебренникову, а если […] привлечен к вашему собору, то также […]» — так назывался этот документ, представляющий особый, в том числе и психологический, интерес.

Письмо свидетельствует о большом уважении Бакунина к тем качествам Нечаева, которые он считал его достоинствами, о стремлении объяснить себе и другим его недостатки, понять и в какой-то мере оправдать их, об огромном желании во что бы то ни стало убедить друзей в необходимости дальнейшего сотрудничества с Бароном на новых, высказанных ранее условиях.

Кажется, что пыл, с которым обличал Бакунин Нечаева в письме от 2 июня, поостыл. Он как бы вновь обдумал все, игнорируя личную горечь и обиду, попытался представить «объективно» эту фигуру, хорошо уже известную его друзьям.

«Друг наш Барон, — пишет он, — отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: он предается и весь отдается, другие дилетантствуют, он чернорабочий, другие белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно крепко ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших [рук]; зато другие люди в высшей степени приятные, а он человек совсем неприятный. Несмотря на то, я

предпочитаю Барона всем другим и больше люблю, и больше уважаю его, чем других».[449]

Далее Бакунин пытается воссоздать картину того, как Нечаев дошел до своей иезуитской системы, анализирует его ошибки и в заключение пишет: «Возврат для Барона труден, но не невозможен. А так как он человек драгоценный, и лучше, и чище, и преданнее, и деятельнее, и полезнее нас всех, вместе взятых, то, оставив все мелкие и самолюбивые движения своей души, все личные чувства и обиды в стороне — я говорю это особенно для Вас, Тата, — мы должны дружно соединить свои силы для того, чтобы помочь ему выкарабкаться из омута и дать ему возможность на основании взаимной правды, веры и совершенной прозрачности стать в наши ряды, впереди наших рядов — потому что он все-таки будет самым неутомимым и беспощадно деятельным между нами».[450]

Вскоре всем призрачным надеждам Бакунина был положен конец. 2 июля Михаил Александрович приехал в Женеву для личных объяснений с Нечаевым. В переговорах участвовал Огарев. Бакунин изложил все претензии, в том числе выразил свое возмущение по поводу документов, которые были украдены у него незадолго до этого Владимиром Серебренниковым — адептом Нечаева.

«Ну, да! Это наша система, — отвечал Нечаев, — мы считаем как бы врагами и мы ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне… Мы очень благодарны за все, что вы для нас сделали, но так как вы никогда не хотели отдаться нам совсем, говоря, что у вас есть интернац. обязательства, мы хотели заручиться против вас на всякий случай. Для этого я считал себя вправе красть ваши письма и считал себя обязанным сеять раздор между вами, потому что для нас не выгодно, что, помимо нас, кроме нас, существовала такая крепкая связь».[451]

Как видно из этих слов, весь пафос убеждений Бакунина прошел даром. Нечаев не внял ни одному его совету и продолжал с упорством отстаивать свою «систему». Держась весьма агрессивно и бесцеремонно, он потребовал от Огарева выдачи остатка второй части Бахметьевского фонда (740,5 франка).

Вот как описывает Н. Герцен в своем дневнике дебаты по этому вопросу:

«Они спорили без перерыва до вечера. К семи часам вечера явился Владимир Серебренников и вручил записку Нечаева, где было сказано, что [нам] необходимо объясниться. Вла[димир] Сереб[ренников] не хотел верить тому, что меня не было дома и что я только что выходила с Сашей Рейхель. В десять часов вечера

прибежал Быстров с запиской Бакунина, который опасался за меня, советовал мне уехать на несколько дней и передать остаток фонда Огареву. Быстров остался на некоторое время с намерением прийти на помощь в случае надобности, т. е. если Н[ечаев], Владимир Серебренников и Шарль попытаются силой войти, но никто не пришел […]. [На другой день] Огарев пришел к часу, несмотря на ужасную жару в 33 градуса. Бедняга очень опасался за меня и боялся, как бы Нечаев со мной грубо не обошелся. Бедный Ага, сколько раз он должен был быть разочарован своими „детьми“. Он взял фонд, т. е. остаток в 740 фр. 50. Он вручил мне квитанцию на тот случай, если Нечаев и Влад[имир] Серебренников пришли бы требовать [деньги], затем пошел вручить ее банкиру Ревердену с Семеном Серебренниковым».[452]

Ни о чем не договорившись, Бакунин и Огарев, с одной стороны, Нечаев и Вл. Серебренников — с другой, расстались, однако, внешне мирно. У каждой стороны был здесь свой расчет: Нечаев хотел использовать знакомства и связи Бакунина в Лондоне и Париже, Бакунин же хотел выиграть время, чтобы тем или иным путем получить обратно бумаги, украденные у него В. Серебренниковым и Нечаевым. Однако тут же он счел нужным предупредить своих друзей и прежде всего Таландье и Мрочковского об опасности, которую представляет собой Нечаев.

«Он обманул доверие всех нас, он похитил наши письма, он нас страшно скомпрометировал, одним словом, он вел себя как негодяй. Единственным извинением может послужить его фанатизм. Он страшный честолюбец… так как в конце концов вполне отождествил революционное дело с своею собственною особой… Это фанатик, а фанатизм увлекает его до превращения в совершенного иезуита… Он играет в иезуитизм, как другие играют в революцию. Несмотря на эту относительную наивность, он весьма опасен, т. к. ежедневно совершает акты нарушения доверия, предательства, от которых тем труднее уберечься, что трудно заподозрить их возможность».[453]

Тактика Бакунина вскоре стала ясна Нечаеву. 1 августа 1870 года Бакунин и Огарев получили следующую записку:

«Отчего при расставании, целуя меня как Иуда, вы не сказали мне, что будете писать вашим знакомым. Последнее письмо ваше к Таландье и предупреждение Гильома об опасности участвовать в деле, которого вы всегда были инициаторами в теории, суть самые бесчестные и самые подлые поступки, вызванные мелкой злобой. Вы наперекор всякому здравому смыслу и выгоде дела непременно хотите упасть в грязь. Так падайте! До свидания».

На следующий день, пересылая записку Огареву и Тате,

Бакунин писал: «Вот, друг Ага, записка „нашего Боя“. Я получил ее вчера вечером и посылаю ее тебе сегодня, торопясь тебя порадовать после того, как порадовался сам. Ничего не скажешь, мы были глупцами, и если бы жив был Герцен, как он посмеялся бы над нами, и он был бы прав нас ругать! Нечего делать, проглотим эту горькую пилюлю и будем умнее в будущем».[454]

«Как нравится Вам эта записочка? — обращался Бакунин к Тате. — Фанатик наш в своем более или менее искреннем изуверстве превосходит даже Робер-Макера, а я начинаю сомневаться даже в искренности его изуверства, и нам всем, и мне более всех остается покрыть голову пеплом и с горем воскликнуть: мы были круглыми дураками! Впредь наука — жаль, что старость приходит и что немного лет остается для того, чтобы пользоваться наукой».[455]

Так закончилась для Бакунина нечаевская эпопея. Сам же Нечаев еще около двух лет прожил в Западной Европе.

Одинокий, без средств и почти без связей, всюду преследуемый полицией, он кочевал из страны в страну, из города в город. До самого ареста не порвал отношений с ним, по существу, лишь один человек — Владимир Серебренников. «Товарищ и спутник Нечаева, откровенный негодяй, меднолобый лжец, не оправданный фанатизмом» — так определил его Бакунин.

От своих иезуитских приемов, от своей привязанности к шантажу и мистификациям Нечаев не отказался, украденных бумаг и писем никому не вернул.[456] Осенью 1872 года он был выдан провокатором и схвачен швейцарской полицией.

2 ноября 1872 года Бакунин писал Огареву: «Итак, старый друг, неслыханное совершилось. Несчастного Нечаева республика выдала… Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, а все-таки мне его жаль. Он был человек редкой энергии, и, когда мы с тобой его встретили, в нем горело яркое пламя любви к нашему забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической беде. Он тогда был еще неопрятен снаружи, но внутри не был грязен. Генеральствование, самодурство, встретившееся в нем самым несчастным образом и благодаря его невежеству с методою так называемого макиавеллизма и иезуитизма, повергли его окончательно в грязь».[457] Тут же он высказывал уверенность в том, что, погибая, Нечаев будет вести себя как герой «и на этот раз ничему и никому не изменит».

Бакунин оказался прав. Как на процессе, так и в Алексеевском равелине вел Нечаев себя стойко и мужественно. Причем ему удалось то, что ни до, ни после него никто из

узников равелина совершить не мог. Прибегая к той же мистификации, он смог распропагандировать всю свою охрану, установить связь с новой революционной партией — «Народной волей».

«Он писал, как революционер, только что выбывший из строя, пишет товарищам, еще оставшимся на свободе, — говорила В. Фигнер о том впечатлении, которое произвело на народовольцев первое письмо Нечаева. — …Исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка, оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни».[458]

Умер Нечаев 21 ноября 1882 года, после десятилетнего заключения в крепости.

ГЛАВА IX
РАСКОЛ

В моей природе был всегда коренной недостаток: это любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца.

М. Бакунин

«Ты только русский, а я интернационалист», — писал Бакунин Огареву. Сознание своей причастности к делу освобождения народов помогло Михаилу Александровичу в тяжелый для него момент разрыва с Нечаевым.

События во Франции привлекли в это время все его внимание.

Шла франко-прусская война. Началась она в конце июля 1870 года, а уж в первых числах августа французские войска потерпели серьезные поражения. Вслед за этим в Париже возникли массовые стихийные демонстрации рабочих, требовавших свержения бонапартистского режима Наполеона III, провозглашения республики и вооружения всех граждан, способных носить оружие.

Революционная волна прокатилась и по другим крупным городам Франции: Лиону, Марселю, Тулузе. В революционном подъеме французских рабочих увидел Бакунин зарю социальной революции, которая, по его расчетам, должна была охватить не только Францию, но Италию, Испанию, романскую Швейцарию, привести к уничтожению государственного строя и установлению свободной федерации в этой части Европы.

Время терять было нельзя, и он немедленно приступил к делу. В продолжение трех дней написал он 23 больших письма в Италию, Испанию, Швейцарию и Францию, призывавших к организации немедленных революционных акций.

«События шли ускоренным темпом, — писал Альбер Ришар. — Я получил от Бакунина несколько писем, живо побуждавших меня подготовить все для революционного движения, которое он считал необходимым. В то время он

развивал самую активную деятельность, предлагая всем пошевеливаться, быть наготове, предупредить республиканцев. Одно письмо его следовало за другим. Он пригласил Фанелли и других итальянских республиканцев в Локарно. Он сильно рассчитывал на итальянцев, которые представляли ему положение в своей стране как весьма напряженное. Он побуждал испанцев, революционная организация которых сделала крупные успехи, поддержать намечавшееся общее движение».[459]

Одновременно с практическим конспиративным руководством Бакунин считал нужным и открыто высказать свои взгляды по поводу назревшего революционного кризиса. С этой целью он принялся за «Письма к французу», которые и были вскоре изданы в Невшателе Гильомом в виде отдельной брошюры.

Анализируя расстановку классовых сил во Франции, Бакунин писал о предательстве и контрреволюционности буржуазии, революционной последовательности рабочих, сложной непоследовательной линии поведения десятимиллионного крестьянства Франции. От этой последней силы, как правильно считал Бакунин, во многом зависела судьба революции.

Критикуя действия всех, кто ранее стоял во главе революционных движений, Бакунин упрекал их в том, что они всегда хотели делать революцию сами, «своей собственной властью и своей собственной силой».

«…Я решительный враг революции путем декретов… система декретов, желая навязать свободу и равенство, разрушает их. Анархическая система действий вызывает и создает их неминуемо, вне всякого вмешательства какой-нибудь официальной или авторитарной силы…»

«Что же должны делать революционные власти, — и постараемся, чтобы их было как можно меньше, — что они должны делать, чтобы расширить и организовать революцию? — спрашивал Бакунин. — Они должны не сами делать ее, путем декретов, не навязывать ее массам, а вызвать ее в массах. Они должны не навязывать им какую-нибудь организацию, а вызвав их автономную организацию снизу вверх, под сурдинку действовать, при помощи личного влияния на наиболее умных и влиятельных лиц каждой местности».[460]

План этот, как и большинство построений Бакунина, не только утопичен, но и основан на идеализации как народного сознания, так и тех немногих представителей «революционных властей», которых он по необходимости допускает в свою систему.

«Письма к французу» еще далеко не были закончены, как во

Франции действительно произошла революция.

После разгрома под Седаном 2 сентября 1870 года французская армия капитулировала. 100 тысяч солдат, офицеров, генералов во главе с императором Наполеоном III оказались в плену. Выступив из Седана, немецкая армия двинулась на Париж. В этой обстановке восставшие рабочие, ворвавшись в Бурбонский дворец, потребовали немедленного провозглашения республики. Третья республика во Франции и на этот раз была завоевана рабочими, но власть оказалась в руках буржуазных лидеров и сторонников Орлеанской династии.

Революционные выступления прокатились по всей стране. Там, где сопротивление буржуазии было слабее, чем в Париже, власть переходила в руки революционных коммун.

В самом Париже у Бакунина не было достаточной опоры, но в провинциях: в Марселе и особенно в Лионе, он имел сторонников. Гаспар Блан (адресат «Писем к французу») и Альбер Ришар возглавляли группу лионских интернационалистов, на которую и делал основную ставку Бакунин. К тому же, по свидетельству М. П. Сажина: «Весь тогдашний Интернационал юга Франции, хотя по размерам и незначительный, находился тогда под влиянием Бакунина, и поэтому к его приезду в Лион собрались несколько видных интернационалистов из Марселя, Сент-Этьена и других южных городов».[461]

Ехать в Лион Бакунин решил в тот же день, как узнал о событиях в Париже. 4 сентября он послал письмо А. Ришару, настаивая на том, чтобы Лион и Марсель взяли инициативу восстания в свои руки. «Если рабочие Лиона и Марселя немедленно не поднимутся, то Франция и европейский социализм погибли. Поэтому колебания были бы преступлением, я в вашем распоряжении и жду немедленного ответа». Очевидно, ответ не заставил себя долго ждать, так как уже 6 сентября Бакунин писал А. Фохту: «Мои друзья, лионские революционные социалисты зовут меня в Лион. Я решил понести туда свои старые революционные кости и там, вероятно, сыграю свою последнюю игру».[462] Далее в этом же письме он просил Фохта прислать ему денег на дорогу: и для этой, возможно, последней революционной акции средств у него не было ни копейки.

Кстати, деньги на поездку в Лион занял Бакунин и у агента III отделения Романа, подвизавшегося под именем бывшего кавалерийского полковника, а теперь издателя Постникова. Вынужденный дать Бакунину 250 франков, аккуратный Роман тут же представил счет по начальству. Так III отделение неожиданно приняло косвенное участие в революционных акциях своего злейшего врага.

9 сентября вместе с Л. Озеровым и молодым поляком В. Ланкевичем Бакунин выехал из Локарно и 15 сентября был в Лионе. Комитет общественного спасения Франции, взявший власть в Лионе после первых известий о победе революции в Париже, был к этому времени распущен и заменен муниципальным советом, состоящим в большинстве из буржуазных республиканцев. Опорой муниципалитету служила национальная гвардия. Сторонников продолжения и углубления революции было немного. Первым делом Бакунина стало объединение их. Остановившись в доме члена «Альянса» портного Паликса, Бакунин создал там свою конспиративную штаб-квартиру, где беспрерывно шли заседания руководителей движения. 17 сентября удалось созвать довольно многочисленный митинг, принявший решение о создании Центрального комитета спасения Франции.

19 сентября Бакунин писал Огареву: «Голова идет кругом, так много дела. Здесь революции настоящей еще нет, но будет, и все готовится и делается для настоящей революции. Я иду на пан или пропал. Надеюсь на близкое торжество».[463]

Митинги проходили почти ежедневно, на них являлись толпы рабочих, недовольных существующим положением. 25 сентября на митинге было принято воззвание, излагавшее программу Бакунина. Афиша с текстом этого воззвания была отпечатана и на другой день расклеена на улицах Лиона. Этот документ, подписанный несколькими французами и одним русским, сообщал об упразднении административной и правительственной государственной машины, о создании во всех федерированных коммунах комитетов спасения Франции и об образовании революционного конвента Франции в Лионе. Обращение заканчивалось призывом к оружию.

Рабочие Лиона волновались, но открытых выступлений пока не происходило. 27 сентября Центральный комитет спасения Франции объявил свои заседания беспрерывными. Ночью на заседании впервые открыто выступил Бакунин, высказавшись за вооруженное восстание.

На другой день утром толпа рабочих, явившаяся с красным знаменем на площадь перед зданием ратуши, перешла к решительным действиям и овладела зданием. Предводители движения: Сень, Парратон, Ришар и Бакунин — проникли в ратушу вслед за толпой и оттуда с балкона произнесли речи, обращаясь к народу. В это время в центр города стали подтягиваться батальоны национальной гвардии. Толпа начала рассеиваться.

«Таким образом, — рассказывает сам Бакунин в письме к Э.

Беллерио, — комитет неожиданно увидел себя окруженным врагами. Я был там с друзьями и говорил им беспрестанно: „Не теряйте времени в пустых спорах, действуйте, арестуйте всех реакционеров. Разите реакцию в голову“. Посреди этих речей я оказался окруженным буржуазными национальными гвардейцами под предводительством одного из самых ярых реакционеров Лиона, самого мэра г-на Генона. Я отбивался, но меня потащили и заперли в какой-то дыре, порядочно потрепав меня. Час спустя батальон вольных стрелков, обратив в бегство буржуазных гвардейцев, освободил меня. Я вышел с моими освободителями из ратуши, где не было больше ни одного члена комитета».[464]

На другой день, преследуемый властями города, восстановившими буржуазный «порядок», он вынужден был покинуть Лион. Уезжая, он оставил письмо Паликсу, знаменательное тем, что в нем впервые прозвучали ноты сомнения в готовности народа немедленно совершить социальную революцию:

«Дорогой мой друг. Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность запрещает мне прийти к тебе, чтоб в последний раз пожать твою руку. Мне больше здесь нечего делать. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть вместе с вами. …Я покидаю Лион с глубокой грустью, с мрачными предчувствиями. Я начинаю думать теперь о том, что будет теперь с Францией… Бюрократический и военный разум Пруссии в союзе с кнутом петербургского правительства водворят спокойствие и порядок по крайней мере на пятьдесят лет на всем континенте Европы. Прощай, свобода, прощай, социализм, прощай, народная правда и торжество гуманизма. Все это могло бы быть результатом теперешнего состояния Франции, и все это было бы, если французский народ, если бы народ Лиона этого захотел».[465]

Но мотив пессимизма, прозвучавший в этом письме, вскоре сменился надеждами. Побыв некоторое время в Марселе и несколько оправившись от потрясения, вызванного лионской неудачей, он снова склонен был объяснить ее плохой организацией дела.

В письме к Беллерио от 8 октября 1870 года он пишет лишь «об отложенной игре» и о надеждах взять реванш в Лионе и Марселе под носом у пруссаков. Весьма оптимистично звучит и его письмо к французскому республиканцу А. Эскиросу, написанное в те же дни пребывания в Марселе.

Продолжая здесь свою полемику с Герценом, он писал, что его старый друг убит был своим скептицизмом, подорвавшим его душевные силы, в то время как он, Бакунин, напротив, был полон

веры, был социалистом-революционером не только в теории, но и в практике. «Я верил в осуществление социалистической теории, а именно благодаря этому я его пережил».

В течение месяца Бакунин пытался вновь организовать силы Марселя и Лиона для еще одной революционной попытки, но все было тщетно. Контрреволюция наступала, народ не проявлял революционной активности.

«Ну, брат, день ото дня хуже, — писал Бакунин Огареву 16 октября, после того как получил известия об арестах в Лионе, — …народ молчит, устрашенный казенно-республиканским террором. По найденному списку приказано было арестовать всех… Так что, вероятно, и мне придется скоро убираться отсюда. …Куда я отправлюсь? Еще не знаю. В Барселону? или Геную, для того чтобы оттуда прямо возвратиться в Локарно. В Барселоне я буду ближе к Франции, чем в Локарно. Ваш совет, друзья?»[466] Друзья настоятельно посоветовали отправиться обратно в Локарно.

Чтобы благополучно выбраться из города, он вынужден был вооружиться не только подложным паспортом, но и изменить свою наружность. Он остриг волосы, сбрил бороду, надел синие очки и, взглянув на себя в зеркало, проворчал: «Эти иезуиты заставили меня перенять свой тип».

Уезжая, он написал письмо своему соратнику по «Альянсу» Сентиньону, незадолго до этого вызванному им в Лион из Барселоны.

«Дорогой друг, я окончательно потерял веру в революцию во Франции. Эта страна совершенно перестала быть революционной. Сам народ сделался здесь доктринером, резонером, буржуа на манер буржуазии. …Милитаризм и бюрократизм, юнкерская наглость и протестантский иезуитизм пруссаков, в трогательном союзе с кнутом моего драгоценного государя и повелителя, императора всероссийского, станут господствовать на Европейском континенте бог знает в продолжение скольких десятилетий. Прощай, все наши мечты о близком освобождении! Теперь начнется убийственная и страшная реакция».[467]

Вернувшись в Локарно, Бакунин засел за работу. Сначала он предполагал, что будет продолжать «Письма к французу», в которых теперь уже не спеша выскажет все свои взгляды на существующее положение. Но постепенно он обнаружил, что писания его выливаются в отдельную книгу.

«Я пишу патологический эскиз настоящей Франции и Европы, — сообщал он Огареву, — для назидания ближайших будущих деятелей, а также для оправдания своей системы и своего образа действий. Итак, хочу написать нечто полное и

вполне цельное. Выйдет не брошюра, а книга».[468]

Целой книги, однако, так и не вышло. Писал он свою работу частями, со многими отступлениями. Выходила она отдельными выпусками. До конца ее он не довел, так как на этот раз борьба в Интернационале отвлекла все его силы. Но то, что в результате вышло под названием «Кнуто-германская империя и социальная революция», было написано живо, интересно и остро полемически. Задавшись целью создать книгу не на потребу момента, Бакунин не смог, конечно, отойти от вопросов, глубоко его волновавших в настоящее время. Любовь к Франции, боль за ее поражение, за пассивность ее народа, острая критика Германской империи, проблемы социальной революции — все это нашло свое место на страницах книги.

Важно отметить, что в этой работе Бакунин впервые столь отчетливо сформулировал вопрос о движущих силах революции. Неясный, недифференцированный термин — народ в последнее время в его писаниях вообще стал заменяться более конкретными, более точными классовыми понятиями. Еще в 1869 году в письме к Вырубову он писал: «Исторический класс ныне — работник. Вот наш новый мир… Между двумя противоположными мирами, буржуазным и рабочим, есть в действительности много оттенков. …Я по природе человек не оттенков и потому целиком ушел в рабочий мир».[469]

«Единственный класс, который действительно открыто носит ныне в своих недрах революцию, есть класс городских рабочих», — формулировал он свою точку зрения в «Кнуто-германской империи».

Так рабочее движение дало урок Бакунину, заставив его отойти от утопических представлений о народе вообще и приблизиться к истинному пониманию роли пролетариата в социальной революции.

Но рабочие не могут победить без участия в борьбе крестьян. Как же революционизировать их? «Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов вольные отряды, — утверждает Бакунин. — Общее правило, кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. … Итак, прежде всего пропагандистские вольгые отряды должны быть сами революционно вдохновлены и организованы. Они должны носить революцию в своей груди, чтобы быть в состоянии вызвать и возбудить ее вокруг себя».[470]

Первый выпуск «Кнуто-германской империи» вышел в апреле 1871 года. Работу над книгой Бакунину приходилось вести в трудных условиях. Угнетенное моральное состояние после лионской неудачи, физическая надломленность и постоянный

фактор — полное отсутствие средств к существованию — делали его жизнь крайне тяжелой.

25 января 1871 года Антонина Ксаверьевна писала одному из друзей мужа: «Мишель находится в очень угнетенном состоянии, он говорит: „Что делать? Я слишком стар, чтобы начинать зарабатывать мой хлеб; мне остается немного времени жить“. Экономический вопрос угнетает его настолько, что он потерял свою энергию и буквально убит».

А вот строки из записной книжки Михаила Александровича зимой 1870/71 года: «Январь 2 — кошелек пуст. Дано Антони 5 франков. 3 — денег ничего нет. Занял у Мари 45 фр. 5 — дано Антони 20 фр. 9 — дано Аитони 3 фр. 11 — денег нет. 13 — денег нет. 14 — взято у Мари 40 фр. 16 — получено 200 франков от Гамбуцци. 18 — заплачено 60 фр. в колбасную. 19 — уплачено булочнику 30 фр.: остается в кошельке 67 фр. …24 — в кармане — 20 фр. 25 — нет чая. 28 — письмо к мадам Францони; завтра, без сомнения, ответ. Какой ответ: нуль? 200? 300? 400? 29 — получено от мадам Францони 300 фр. Париж капитулировал 28;

…март 2 — в кармане только 16 франков; 6–5 франков в кармане; что делать? обратиться к мадам Францони? 7 — к Францони — ни за что. Всего 5 фр. 8 — болен. 9 — в кармане 3 фр. 30 с. 10 — в кармане остается 1 фр. 85 сант. 11 — осталось 5 сантимов… 13 — нет ответа ни от Гамбуцци, ни от Лугинина тоже. 17 — нет писем, денег нет, в кармане — 99 сантимов… 18 — письмо от Гамбуцци без денег. Взял 110 фр. у мадам Педрацини. Еду завтра».[471]

Мадам Педрацини была квартирной хозяйкой Бакунина. Заняв у ней деньги, Михаил Александрович направился во Флоренцию к Лугинину, который обещал ему заняться вопросом о разделе его с братьями и выделении его доли наследства. Пока же, получив несколько сот франков взаймы, Бакунин 3 апреля вернулся в Локарно.

Обстановку, в которой жил Михаил Александрович в Локарно, описал М. П. Сажин. Узнав, что Бакунин очень бедствует, он собрал среди молодежи 150 франков, купил чаю и табаку и отправился к Мишелю, как звали его в дружеском кругу. Квартира, состоявшая из двух комнат, в одной из которых жил Михаил Александрович, а в другой — Антонина Ксаверьевна с детьми, поразила Сажина своей бедностью. «Обстановка была самая убогая, мебелишка самая простая; так, в комнате его стояли: кровать, стол, три-четыре стула и сундук, в котором лежало белье, а единственная суконная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки с книгами. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель расцеловал меня и позвал жену, которая,

увидев все это на столе, громко сказала: „Ну вот мы будем и с мясом. Надо сейчас же уплатить булочнику и мяснику, сколько можно, и тогда мы снова будем иметь у них кредит“».[472]

Зима, столь тяжело сложившаяся лично для Бакунина, была полна трагическими событиями в жизни Европы.

Столица Франции переживала осаду. Немцы блокировали город уже 19 сентября. Буржуазное правительство Трошю не хотело оборонять Париж. 27 октября маршал Базэн сдал противнику крепость Мец вместе со всей армией. Пока маршалы и генералы предавали интересы Франции на полях сражений, Тьер по поручению правительства вел в Версале переговоры с Бисмарком о капитуляции. 31 октября в Париже вспыхнуло восстание, которое на другой день было подавлено правительственными войсками. В течение последующих месяцев осады в городе свирепствовали голод, холод и эпидемии.

22 января произошло новое неудачное восстание парижских рабочих, а 28, завершая цепь своих предательств, правительство сдало Париж немцам.

17 февраля главой новой исполнительной власти назначили Тьера. В конце месяца в Версале был подписан позорный для Франции мир с Бисмарком. Пролетариат Парижа ответил на это призывом к оружию. 18 марта 1871 года была провозглашена Коммуна. В последующие дни Коммуны возникли в Марселе, Сент-Этьене, Тулузе, Крезо и нескольких других городах. Революционная волна вопреки мрачным прогнозам Бакунина вновь всколыхнула Францию.

Как же отнесся к этим событиям Михаил Александрович? Прежде всего он попытался установить связь с членом Коммуны Варленом, разделявшим в основном его взгляды, затем он стал собираться к своим друзьям по «Альянсу» в Сонвилье, так как в столь волнующей обстановке, требующей к тому же немедленных действий, не мог находиться один в Локарно. Однако веры в успех революции на этот раз у него не было. Было лишь огромное уважение и сочувствие «парижскому отчаянному движению».

«Чем бы ни кончилось, — писал он Огареву, — а надо сказать, что молодцы. В Париже нашлось именно то, чего мы тщетно искали в Лионе и Марселе: организация и люди, решившиеся идти до конца. Вероятно, они будут побеждены. Но вероятно то, что для Франции отныне не будет другого существования, кроме социальной революции».[473]

В тот же день, 5 апреля, он писал Озерову: «По всем вероятностям, парижане погибнут недаром, сделав дело; пусть положат с собой по крайней мере пол-Парижа. …Все достоинство этой революции состоит именно в том, что она революция

рабочих. Вот что делает организация. Наши друзья во время осады успели и умели организоваться и таким образом создали громадную силу, а наши лионские и марсельские остались ни при чем. В Париже сосредоточилось слишком много способных и энергичных людей, так много, что боюсь, чтобы они не стали мешать друг другу. Зато в провинции нет никого».[474]

Приехав в конце апреля в Сонвилье и занимаясь делами «Альянса», Бакунин выступил здесь также и с несколькими лекциями перед рабочей аудиторией. В лекциях он говорил о ведущей роли рабочих в социальной революции, о необходимости их союза с крестьянством.

«Да, дорогие товарищи, вы, рабочие, солидарно объединенные с вашими братьями рабочими всего мира, вы являетесь ныне исполнителями великой и исторической задачи — освобождения человечества. Для выполнения этой огромной задачи вы имеете своим сотоварищем крестьянина. Но крестьянин не обладает еще в достаточной степени сознанием о великой задаче народа. …Вы должны просветить крестьянина, познакомить его с тем, что такое Социальная Революция».

Настойчивая постановка вопроса о необходимости пропаганды среди крестьян была вызвана прежде всего требованиями момента, когда французские крестьяне оставались безучастными зрителями революционной борьбы Коммун.

Тот же опыт Коммуны подсказывал Бакунину и необходимость требования организации рабочих.

«Если Парижская коммуна, — говорил он, — продолжает геройски держаться до настоящего момента, то причина этого заключается в том, что парижские рабочие во все время осады Парижа объединились в союзы и укрепили свои организации.

…Будем же братьями, товарищи, и организуемся. Не думайте, что мы присутствуем при конце Революции, нет, наоборот, мы переживаем только ее начало. Отныне Революция стоит на очереди, и она будет стоять еще десятки лет. Она настигнет нас рано или поздно. Будем же готовиться, очистимся от наших эгоистических привычек, будем меньше разглагольствовать, перестанем быть крикунами и фразерами… Приготовимся достойно к этой великой борьбе, которая должна спасти все народы и окончательно освободить человечество. Да здравствует Социальная Революция! Да здравствует Парижская коммуна!»[475]

Призыв к терпеливой организационной работе, которая может продлиться еще десятки лет, к мужеству ожидания перекликается в какой-то мере с аналогичными мыслями в отношении русского движения, высказанными в письме к Нечаеву от 2 июня 1870 года. Видно, весь предыдущий опыт заставил

Бакунина в 1870–1871 годах во многом трезвее взглянуть на окружающий мир, пересмотреть свои прежние оценки методов, сил и темпов борьбы.

Пока Бакунин находился в Сонвилье, трагические события в Париже нарастали. 22 мая газеты принесли известие о том, что версальские войска овладели воротами Сен-Клу и, таким образом, проникли в город. Началась агония Коммуны, она вошла в историю под названием «кровавой недели». Над побежденным Парижем раздавались залпы митральез; торжествующие версальцы сотнями расстреливали пленных коммунаров.

В этой обстановке, когда демократическая Европа была потрясена жестокостями версальцев, Мадзини выступил с серией статей против Интернационала и против Коммуны, обвиняя деятелей последней в атеизме и социализме.

Бакунин не счел себя вправе промолчать. Его «Ответ одного интернационалиста Джузеппе Мадзини» был напечатан в виде отдельной брошюры и произвел большое впечатление в Италии.

«В критический момент, когда геройский парижский народ избивался десятками тысяч вместе с женщинами и детьми за то, что он защищал дело гуманности, дело справедливости, великое дело освобождения трудящихся целого мира, в этот момент, когда подлая реакция выливает на парижский народ целые потоки лжи и клеветы, Мадзини, великий и чистый демократ, поворачивается спиной к делу пролетариата, забывает свою роль пророка и апостола и, в свою очередь, также выступает со своим порицанием».[476]

Парижскую коммуну Бакунин продолжал защищать и пропагандировать и во введении ко второму выпуску «Кнуто-германской империи», которое он закончил в июне 1871 года.

«Я, — писал он, — сторонник Парижской коммуны, которая, будучи подавлена, утоплена в крови палачами монархической и клерикальной реакции, сделалась через это более жизненной, более могучей в воображении и в сердце европейского пролетариата; я — сторонник Парижской коммуны в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным отрицанием государства».[477]

Парижская кохммуна не была, конечно, примером анархистской организации общества. В разрушении Коммуной буржуазных государственных учреждений увидел Бакунин принципиальное отрицание государства. Однако наряду с разрушением буржуазных государственных институтов главным делом Коммуны стало создание государства нового типа. Этот опыт Коммуны обогатил революционную теорию Маркса и Энгельса. В 1872 году они писали: «В особенности Коммуна

доказала, что „рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей“».[478] В. И. Ленин впоследствии подчеркивал: «Мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен *разбить, сломать* „готовую государственную машину“, а не ограничиваться простым захватом ее».[479]

Бакунин и его друзья по «Альянсу» имели прочную опору в Швейцарии в юрских секциях Интернационала. Когда в 1870 году, 4–6 апреля в Ла-Шо-де-Фоне собрался конгресс Романской федерации Международного товарищества рабочих, бакунисты предприняли попытку склонить на свою сторону всю Романскую федерацию.

«Бой, который будет дан в Ла-Шо-де-Фоне, — писал Бакунин, — будет иметь огромный мировой интерес. Он будет предвестником того боя, который мы должны будем дать на предстоящем конгрессе Интернационала».[480]

Главный бой должен был разгореться вокруг вопроса о политической борьбе. Бакунин, как противник политической борьбы, называл участие рабочих в политических кампаниях «местнической политикой буржуазного радикализма». Представители женевских секций доказывали Необходимость политических форм борьбы: участия в парламентах, в выборах, вступления в избирательные блоки С радикальной буржуазией.

«Абсурд, будто Интернационал должен игнорировать вопросы политики и рассматривать их как абстракцию»,[481] — писал по этому поводу накануне конгресса член Генерального совета Герман Юнг.

Однако уже в первый день заседания разгорелись прения по вопросу о присутствии на съезде делегатов «Альянса». По этому поводу особенно резко выступил делегат женевских секций Утин. «Всегда и везде, — говорил он, — Бакунин проповедует свои пагубные идеи и стремится установить свою личную диктатуру». Называя Бакунина и его друзей «врагами рабочего народа», он, по свидетельству Гильома, заключил свою речь словами: «Если было бы возможно, то Бакунина и его друзей следовало бы гильотинировать ради общего блага».[482]

В результате голосования 21 делегат высказался за присутствие делегатов «Альянса», 18 — против. После этого противники «Альянса» покинули съезд и в последующие дни заседали отдельно.

В итоге оба съезда избрали свои федеральные советы и органы печати. Бакунинский совет обосновался в Ла-Шо-де-Фоне, и его органом стала газета «Солидарность», редактируемая Гильомом. Совет Романской федерации и его орган «Равенство»

остались в Женеве.

Так раскол в Романской федерации, давно уже существующий на деле, принял законченные формы. Генеральный совет, поставленный в известность об этих событиях, решил оставить функции федерального комитета за Романским комитетом, юрцам же было предложено образовать свою федерацию.

Юрская федерация, этот опорный пункт Бакунина, не ограничила свою деятельность пределами Швейцарии. Агитационная кампания Бакунина и его сторонников широким фронтом велась в Испании и Италии.

В фарватер бакунизма прежде всего попадает итальянское революционное движение. Разочарование в прежних путях борьбы, особенно явственно сказавшееся после реформистских выступлений Мадзини, стремление к радикальным действиям и программам толкают итальянских революционеров на путь, подсказываемый им Бакуниным.

Начиная с августа 1871 года в итальянской демократической прессе появляется серия его статей, направленных сначала против религиозных воззрений Мадзини, а затем и против его политической программы.

Выступая как член Интернационала, защищая международную солидарность, Парижскую коммуну от нападок реакции, Бакунин в то же время проповедует свои антигосударственные, федералистские идеи.

Благодаря отсталости итальянского рабочего движения, незнакомству широких кругов с опытом революционной борьбы других стран, инстинктивной тяге всех демократических сил к социализму пропаганда Бакунина, выступавшего под флагом Интернационала, имеет большой успех. Его выступления против политической борьбы подхватываются итальянскими революционерами, в представлении которых само понятие политической партии связывается с беспринципностью, политиканством и интригами.

Связи Бакунина в Италии, ограничивающиеся ранее главным образом Неаполем и Флоренцией, распространяются на Милан, Лугано, Болонью и другие города, а число его сторонников быстро растет.

Первые секции Интернационала в Испании были основаны бакунистами, из которых главным деятелем стал Т. Г. Мораго. Используя популярность Интернационала, Бакунин вооружил эти секции анархической программой «Альянса». Таким образом, представительство испанского рабочего движения на конгрессах Международного товарищества с самого начала оказалось анархическим.

Деятельность «Альянса», в значительной мере направленная против руководства Генерального совета всем международным рабочим движением, вносила дезорганизацию в его ряды. Для сохранения и укрепления единства руководства движением необходима была решительная борьба против «Альянса».

Летом 1871 года в Генеральном совете был поставлен вопрос об исключении из Интернационала секций «Альянса».

Некоторые юрские секции решили самораспуститься. Получив известие о таком намерении юрцев, Бакунин был возмущен.

«Пусть не говорят мне, что я должен принести жертву ради блага и успокоения самого Интернационала. Никогда благо чего-либо не может быть достигнуто при помощи подлости. Мы не имеем права склоняться перед ними, потому что, уступая им, мы унижаем наше дело и наши идеи, и, чтобы сохранить видимость мира в Интернационале, мы должны будем пожертвовать для этого правдой и нашими принципами.

Открытая борьба придаст Интернационалу силу и жизнь, потому что в открытой борьбе, в столкновении будут замешаны не только личности, но и принципы и идеи».[483]

Теоретическому основанию этой борьбы Бакунин посвятил и свою главную работу «Государственность и анархия». Начал он писать ее еще в 1870 году, но события увлекли его в другую сторону. После нечаевской эпопеи, после франко-прусской войны и Парижской коммуны, после книги «Кнуто-германская империя» он снова вернулся к прерванной работе. Борьба, развернувшаяся в Интернационале, требовала, считал он, ясной формулировки его позиции. В своем бескомпромиссном отрицании государственности, в своей враждебности к марксистскому учению о государстве Бакунин был глубоко не прав.

Потеряв в пылу полемики объективность оценок, не вдумываясь в аргументацию своих оппонентов, он не заметил главного — того, что сближало анархизм с марксизмом. Этим сближающим моментом и был вопрос о государстве. «Маркс сходится с Прудоном в том, что они оба стоят за „разбитие“ современной государственной машины. Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном и с Бакуниным) ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они отошли от марксизма в этом пункте»,[484] — писал В. И. Ленин в 1917 году.

Владимир Ильич пояснял, что государство нужно пролетариату лишь на время. «Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как *цели*. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов

государственной власти *против* эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса».[485]

Маркс и Энгельс упрекали анархистов не в том, что они мечтали об упразднении государства, а в том, что осуществить это они хотели теперь же, в том, что принципы анархии они пытались применить в современном строе. Государство не упраздняется, оно отмирает — такова была точка зрения Маркса и Энгельса.

«Из того, что государство — форма *преходящая,* не следует, что это форма уже *прешедшая.* — писал Герцен в „Письмах к старому товарищу“, — …и что значит *отрицать* государство, когда главное условие выхода из него — *совершеннолетие* большинства».[486]

Но Бакунин не замечал всей очевидности этих аргументов. Только полная свобода, считал он, могла бы породить и свободную организацию общества.

«Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно, рабство; государство без рабства, открытого или маскированного, немыслимо, — вот почему мы враги государства».[487]

Бакунин обнаруживает полное непонимание сущности народного государства. Он спрашивает: «Что значит пролетариат, возведенный в господствующее сословие? Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления?» Нет, это не так, полагает он. Управление будет осуществляться представителями народа. Но и временная диктатура не устраивает Бакунина.

Как же обойтись без нее, как осуществить организацию общества в период революции и в последующее время создания основ новой жизни при том отсутствии «совершеннолетия большинства», о котором писал Герцен?

Социальная революция должна привести к уничтожению всякого принципа власти, и тогда правительство превратится в простое управление общими делами, отвечает на этот вопрос Бакунин. С уничтожением политической централизации, с ликвидацией политического государства будет осуществлен принцип добровольной организации снизу вверх, обеспечивающий полную свободу личностей и групп.

Подобное решение главного вопроса революции, вопроса о власти, крайне утопично.

«Мы не утописты, — писал Ленин, — мы не „мечтаем“ о том, как бы *сразу* обойтись без всякого управления, без всякого подчинения; эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне нужды

марксизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными. Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь, которые без подчинения, без контроля, без „надсмотрщиков и бухгалтеров“ не обойдутся».[488]

Не менее серьезным для Бакунина вопросом была проблема федерализма. «Маркс расходился и с Прудоном и с Бакуниным как раз по вопросу о федерализме (не говоря уже о диктатуре пролетариата), — писал Ленин. — Из мелкобуржуазных воззрений анархизма федерализм вытекает принципиально. Маркс централист. И в… его рассуждениях нет никакого отступления от централизма».[489]

Из предыдущего рассказа о взглядах и программах Бакунина ясно, что и многое другое принципиально отличало его позиции утопического социализма от социализма научного, однако главную полемическую заостренность своей работы «Государственность и анархия» направил он именно против принципа государственности, безусловными приверженцами которого считал сторонников Маркса.

Но вернемся к конкретным событиям лета 1871 года.

В то время как Бакунин писал свое письмо товарищам по «Альянсу» с категорическими возражениями против самороспуска секций, женевские его друзья решили вопрос иначе.

10 августа секретарь Женевской секции Жуковский послал в Лондон письмо, в котором извещал Генеральный совет, что «Альянс социалистической демократии, как секция Интернационала, объявляет себя распущенным. Члены бывшего „Альянса“ не отказываются от своей программы; они не могут отказаться от нее до тех пор, пока не будет выработана другая программа, более социалистическая и более революционная».[490]

Сообщение о роспуске «Альянса» пришлось как нельзя более кстати. В обстановке наступившей реакции в Европе необходимо было укрепить ряды Международного товарищества рабочих. Этим целям в значительной мере служила Лондонская конференция Интернационала, созванная в сентябре 1871 года. Ее решения о самостоятельной политической деятельности рабочего класса, о необходимости создания политических партий пролетариата, о недопустимости сектантства и об организационном укреплении Интернационала были серьезным ударом по бакунистам. Однако последние, объявив о своем роспуске, не сложили оружия, сохранив всю тайную сеть «Альянса».

Понимая опасность, которую может по-прежнему представлять пропаганда Бакунина, учитывая известное его

влияние в рабочей среде, конференция предложила Утину собрать все материалы относительно деятельности Нечаева и связи его с Бакуниным. Отчет по делу Нечаева Утин должен был представить Генеральному совету.

Решения Лондонской конференции послужили как бы сигналом к мобилизации сил альянсистов.

12 ноября в Сонвилье собрался съезд Юрской федерации, на котором был принят «антиавторитарный» циркуляр, объявлявший открытую войну Генеральному совету.

Бакунина на этом съезде не было, как не было его и в Женеве, когда вопреки его желанию принималось решение о роспуске «Альянса». Вообще последнее время братья по «Альянсу» вполне обходились без него.

За патриархом анархизма оставались вопросы теории, оставалось и общее руководство, его огромные письма, где практические советы и указания сочетались с размышлениями о судьбах и путях движения.

Пока его товарищи собирали силы для борьбы с Генеральным советом, он был увлечен кампанией, которую развернули в Италии против Мадзини. 14 ноября, во время съезда в Сонвилье, он писал Огареву о том, что продолжает делать свое дело — вести в Италии «отчаянную и победоносную войну с всеми мадзинистамии и идеалистами».

Но, получив текст сонвильерского циркуляра, он был им весьма доволен и немедленно принялся за пропаганду этого документа в Италии и Испании.

Приближался конгресс Интернационала, и Бакунин мобилизовал всю тяжелую артиллерию «Альянса».

«Генеральному совету объявлена война, — писал Бакунин итальянским интернационалистам, — но не пугайтесь, дорогие друзья, существование, сила и действительное единство Интернационала от этого не пострадают… К нам уже присоединилось несколько итальянских секций, и мы не сомневаемся также в вашем присоединении. Одним словом, латинский мир с нами».[491]

В письме к «Братьям по Альянсу в Испании» (1872) Бакунин счел нужным конкретнее объяснить цели и задачи организации: «…Это, по существу, боевой союз, имеющий целью организовать мощь народных масс для разрушения всех государств и всех существующих в настоящее время установлений — религиозных, политических, судебных, экономических и социальных, в интересах полного освобождения порабощенных и эксплуатируемых рабочих всего мира».

Далее Бакунин писал об отношении «Альянса» к

Интернационалу. Охарактеризовав громадные заслуги Международного товарищества и объединения пролетариата «перед великим делом всеобщей социальной революции», Бакунин делал тут же неожиданный вывод о том, что Интернационал «не является учреждением, достаточным для организации и руководства этой революцией».

Свой вывод Бакунин пытался объяснить тем, что широта программы и легальность деятельности Интернационала лишают его возможности стать боевой организацией, способной в ближайшее время произвести социальную революцию. Такую может дать лишь «настоящее тайное общество», каким и является «Альянс», «образовавшийся в самом лоне Интернационала, чтобы дать последнему революционную организацию, чтобы превратить его и все не входящие в него народные массы в достаточно организованную силу, которая могла бы уничтожить политико-клерикально-буржуазную реакцию и разрушить все экономические, юридические и политические установления государства».[492]

Организуя своих союзников, Бакунин был сильно озабочен и их представительством на будущем конгрессе Интернационала. Для этого он давал практические советы итальянским и испанским секциям, советуя им выполнять все условия, необходимые для допущения на конгресс, избегать пока публичной полемики против Генерального совета и т. д.

Тем временем Лафарг, находясь в Испании, убедился в существовании там тайного «Альянса» и информировал об этом Генеральный совет.

Поняв истинные намерения Бакунина, Энгельс 4 августа 1872 года писал Теодору Куно: «Посылаю Вам номер „Emancipacion“ и написанный Лафаргом (зятем Маркса) на испанском языке циркуляр, который прошу Вас тщательно изучить. Из него Вы увидите, чего хотел Бакунин — создать тайное общество внутри Интернационала, чтобы таким путем забрать Интернационал в свои руки. К счастью, тем самым этот план разоблачен и притом своевременно. На этой истории Бакунин сломит себе шею. Генеральный Совет опубликует во вторник по этому поводу обращение, в котором одновременно обвиняет и Испанский федеральный совет, куда входят пять членов Альянса».[493]

Накануне предстоящего конгресса Интернационала, 18 августа 1872 года, в Ла-Шо-де-Фоне собрался съезд юрских секций. На этот раз присутствовал Бакунин. Было решено послать в Гаагу двух делегатов: Гильома и Швицгебеля и вменить им в обязанность потребовать ликвидацию Генерального совета, отмену всякой власти в Интернационале, выступить солидарно со

всеми противниками авторитарного принципа.

К решительной борьбе на конгрессе готовились не только бакунисты. Маркс понимал всю опасность создавшегося положения. 21 июня 1872 года он писал Ф. А. Зорге: *«На этом конгрессе речь будет идти о жизни и смерти Интернационала*. Должны прибыть *Вы и по крайней мере еще один, если не двое»*.[494] О том же он сообщил 29 июля в письме к Кугельману. Энгельс 5 июля писал Теодору Куно: «Бакунин и К° приложат все усилия к тому, чтобы побить нас на конгрессе, и так как для этих господ все средства хороши, то мы должны принять меры предосторожности».[495]

Для того чтобы выступить на конгрессе во всеоружии, Марксу нужны были точные сведения о последней деятельности Бакунина. Утин еще не представил своего доклада, который он готовил конгрессу, и Маркс обратился к Даниэльсону.

Николай Францевич Даниэльсон, русский революционер, экономист и публицист, занят был тогда переводом «Капитала» и поддерживал постоянную переписку с Марксом и Энгельсом.

28 мая 1872 года Маркс писал Даниэльсону о том, что был бы благодарен ему за точные сведения о Бакунине:

«1) о его влиянии в России и 2) о той роли, которую играла его особа в пресловутом процессе».[496]

4 июня Даниэльсон отвечал: «Я постараюсь возможно скорее удовлетворить Ваше желание получить более подробные сведения о Бакунине. Я думал, что „наш общий друг“ (Лопатин. — *Н.П.*) во время своего пребывания в Лондоне уже сообщил Вам многое о нем. Сейчас могу только сказать: 1) что он (Бакунин) никогда не пользовался особым влиянием. В настоящий момент о каком бы то ни было его влиянии не может быть и речи, ввиду глупой и некрасивой роли, которую он играл в процессе. 2) К несчастью, эта его роль не вскрылась во время судебного разбирательства, хотя он и был главный в этой истории. Все знаменитые прокламации (с призывами к убийствам, поджогам и т. д.) были составлены им. Однако сам он с величайшим старанием скрывал свое авторство, чтобы не повредить своей репутации на Западе; его адъютант Нечаев (с которым Бакунин очень считался) замалчивал это в своих собственных интересах».[497]

Как видно, информаторы Маркса не отличались точностью. Еще в более тенденциозном освещении представил нечаевскую эпопею Утин, который, по словам представителя испанских секций Ансельмо Лоренцо, считал «своей специальной целью разжигать ненависть и страсти, оставаясь совершенно чуждым великому идеалу, который воодушевлял нас, представителей рабочих интернационалистов».[498]

В своем докладе Утин соединил дело Нечаева с деятельностью «Альянса». К тому же ему удалось достать программу и устав «Альянса», написанные частично собственной рукой Бакунина.

«Из программы ясно видна вся глупость и коварство этого *Герострата* социальной революции; видно, как он решил завладеть нашим Международным Товариществом, и я не сомневаюсь, что эти документы будут иметь огромную и решающую роль в борьбе на конгрессе»,[499] — писал Утин в августе Элеоноре Маркс.

Но пока огромный доклад Утина (около 12 печатных листов с приложением всех документов) еще не дошел до Лондона, а срок конгресса, назначенного на 2 сентября, приближался, Маркс снова обратился к Даниэльсону с просьбой достать и выслать ему известное письмо к Н. Любавину. «Это письмо могло бы быть для меня весьма полезным, если бы *оно было послано мне* немедленно. …Надеюсь, что Вы добудете его. Но нельзя терять ни минуты».[500]

Даниэльсон тотчас же передал просьбу Маркса Н. Н, Любавину, и последний уже 20 августа отправил этот документ в Лондон, сопроводив его собственным обстоятельным письмом:

«Мои личные счеты с г-ном Бакуниным, которому был поручен этот перевод, — писал он, — я считаю покончеными… Если я все же иду навстречу Вашему желанию, то только потому, что считаю деятельность названного гражданина крайне вредной и надеюсь, что история с переводом может способствовать его дискредитации. Однако я должен уже теперь заметить, что имеющиеся у меня улики против него не так очевидны, как Вы, возможно, предполагаете. Правда, они бросают тень на эту личность, но недостаточную для ее осуждения.

…Должен сознаться, что сейчас, когда я хладнокровно обдумываю всю эту историю, я вижу, что участие в ней Бакунина вовсе не доказано, Нечаев и в самом деле мог послать это письмо. Одно только несомненно. Бакунин проявил полное нежелание продолжать начатую работу, хотя и получил за нее деньги».[501]

Но как бы ни считал Любавин, а письмо он переслал. Получил Маркс также документы и доклад Утина.

Конгресс начался в Гааге 2 сентября 1872 года. Последний день заседания (7 сентября) был посвящен вопросу об «Альянсе». По этому поводу еще в первый день заседания была создана специальная комиссия из пяти членов под председательством Куно. Ознакомившись с рядом документов и писем (в том числе и с злополучным письмом к Любавину), опросив свидетелей, комиссия представила конгрессу доклад, в котором содержались

следующие выводы:

«1. Что тайный „Альянс“, основанный со статутами, совершенно противоречащими статутам Международного Товарищества Рабочих, существовал, но его существование в настоящее время недостаточно доказано;

2. Что проект статутов и письма за подписью „Бакунин“ доказывают, что этот гражданин пытался, а может быть, и успел основать в Европе общество под названием „Альянс“, имеющее статуты, с точки зрения социальной и политической совершенно противоречащие статутам Международного Товарищества Рабочих;

3. Что гражданин Бакунин пустил в ход нечестные средства с целью присвоить себе целиком или частью чужое имущество, что составляет акт мошенничества; что сверх того для уклонения от выполнения принятых им на себя обязательств он или его агенты прибегли к угрозам».[502]

На этом основании комиссия предложила исключить из Международного товарищества рабочих Бакунина, Гильома и Швицгебеля. При голосовании подавляющее большинство голосов высказалось за исключение Бакунина и Гильома. Швицгебель исключен не был.

Казалось бы, для исключения Бакунина вполне хватало причин политического характера и обвинение его в мошенничестве было излишним. Но члены комиссии и делегаты конгресса были глубоко возмущены не столько фактом присвоения аванса за несделанную работу, сколько злоупотреблением именем революционной организации, которую многие ставили в связь с Интернационалом. Так личный поступок Бакунина компрометировал не только его, но и Международное товарищество рабочих.

Мотивы исключения из Интернационала, конечно, были крайне неприятны Бакунину, но к разрыву он в принципе был вполне готов.

Пока в Гааге шли заседания конгресса, он, находясь в Цюрихе, готовил все свои силы к созданию уже открытого «Альянса». Для этой цели он занялся редактированием и переделкой программных документов своей организации. Вот краткие записи из его дневника:

30 августа «Армандо (Кафиеро) уехал в Гаагу; я писал конституцию [программу]… 2 сентября: вечером писал конституцию; 3 сентября — устав; 4-го — устав Альянса; …5-го — писал устав Альянса; приехал Беппе [Фанелли], затем Джакомо; вечером собрание у меня; …7-го — прибыл Малатеста; 8-го… перед обедом итальянское собрание у меня; вечером итальянцы у

меня; 9-го — с 1 до 6 часов чтение и обсуждение устава; с 9 до 1 часу практическая организация; 10-го… завтра приезжают все; бурный вечер; телеграмма к Коста».[503]

11 сентября в Цюрих прибыли делегаты конгресса: Кафиеро, Мораго и др. «Получивши полный отчет относительно всего, что произошло на Гаагском конгрессе, — пишет З. Ралли, — М. А. решил немедленно сорганизовать новый общий конгресс Международного Общества, благо делегаты федеральной части этого общества были под рукой. Было решено не разъезжаться, а… созвать экстраординарный конгресс Юрской федерации, после которого и открыть тут же общий конгресс из всех делегатов как Юрской федерации Швейцарии, так и всех делегатов меньшинства, бывших на Гаагском конгрессе».[504]

1-й анархистский конгресс собрался 15 сентября 1872 года в Сент-Имье. На нем были представлены: Италия, Испания, Швейцария, Франция и Америка. Резолюция конгресса возвещала о создании нового анархистского интернационала.

Анархистский интернационал, на который столько надежд возлагал Бакунин, не стал и не мог стать центром международного движения пролетариата. Просуществовав до конца 1877 года, он распался сам по себе.

ГЛАВА X
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Я не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень…

М. Бакунин

Доклад Гаагского конгресса об «Альянсе» был опубликован в конце сентября 1872 года в брюссельской газете «Либерте». Появление его вызвало протест среди части русских эмигрантов. 4 октября протест этот был опубликован той же газетой. Подписали его Николай Огарев, Варфоломей Зайцев, Владимир Озеров, Арман Росс (Сажин), Владимир Гольстейн, Замфирий Ралли, Александр Эльсниц, Валериан Смирнов.

«Вы просите у меня сведения о лицах, подписавших смехотворную реабилитацию Бакунина в „La Liberté“, — писал по этому поводу Утин Марксу. — Первый — *Николай Огарев* — должен быть Вам *известен* — это друг детства и политический единомышленник Герцена,… в настоящее время он уже несколько лет страдает эпилепсией, полусумасшедший, почти идиот…

Второй — Владимир Озеров — один из наиболее подлых негодяев в *Альянсе;* он был адъютантом Бакунина во время его *лионскойкампании.*

…Ралли, Смирнов, Эльсниц, Гольстейн — молодые люди, бежавшие из Москвы и Петербурга, потому что они были замешаны в деле Нечаева».[505]

Эти оценки, данные Утиным, лишний раз характеризовали лишь его самого и его способ дискредитировать противников по идейной борьбе.

Но что же в действительности представляли собой те русские, о которых, еще будучи политическим деятелем, писал Утин Марксу? В. Гольстейн, В. Смирнов и А. Эльсниц — студенты-медики, исключенные в 1869 году из Московского университета за участие в студенческом движении, — летом 1871 года приехали в Цюрих для продолжения медицинского образования. Враждебно относясь к Нечаеву, они первое время избегали и знакомства с Бакуниным, но аатем, узнав о разрыве между ними, сблизились со старым революционером. Однако Смирнов, ранее других познакомившийся через Сажина с Михаилом

Александровичем, вскоре отошел от него, присоединившись к П. Л. Лаврову.

Одним из наиболее близких Бакунину в последние годы людей был Михаил Петрович Сажин, выступавший иод псевдонимом Арман Росс. Был он выходцем из разночинной среды, воспитанным, но его словам, «исключительно на Н. Г. Чернышевском». Учился он в Технологическом институте, принимал участие в студенческом движении. Ссылку отбывал в Вологодской губернии. В 1869 году бежал оттуда в Америку, где в течение года работал на разных заводах. Получив в 1870 году письмо от своего приятеля В. Серебренникова, приглашавшего его для революционной работы с незнакомым еще ему Нечаевым, он отправился в Швейцарию. Приехал он туда в мае, то есть в момент разрыва между Бакуниным и Нечаевым.

Сотрудничества с Сергеем Геннадиевичем в этих условиях он не установил, так как приемы борьбы, предложенные Нечаевым, не устроили его, с Бакуниным же, напротив, он вскоре вступил в дружеские отношения.

«Меня и раньше постоянно занимал вопрос, как устроить жизнь человека, людей вообще, чтобы они пользовались полной свободой, чтобы вполне были гарантированы от всяких насилий: социальных, экономических и политических, — писал он в своих воспоминаниях. — И вот вдесь, в Женеве, я снова натолкнулся на этот вопрос и узнал, что Бакунин — страстный поклонник свободы человека. Это меня сразу к нему повлекло».[506]

Революционная работа увлекла Сажина. Вскоре он вошел в Юрскую федерацию Интернационала, а когда в Париже была провозглашена Коммуна, отправился туда. Бакунин, скептически настроенный в отношении успеха Коммуны, внутренне был против этой поездки.

«Если б зависело от меня, — писал он Огареву, — я б ни Росса, ни дю Ляка (Ланкевича. — II. Я.) не пустил бы в Париж… Но я уважаю свободу друзей и, раз убедившись, что решение их ехать непреклонно, не перечу. Росс уже уехал. Боюсь, чтобы он не попал в неприятельские лапы, прежде чем попадет в Париж. Сукины дети разъярены теперь против всех иностранцев…»[507]

Но опасения Бакунина не оправдались. Сажин пробыл в Париже до июня, после чего вернулся в Цюрих. Здесь с 1872 года он стал активным участником русской секции «Альянса», которую Бакунин основал в апреле этого года.

О моменте создания секции в дневнике Михаила Александровича есть следующая запись: «26 (апреля 1872 года): объяснение между Гольстейном, Эльсницем и Ралли; 27: союз заключен; 1: читал программу и устав с русскими; последний

вечер с русскими; составил словарь (условный шифр); 4: все мои русские уехали».[508]

Замфирий Константинович Ралли, сразу же вступивший в эту секцию, последние годы, так же как Сажин, состоял в близких отношениях с Бакуниным и, так же как Сажин, оставил свои воспоминания, помогающие восстановить многие моменты жизни Михаила Александровича.

Замфирий Константинович был сыном бессарабского помещика. Учился он в Медико-хирургической академии в Петербурге, участвовал в студенческом движении, был в те годы связан с Нечаевым. Арестованный в марте 1869 года, он дал «откровенные показания» о своих связях и знакомствах, после чего в 1870 году был освобожден на поруки бессарабского предводителя дворянства. В июле 1871 года, получив разрешение поступить в Дерптский ветеринарный институт, отправился за границу, в Швейцарию, где, снова встретившись с Нечаевым, поддерживал некоторое время отношения с ним, в то время как другие русские эмигранты сторонились даже знакомства с этим человеком.

Известная близость с Нечаевым чуть не привела к разрыву только что установившихся отношений Ралли с Бакуниным. Михаил Александрович «более нежели грубо заявил мне, что он ставит непременным условием продолжения нашего взаимного знакомства полный мой разрыв с Нечаевым».[509] Недоразумение скоро выяснилось, так как Ралли симпатизировал системе взглядов Бакунина и отрицал нечаевские методы борьбы.

Составив русскую группу, Бакунин направил молодых людей из Локарно в Цюрих, где они должны были приобрести типографию и начать печатание пропагандистской литературы, с тем чтобы переправлять ее в Россию. Деньги на типографию внес каждый из членов группы, «прескверную, — по словам Ралли, — ручную типографскую машину» сделал Росс. Вокруг нового дела образовался кружок главным образом из русских девушек-студенток, в котором более других своим умом и активностью выделялась Софья Николаевна Лаврова — приемная дочь Н. Н. Муравьева-Амурского.

Помимо типографии, в Цюрихе создали и библиотеку-читальню, объединившую почти все (120 человек) проживавшее там русское студенчество.

Однако между сторонниками Бакунина, а главным образом между Ралли и Россом, вскоре начались трения. По мнению Бакунина, Росс обладал практическими способностями и должен был руководить типографией. Но Ралли отрицал за ним деловые качества и сам хотел возглавлять русскую пропаганду в Цюрихе.

Осложнения отношений между немногочисленными членами так называемого «Русского братства», необходимость выяснения возможностей издания нового журнала совместно с П. Л. Лавровым требовали личного присутствия Бакунина.

Но, как всегда при полном безденежье, он не мог сразу оставить Локарно.

9 февраля 1872 года Антонина Ксаверьевна писала Огареву:

«Николай Платонович. Нужда теснит нас. Хозяйка отказала б нам в квартире, если б мы не выплатили к 8 февраля …317 фр. Мы были вынуждены сделать заем в 300 фр., и в конце февраля мы должны выплатить эту сумму в здешний национальный банк, иначе у нас опишут все наши вещи. Николай Платонович, вы легко поймете мое отчаяние… Семья моя далеко. Мишель не имеет никаких средств, у меня двое маленьких детей.

Николай Платонович, вы старый друг Мишеля, постарайтесь помочь нам, спасите нас от горького стыда описания нашего бедного имущества. Отвечайте, отвечайте скорее ради всего, что есть для вас святого».

Очевидно, Огарев не сумел достать и выслать денег, потому что 18 февраля Антонина Ксаверьевна писала ему вновь: «Николай Платонович. Не сейчас отвечала вам потому, что мне грустно было; не знаю, как, но я имела надежду, что вы успеете помочь нам. Ошиблась. Простите беспокойство, бесполезную тревогу, причиненную Вам… Ничего не пишите о моем письме Мишелю. К чему!.. Не нам первым, не нам последним познакомиться близко с настоящей нуждой».[510]

Антонина Ксаверьевна начала хлопотать о разрешении ей с детьми навестить стариков родителей в России. Разрешение, как ни странно, было дано, и 30 июня 1872 года она выехала из Локарно.

Проводив семью, Михаил Александрович записал в своем дневнике: «Разлука, на сколько? на год? навсегда?»

Теперь ничто не связывало его с Локарно, и он отправился в Цюрих. Здесь Михаил Александрович поселился на квартире, снятой несколькими студентами, которые и отвели ему лучшую комнату с пианино. По вечерам кто-нибудь из молодежи или сам Бакунин играли любимую им Патетическую симфонию Бетховена или увертюру из «Тангейзера». Молодежь вообще окружала Бакунина вниманием. По свидетельству живущей тогда в Цюрихе студентки Е. Ель, особенно услуживали ему дамы. Они «готовят своему старику яичницу на спиртовой машинке, его обшивают и занимают для него деньги направо и налево».[511]

Еще до приезда Бакунина в Цюрих туда прибыл Петр Лаврович Лавров — один из крупнейших теоретиков русского

революционного народничества. После бегства из вологодской ссылки он жил в Париже, затем ездил в Лондон, где познакомился с Марксом и Энгельсом, а также с деятельностью Интернационала. Наблюдение за общественной жизнью на Западе убедило его в наличии непримиримых классовых противоречий, в реальности там почвы для социального переворота. Задачи же русского движения видел он в постепенной подготовке социальной революции путем «развития научной социологической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе».[512]

Росс, знакомый с Лавровым еще по вологодской ссылке, и другие друзья Бакунина решили попытаться основать с Лавровым совместное издание для революционной пропаганды в России. Лавров составил примерную программу, с которой Росс и отправился в Локарно. Бакунин встретил это предложение отрицательно. Взгляды Лаврова его не могли устроить. «По его мнению, — сказал он Россу, — государственность вообще начало прогрессивное и все зависит от того, в какие руки попадет. Даже III отделение, если и худо, то только потому, что находится в плохих руках».[513]

Росс уехал обратно, увозя ответ Бакунина женевским товарищам.

«Друзья мои, — писал Михаил Александрович, — получил и прочел присланную мне программу; воля ваша — ее принять никак невозможно… В программе говорится слишком много о необходимости серьезной научной подготовки… для революционера. Что ж это, неужели мы задумали устроить за границей университет? Дело хорошее, спору нет, но только это не наше дело, пусть его устраивает полковник Лавров, а я пока что займусь революционным делом, которое не к лицу доктринерам. Я ничего не отвечал Петру Лаврову на его любезное приглашение, потому что если бы ответил, то написал бы, что удивляюсь эластичности его ума, а он бы обиделся, и вышло бы нехорошо. Полагаю поэтому, что у нас ничего не выйдет, во всяком случае прошу вас, друзья, напишите мне все подробности ваших переговоров, чтоб я знал все, что нужно знать».[514]

Друзья просили его приехать для переговоров в Цюрих, а Лавров в это время подготовил другой вариант программы.

Личная встреча двух лидеров движения не принесла успеха делу. Соглашения между ними не состоялось.

С этого времени в русском движении, как в эмигрантских кругах, так и затем в России, между лавристами и бакунистами началась идейная борьба.

В Цюрихе, по словам В. Н. Фигнер, среди русской молодежи

большинство симпатий было отдано Бакунину. «К личности Лаврова относились с почтительностью, но при этом не было ни теплоты, ни горячности. Другое дело — Бакунин. Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм, и в общем можно сказать, что все мы… были антигосударственниками в смысле бакунистском и увлекались поэзией разрушения в его листках и брошюрах. Под влиянием его статей мы верили в творческие силы народных масс, которые, стряхнув могучим порывом гнет государственного деспотизма, создадут самопроизвольно на развалинах старого строя новые, справедливые формы жизни, идеал которых инстинктивно живет в душе народа».[515]

Вот эти-то идеи Бакунина и стали популярны в русских революционных кругах.

Широкое распространение их среди революционной молодежи началось после появления в России книги Бакунина «Государственность и анархия» (осень 1873 г.) с «Приложением А», содержащим программу практической деятельности для русских революционеров.

Те идеи, которые принесли большой ущерб рабочему движению Западной Европы, оказали совсем иное воздействие на русскую жизнь. При социально-экономических условиях, которые существовали в России того времени, при огромном крестьянском населении, угнетенном крепостническими пережитками, бакунизм в той форме, в которой он был воспринят народниками, выражал стремление крестьянства к освобождению.[516]

Разночинная молодежь, рвавшаяся к живому делу, к конкретной борьбе, не могла в этих условиях пройти мимо той революционной программы, которую предлагал Бакунин. Она подхватила ее и, соединив отчасти с мыслями П. Л. Лаврова и с идейным наследством шестидесятников, пошла в народ.

Какова же была эта программа, увлекшая за собой сотни русских юношей и девушек, заставившая их бросить привычный уклад жизни, одеться в крестьянское платье и попытаться слиться с тем не познанным еще народом, во имя освобождения которого отдало жизни не одно поколение русских революционеров?

Программа эта звала оставить науку, которая не может определить будущие формы народной жизни, ибо только сам народ в состоянии выработать их и идти поднимать крестьян на всеобщее народное восстание.

«Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу». В его среде живет идеал, для осуществления которого он и поднимется на

социальную революцию.

Идеал этот, считал Бакунин, характеризуется тремя чертами: всенародным убеждением в том, что земля принадлежит народу, правом на пользование землей, принадлежавшей не лицу, а общине, общинным самоуправлением, «решительно враждебным государству».

Однако наряду с этими тремя чертами идеала существуют и три «затемняющие черты»: патриархальность, поглощение лица миром, вера в царя.

Община — это мир крестьянина. «Она не что иное, как естественное расширение его семьи, его рода. Поэтому в ней преобладает то же подлое послушание, а потому и та же коренная несправедливость и то же радикальное отрицание всякого личного права, как и в самой семье. Решения мира, каковы бы они ни были, — закон. „Кто смеет идти против мира?!“ — восклицает с удивлением русский мужик».

Причем каждая община составляет замкнутое целое, не связанное ни с какими другими общинами. В этом видит Бакунин одно из главных несчастий, этим объясняет неудачи и разрозненность всех крестьянских бунтов. «Значит, — делает он вывод, — одною из главных обязанностей революционной молодежи должно быть установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало живой бунтовской связи между разъединенными общинами». Для этого надо идти в народ, «ибо вне народа, вне многомиллионных рабочих масс нет более ни жизни, ни дела, ни будущности».

Надо разбить замкнутость общин, «провести между этими отдельными мирами живой ток революционной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира между собой и там, где оно возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством».

Надо, чтобы сама революционная молодежь отныне перестала бы быть свидетельницей и стала бы «деятельной и передовой, себя на гибель обрекшей соучастницей».[517]

Русская молодежь всей внутренней логикой развития революционно-демократического движения была подготовлена к восприятию подобной программы. Русский утопический социализм, ставший идеологией освободительного движения с середины века, с его непременной верой в общинный уклад русской жизни, с его расчетом на революцию как единственный путь освобождения крестьянства был органически воспринят поколением 70-х годов. На этой почве идеи Бакунина о

готовности народа к революции и о конкретных и решительных действиях в народе и дали свои плоды.

Но сам Бакунин мало что знал об успехе своей программы. Его связи с Россией были эпизодическими, а «Русское братство» существовало недолго.

В 1873 году наметилась было живая связь с Россией, когда к Бакунину явились сначала Ф. Н. Лермонтов, затем С. Ф. Ковалик и независимо от них В. К. Дебогорий-Мокриевич. Эти участники революционно-народнического движения, сочувствующие анархизму, решили попытаться организовать в России ряд анархических групп.

«На свиданиях с Бакуниным, — пишет Ковалик, — решено было не оглашать его прикосновенности к русскому революционному делу. Руководители русской анархической партии должны были действовать от своего имени, а Бакунин оставаться негласным центром, подобно тому, как это было устроено в Италии и Испании».[518]

Однако массовые аресты среди народников в 1874 году не дали возможности осуществиться и этим планам.

Разногласия в «Русском братстве» начались, как говорили мы выше, вскоре после его образования.

Во время пребывания Михаила Александровича в Цюрихе отношения между братьями как-то сохранялись.

Работа, которой они были заняты в это время, состояла главным образом в издании материалов анархистского толка под названием «Историческое развитие Интернационала» и в ноябре книги Бакунина «Государственность и анархия». Но после отъезда Бакунина неурядицы возобновились с новой силой. Диктаторство Росса и доктринерская бескомпромиссность Ралли неуклонно вели к разрыву эту маленькую группу сторонников Бакунина. Последний пытался объяснить, уговорить, сгладить острые углы.

23 января писал он из Локарно Ралли: «Мой милый Руль, помни всегда, что в революции три четверти фантазии и только одна четверть действительности, или, другими словами, так как вижу отсюда, что ты уже насупился, читая эти первые строки, — жизнь всегда, мой друг, шире доктрины; жизнь никогда нельзя уложить в какую-нибудь доктрину, будь она даже столь всеобъемлюща, как наша анархия… Помни, друг мой, что успехи твои всегда будут неполны и пуританский ригоризм твоих принципов будет причиной не только твоего разрыва с Россом, но и потери тех немногих людей, с которыми можно дело делать… Конечно, без принципов и убеждений нельзя жить и работать, но не нужно забывать того, что они имеют только относительное значение и могут быть применены в известных пределах. На

принципах выезжают только наивные люди, которые потому и погибают самым бесплодным образом для живого дела, они, друг мой, и есть то мясо живое, которое раздавливает тяжелая колесница истории. Мы же должны быть трезвыми революционерами, а потому и не должны принадлежать к этой категории людей».[519]

Но мудрые советы Бакунина не помогли. Разрыв между Россом, оставшимся с Бакуниным, с одной стороны, и Ралли, Гольстейном и Эльсницем, с другой, произошел летом 1873 года. Причины разрыва были мелочны, во всем инциденте преобладали взаимная неуступчивость, беспочвенные часто обвинения, интриги. Но так или иначе, а последняя ставка Бакунина на конкретное участие в русской пропаганде потерпела крах.

Не менее неудачными были и попытки Бакунина в 1872 году привлечь в «Альянс» поляков и других славян. Каждый раз Михаил Александрович приспосабливал отдельные пункты программы «Альянса» к той или иной национальной секции, но социалистический, анархистский смысл ее не менялся. Это последнее обстоятельство не могло увлечь националистически настроенную польскую эмиграцию.

Некоторую роль в неудаче этой попытки сыграло и то, что секретарем польского общества стал шпион и провокатор Адольф Стемпковский, выдавший вскоре Нечаева полиции и имевший главной целью своего пребывания в Цюрихе слежку за русской и польской эмиграцией.

При своей увлекающейся натуре, склонный искать положительные, а значит, по его разумению, революционные начала в каждом человеке, высказывавшем деловые революционные склонности, Бакунин, как мы видели выше, часто попадал впросак, включая агентов III отделения в свою орбиту. Так случилось и на этот раз.

Другие славяне, главным образом сербы, учившиеся в Цюрихе, были объединены Бакуниным в отделение «Альянса», принявшего название «славянский завес». Однако они, по словам Ралли, совсем не понимали сути программы и своих задач. «Может быть, ты и прав, — отвечал по этому поводу Бакунин, — хотя я видел наших сербов и вовсе не нахожу, что они так уж из рук вон плохи. Но, положим, что ты прав; так ведь других у нас пока нет, а на нет и суда нет… Секция славянская необходима нам, хотя и такая плохая, какая есть, так она может стать ядром для славянского нашего дела».[520]

Для грандиозных планов «Альянса», конечно, нужны были и славяне и русские, но с распадом «Русского братства» и отходом от бакунинских конспирации Ралли прекратил существование и

«славянский завес». Все оставшиеся силы Бакунина отныне и до конца были отданы делам международным и прежде всего итальянским, но сил-то этих было уже не много.

Само постоянное местопребывание Бакунина — Локарно, расположенное в итальянской Швейцарии, было удобно для итальянских революционеров, постоянно наведывавшихся туда за советами и указаниями.

После отъезда семьи Михаил Александрович жил в одном доме с новым своим русским другом В. А. Зайцевым.

Варфоломей Александрович Зайцев — публицист, один из теоретиков русского нигилизма, еще в 1869 году выехал из России. Сначала он жил в Париже, затем в Италии. Вступив в Интернационал, он в 1870–1871 годах создал в Турине итальянскую секцию Международного товарищества рабочих. Осенью 1872 года переехал в Локарно, где и поселился вместе с Бакуниным. Однако бакунистом он не стал, так как скептически относился к революционным возможностям народа. Бакунин не принимал его всерьез как пропагандиста, но ценил его оригинальный ум, энергию, стремление к революционному делу.

Под диктовку Михаила Александровича писал Зайцев его воспоминания (судьба их осталась неизвестной), готовил книгу «Анархия по Прудону», которая должна была издаваться типографией «Братства», и, по свидетельству Ралли, печатал в русском легальном журнале «Испанские письма», сочиняя их, сидя в Локарно, по справочникам и другой литературе.

«— Где ты теперь, Зайцев? — кричит, бывало, Бакунин, стоя у дверей и обращаясь к жителю второго этажа.

— Я теперь приехал, Михаил Александрович, в Севилью и любуюсь красавицей gitano, которая танцует перед нами, путешественниками.

И Бакунин хохочет басом.

А то сойдет со своего этажа Зайцев к нам вниз… и рассказывает нам монотонным голосом, в нос, …„дела давно минувших дней“ писаревщины на Святой Руси»,[521] — писал Ралли, прогостивший как-то неделю у Михаила Александровича.

В январе 1873 года приехал к Бакунину и другой русский публицист, соратник Зайцева по «Русскому слову» — Николай Васильевич Соколов.

В противоположность другим русским, окружавшим Бакунина, как правило молодым, Соколов был человеком зрелого возраста, бурной биографии, сложившихся убеждений. В прошлом офицер, окончивший Академию Генерального штаба, он служил на Кавказе и в Восточной Сибири, писал публицистические статьи по экономическим вопросам для

«Русского слова». Выйдя в 1863 году в отставку, он уехал за границу, где бывал и ранее (в 1860 году) у Герцена и Прудона. Пожив у Герцена, объехав еще ряд городов, он принялся за книгу «Социальная революция», которая была издана спустя несколько лет в Берне (1868). Работа эта носила анархистский характер, но была ближе к концепции Прудона, чем к системе взглядов Бакунина. Вернувшись в Россию, он написал еще одну книгу — «Отщепенцы», широко популярную среди молодежи впоследствии. 4 апреля 1866 года, в день выстрела Каракозова, он принес свою книгу в цензурный комитет, а спустя две недели был арестован.

После шестнадцати месяцев заключения в крепости Соколов был выслан. Из Астраханской губернии ему удалось бежать, и в конце 1872 года он появился в Цюрихе, откуда и отправился к Бакунину. Прожил он в Локарно около двух месяцев и оставил впоследствии колоритное описание быта Михаила Александровича.

К этому времени Бакунин уже переменил квартиру и жил в таверне у итальянца Джакомо Фанчола. Несмотря на то, что Соколов явился к нему в 4 часа утра, Бакунин не спал. В комнате царил полный беспорядок. На столе и стульях лежали книги и газеты, самовар стоял посреди пола, а стаканы под кроватью. Пол был усеян пеплом и окурками. Михаил Александрович был нездоров, но радушно встретил гостя, велел растопить камин и приготовить чай.

«— Извини, братец, — сказал он гостю, — я совсем расхворался. Врач приписал мне стрихнин от болей в пояснице. Вот флакон с этой гадостью. Как ты думаешь, помогут мне эти пилюли?

— Давайте я брошу их в огонь, и вам станет легче. Не стыдно ли, что Вы дожили до седых волос и все еще верите в медицину?

— Ты прав, — сказал Бакунин, — по-моему, всякая болезнь должна идти своим путем и выйти из тела».

На другой день с утра хозяин и гость сели завтракать, причем перед прибором Бакунина лежала груда писем, которые он обычно читал за завтраком. Меню было чисто итальянское, впрочем, в сочетании с бифштексом. Врачи запретили Бакунину мучные и жирные блюда, но он мало считался с этим и после постного куска мят съедал большое количество макарон с маслом и пил вино. После завтрака Михаил Александрович принялся сам готовить кофе, который выходил у него весьма скверно, но критиковать его не полагалось.

— Вот тебе чашка. Пей, — сказал он Соколову. — Хочешь с ромом? Я пью без всего. Ну как тебе нравится вкус? Пивал ли ты

где-нибудь такой кофе? Нет, даже в лучших отелях Ниццы не приготовят подобного. Это, брат, мой секрет. …А теперь я познакомлю тебя с моим распределением дня… Знай же раз навсегда, что к 11 часам утра, как сегодня, я приглашаю тебя к столу. В 1272 часов мы с Зайцевым и другими отправляемся в разные кафе читать газеты, пить пунш, болтать и гулять до 4 часов. Затем я до 8 часов вечера ложусь спать. Пью чай или зельтерскую воду и отправляюсь куда-нибудь до 10 часов. После чего, в продолжение всей ночи, как вчера, я, не раздеваясь, пишу письма. Вот и весь мой день, братец. Как видишь, я веду правильный образ жизни.

Покончив с кофе, Бакунин и Соколов отправились к Зайцеву, причем тут же были окружены толпой мальчишек, приветствующих их возгласами «Да здравствует Мишель!»

Отношения между Михаилом Александровичем и Соколовым установились хотя и дружеские, но с известным ироническим оттенком как с той, так и с другой стороны. Так, Соколов приводит следующие диалоги, которые иногда происходили между ними:

«— Ну чего ты скалишь зубы, животное? — говаривал Бакунин. — Скажи мне и сверни мне папироску!

— А ты, Ирод, — отвечал Соколов, — ведь ты мастодонт, тюлень, как тебя земля до сих пор носит!

— Черт побери всех вас вместе и каждого в отдельности, — продолжал Бакунин, — всех русских!.. Я признаю только моих итальянских друзей. Вы рабы и останетесь рабами с вашим царем».[522]

Из итальянских друзей в 1872 году Бакунин наиболее близко сошелся с Карло Кафиеро. Это был человек чуткий, нервный, порывистый, преданный революционному делу. Происходил он из богатой, аристократической итальянской семьи. Закончив в 1870 году юридическое образование, он отправился в Англию для изучения философии, но здесь неожиданно интересы его приобрели совсем иное направление: он занялся рабочим вопросом и с этого времени целиком ушел в проблемы освобождения угнетенного большинства человечества.

Вступив в 1871 году в Интернационал, он познакомился с Энгельсом и, уехав затем в Италию, поддерживал переписку с ним. Одновременно его заинтересовала и система взглядов Бакунина, о котором он много слышал от своих итальянских друзей.

В мае 1872 года Кафиеро приехал в Локарно для личного знакомства со знаменитым анархистом. Идеи Бакунина при эмоциональном и живом способе их выражения захватили

Кафиеро. После нескольких дней и ночей, проведенных в беспрерывных разговорах, он целиком и полностью принял платформу своего нового учителя и друга.

Проведя почти месяц в Локарно и условившись с Фанелли и Бакуниным о подготовке революционных акций, Кафиеро уехал в Италию.

В лице нового прозелита итальянское социалистическое анархистское движение приобретало не только верного и преданного борца, но и крупные денежные суммы, так как Кафиеро был человеком состоятельным. Одним из пунктов плана, выработанного совместно с Бакуниным, было приобретение на имя Бакунина виллы вблизи Локарно, которая стала бы постоянным местом для тайных встреч и укрытия итальянских революционеров, а также складом оружия и приютом для тайной типографии. Там же и должен был разместиться Бакунин со своей семьей, которая собиралась вернуться из России.

Приобретение собственности на имя Бакунина было мерой весьма своевременной, так как швейцарское правительство, обеспокоенное его деятельностью на итальянской границе, собиралось переселить его во внутренние кантоны или вовсе выдворить из страны. Положение же владельца недвижимой собственности устраняло эти угрозы.

В августе 1873 года вилла «Бароната» была приобретена. Она состояла из небольшого двухэтажного дома, старого виноградника и огорода, в котором было несколько грядок овощей. Весь участок расположен был по склону горы, спускавшейся к озеру Лаго-Маджиоре. В нижнем этаже дома помещалась кухня, столовая и две комнаты для приезжих, наверху еще две комнаты, в одной из которых поселился Михаил Александрович, в другой — Кафиеро и его жена Олимпиада Кутузова, младшая сестра жены Варфоломея Зайцева.

Дом, конечно, был мал для планов Бакунина и Кафиеро. Бакунин стоял за более дешевый план его реконструкции — пристройки двух больших комнат, но Кафиеро настоял на строительстве нового большого дома в верхней части участка. Приглашенный для этой цели подрядчик составил совершенно несуразную смету, но оба революционера, лишенные какого-либо практического смысла, доверились ему. Результат строительства был весьма плачевен и привел к полному разорению Кафиеро. Но первое время все еще шло благополучно.

«В те времена, — писал потом Бакунин, — я питал безграничную веру в Кафиеро, которого сам любил от всей души. Со времени нашей первой встречи весной 1872 года он проявлял по отношению ко мне безмерную, почти сыновнюю нежность». [523]

«Отношения М. А. Бакунина и Кафиеро были самые близкие и дружеские, — пишет Олимпиада Кафиеро. — Любя до поклонения Михаила Александровича, Кафиеро был безгранично предан ему, заменяя для него сестру милосердия, няньку, ухаживал за ним, как за ребенком.

В то время Бакунин уже начал хворать — не мог без посторонней помощи вставать по утрам. Каждый день по утрам слышался по всему дому громкий призыв: „Карло! Карло!“, и Кафиеро, где бы он ни был, чем бы он ни был занят, оставлял все и бежал на этот зов. И пока Карло не разотрет онемевшей руки или спины, боли в которой не давали Мих. Алекс, покоя, Бакунин не мог встать с постели».[524]

Помимо искренних забот о здоровье Бакунина, Кафиеро руководствовался необходимостью создать видимость буржуазного быта для конспиративного прикрытия истинного положения дел. Поэтому он заставил Бакунина сшить себе приличное платье и приобрести экипаж — старую подержанную коляску — и не менее старую лошадь. Бакунин, хотя и не без сопротивления, соглашался на все это. Он позволял руководить своей жизнью потому, что устал от борьбы и разочаровался во многом.

Скептицизм впервые овладел им после неудачи лионского восстания. События 1873 года в Испании углубили тяжелый кризис его взглядов.

Буржуазная революция в Испании началась в сентябре 1868 года. После того как королева Изабелла бежала из страны, власть захватили представители крупной финансовой и торговой буржуазии и либеральных помещиков. Народное движение не прекращалось. 11 февраля 1873 года кортесы под давлением народных масс провозгласили республику. Политическая власть перешла к буржуазным кругам, выступившим под лозунгом создания федерации. Были назначены выборы в Учредительное собрание. Монархисты бойкотировали эти выборы. Бакунисты, приняв деятельное участие в предвыборной борьбе, пытались захватить власть в ряде городов. Но в тех случаях, когда их действия приводили к временному успеху, они благодаря отсутствию организации, отрицанию необходимости революционной власти и политических форм борьбы быстро терпели поражение, «…бакунисты дали нам в Испании неподражаемый образчик того, как *не* следует делать революцию»[525] — так совершенно справедливо оценил Энгельс эти действия испанских анархистов.

Летом 1873 года, в разгар испанских событий, Бакунин еще полон был надежд на возможный успех движения и, как вселда,

стремился принять в нем личное участие. За деньгами на дорогу он обратился к единственному возможному источнику — Кафиеро, прося его к тому же в случае своей гибели позаботиться о его семье. Высказав безусловную готовность все сделать для семьи Михаила Александровича, Кафиеро в то же время отказал в деньгах на испанское предприятие, так как считал, что силы Бакунина ограниченны и для практических акций, тем более в Испании, а не Италии, он уже не подходит.

Последовавший затем трагический конец испанской революции[526] нанес Бакунину еще один страшный удар. Поражение ее он приписывал «отсутствию энергии и революционной страсти как у вождей, так и у масс», а ведь именно эти черты должны были бы, по его мысли, обеспечить успех движения.

Реакция, господствовавшая в Европе, не давала более возможности надеяться на революционный взрыв нигде, кроме Италии, которая одна еще, по мнению Бакунина, «являла некоторые симптомы революционною пробуждения».

Все эти обстоятельства и заставили Бакунина согласиться на предложение Кафиеро воздерживаться отныне от всяких активных революционных выступлений, оставаясь в то же время деятельным и скрытым и хорошо замаскированным центром перманентного интернационального заговора. Однако согласие свое на этот план Бакунин дал не без внутренней борьбы. «Я соглашался с Кафиеро в том, что состояние моего здоровья, моя отяжелелость, болезнь сердца и связанная с нею окоченелость членов и движений делают меня мало способным к авантюристическим предприятиям, для которых прежде всего требуются физическая сила, гибкость и испытанная подвижность. Но я всегда отстаивал свой долг и свое право броситься во всякое революционное движение… и всегда чувствовал и думал, что наиболее желанным для меня концом была бы смерть посреди великой революционной бури».[527]

Так или иначе, а предложение Кафиеро было принято. Оба революционера решили также, что для пущей конспирации Бакунин публично откажется от революционной деятельности и «уйдет в частную жизнь». Повод для такого публичного отказа вскоре представился.

В то время как Бакунин находился в Берне, куда поехал к А. Фохту посоветоваться насчет своего здоровья, вышла брошюра Генерального совета Интернационала «Альянс социалистической демократии», разоблачающая характер деятельности этого союза и наносящая удар по его организатору.

Ответ Бакунина, опубликованный в газете «Journal de Jenéve»,

поразил всех его друзей и врагов. Назвав клеветой все обвинения, выдвинутые против него, он неожиданно заявлял, что все последние события возбудили в нем «глубокое отвращение к общественной жизни. С меня этого довольно, и я, проведший всю жизнь в борьбе, я от нее устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает мне жизнь все труднее. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые, я же не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции.

Поэтому я удаляюсь с арены борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не нарушу ничьего покоя, пусть же и меня оставят в покое».[528]

Вслед за этим официальным отречением последовало и другое, в котором Бакунин обращался «с прощальным словом» к своим единомышленникам.

В письме этом, опубликованном в «Бюллетене Юрской федерации», он мотивировал свой уход «не личными неприятностями», а своей непригодностью к борьбе на настоящем этапе. «Теперь — время не идей, а действий и фактов. Теперь важнее всего — организовать силы пролетариата. Но эта организация должна быть делом самого пролетариата. Если бы я был молод, я бы вошел в рабочую среду и, разделяя трудовую жизнь моих собратьев, я вместе с ними принял бы также участие по этой необходимой организации.

Но мой возраст и мое здоровье не позволяют мне сделать это… Морально я чувствую себя еще достаточно сильным, но физически я сейчас же устаю и не чувствую в себе уже нужных сил для борьбы. Поэтому в лагере пролетариата я был бы только лишним грузом, а не помощником».[529]

Несмотря на то, что отказ от дальнейшей борьбы был лишь формальным, однако значительная доля искренности в нем была. Да и можно ли было упрекать человека, прожившего столь бурную и самоотверженную жизнь, в том, что он в конце ее устал и во многом разочаровался? Однако именно к подобным упрекам обратились в конечном итоге его друзья. Разрыв с ними был последним ударом для Михаила Александровича.

В Берне Бакунин провел сентябрь и октябрь 1873 года. Здесь он встретился со старым приятелем П. В. Анненковым, который в письме к И. С. Тургеневу так рассказал о вынесенном им впечатлении: «Громадная масса жира, с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, — вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно, и это жалко, как вид колоссального здания после

пожара. Но когда эта руина заговорила и преимущественно о России и что с ней будет, то опять явился старый добрейший фантаст, оратор-романтик, милейший и увлекательный сомнамбул, ничего не знающий и только показывающий, как он умеет ходить по перекладинам, крышам и карнизам».

В октябре Бакунин вернулся в «Баронату» и застал там полнейший беспорядок. «Я нашел там, — писал он, — святое семейство Набруци,[530] его мать, его и одну девицу, которую очень трудно определить; сверх того, двух испанцев, одного из моих итальянских друзей и Фанелли. Текущие расходы, благодаря хозяйничанию святого семейства, были громадны. Я содрогнулся».

Началось строительство нового дома, но произведенные работы оказались непригодными. Денег же было истрачено 50 тысяч франков. Кафиеро в это время отсутствовал. Он уехал в Россию вслед за своей гражданской женой Олимпиадой Кутузовой, которая, выехав ранее навестить свою мать, была задержана полицией, не выпускавшей ее из их имения, расположенного в Тверской губернии. Обвенчавшись с ней и освободив ее таким образом из-под опеки русских властей, Кафиеро вместе с женой летом 1874 года вернулся в «Баронату».

К этому времени хаос, царивший там, и полное расстройство денежных дел достигли предела. Ко всему тому накануне приезда Кафиеро прибыла из Сибири и Антонина Ксаверьевна с тремя детьми и стариком отцом.

Кафиеро сам не раз настаивал на вызове семьи Бакунина, обещая обеспечить как содержание их, так и будущность детей. Но все расчеты свои строил он на неверной оценке своего состояния, которое незадолго до того получил в наследство. Вернувшись из России, убедился, что денежные дела его далеко не блестящи.

Антонина Ксаверьевна, не зная истинного положения дел, ехала с надеждой на обеспеченную жизнь в доме, принадлежавшем, как она считала, ее мужу.

Находившийся там в это время Арман Росс так не беспристрастно описал обстоятельства ее появления: «Жена Бакунина никакого участия в революционных делах не принимала, и он не посвящал ее в эти дела. Нельзя сказать, чтобы она к ним была совершенно индифферентна, нет, она была скорее враждебна к ним и только под влиянием его постоянно себя сдерживала. Все мы хорошо это знали, знали также и то, что детей у Бакунина не было, что настоящим отцом детей был Гамбуцци, неаполитанский адвокат, с которым она после смерти Бакунина повенчалась… Для нас она была совершенно чужим

человеком. И вот этот-то чужой человек внезапно врывается в нашу среду и заявляет нам, что „Бароната“ со всем, что в ней есть, принадлежит ей, что она хозяйка, а все остальные — пришлые, посторонние люди, и что она терпит их присутствие здесь только из уважения и снисхождения к своему старому мужу».[531] Возможно, что Антонина Ксаверьевна и сказала что-то подобное, но в целом в своем отношении к семье Бакунина, а значит и к нему самому, Росс был глубоко не прав. Объяснить отношение Михаила Александровича к семье с точки зрения формальных обстоятельств, игнорируя сферу чувств, было невозможно. Рациональный ум Росса не мог постигнуть привязанности, любви и заботы Бакунина об Антосе и ее детях. Не мог он понять также, что для внутреннего спокойствия и работы Михаилу Александровичу нужно было быть уверенным в том, что близкие ему люди не терпят нужды.

Занявшись делами «Баронаты» и увидев степень расстройства денежных дел Кафиеро, Росс не смог понять и того, что Бакунин в этой истории оказался лишь жертвой весьма неудачного практического плана, навязанного ему его итальянским другом.

Не везло Бакунину в дружбе. Холодные и расчетливые или пылкие и чувственные друзья рано или поздно отходили от него, причем нередко его разрывы с ними принимали резкие, оскорбительные для него формы. Происходило это в молодые годы часто по его вине. Будучи интеллектуально выше и во много раз одареннее многих его окружающих, стремясь к одной главной дальней цели, он не понимал часто тех или иных обстоятельств повседневной жизни: не всегда был внимателен, не всегда мог идти на компромиссы, необходимые в человеческих отношениях (хотя учил этому других); проявляя недостаточное чувство такта, он вмешивался порой в чужую жизнь, навязывая ту или иную точку зрения. С годами недостатки эти в значительной мере сгладились, но появились болезни, усталость, заботы о семье, желание не одной идейной близости, но и человеческой теплоты отношений.

Молодые же люди, окружавшие его, исходили, как правило, из одних лишь утилитарно-революционных соображений. «Старик», как звали они Бакунина, нужен был им для дела. И в той мере, в какой он был нужен, они и использовали его авторитет, его мысли, его энергию. Именно этот стиль отношений и обусловил его последний разрыв с молодыми друзьями.

С той же пылкостью, с которой сначала Кафиеро ухаживал за Бакуниным, обратился он против него. «Теперь, — писал Бакунин, — он, кажется, дошел до того, что смотрит на меня, как на ненужную старую тряпку, которую следует выбросить вон. Он

думает, что ошибся тогда, как ошибается и теперь. Я никогда не был драгоценен, как ему угодно было думать год тому назад, и не так бесполезен, как он думает теперь».[532]

После объяснения Бакунина с Кафиеро, состоявшегося 15 июля 1874 года, положение для Михаила Александровича создалось невыносимое. Крушение надежд на успех движения, крушение дружбы, подозрительность и оскорбительный тон недавних соратников, отсутствие всякой возможности обеспечить кров и пищу многочисленной теперь семье, им же вызванной из России, — все это, сразу обрушившееся на старого, измученного болезнями человека, привело его к мысли о смерти. Единственное, что задерживало его, была семья, которую он не мог оставить без всяких средств. В этих условиях «я имел еще слабость принять от него (Кафиеро) обещание обеспечить тем или иным способом участь моей семьи после моей смерти».

В дневнике под датами «15 среда — 25-го суббота» запись: «Душевные муки. Кафиеро все более злобится. Росс все более разоблачается… Вечером 25-го я составил акт об уступке „Баронаты“ Карлу (Кафиеро)… и решил выехать в Болонью».[533]

Выехав 27 июля, Бакунин на другой день прибыл в Шплюген. Здесь в течение двух дней он писал «Оправдательную записку», цитированную нами выше в связи с историей с «Баронатой».

Документ этот предназначался для Кафиеро, Беллерио и Антонины Ксаверьевны. Заканчивал его Бакунин следующим образом: «Я ничего больше не должен принимать от Кафиеро, даже его забот о моей семье после моей смерти. Я не должен, не хочу больше обманывать Антонию, а ее достоинство и гордость подскажут, как ей надлежит поступить… К тому же я сделал все, что мог, чтобы обеспечить, по крайней мере частично, судьбу ее семейства. Я написал письмо, последнее прости моим братьям, которые, впрочем, никогда не отрицали моего права на долю в общем имении и которые всегда меня просили прислать к ним для реализации этой доли человека… До настоящего времени я не находил такого человека. Теперь, в прилагаемых при сем письмах, я даю эти полномочия Софии, сестре Антонии. Я не мог бы передать их в лучшие руки…

А теперь, друзья мои, мне остается только ухмереть. Прощайте!

Эмилио (Беллерио), старый и верный друг мой, спасибо тебе за твою дружбу ко мне и за все, что ты сделаешь для моих близких после моей смерти. Прошу тебя, помоги Антонии переехать, что ей придется, думаю, сделать безотлагательно…

Антония, не проклинай меня, прости меня. Я умру, благословляя тебя и наших дорогих детей».[534]

Подготовка к восстанию в Италии велась все последние месяцы жизни Бакунина в «Баронате». «К нам часто приезжали Коста, Малатеста и другие итальянцы. Бакунин, конечно, принимал самое горячее участие во всем этом деле», — сообщает Росс. Во главе движения стояли альянсисты, именовавшие себя «Итальянским комитетом социальной революции». Наиболее активную роль в этой тайной организации играл двадцатилетний студент Андреа Коста, еще осенью 1873 года живший вместе с Фанелли в «Баронате», когда, очевидно, и был разработан план выступления.

Влияние Бакунина в эти годы на итальянскую революционную молодежь было велико. Ралли пишет, что он стал «для итальянских социалистов настоящим апостолом нового учения и от Милана и Болоньи до Неаполя он был известен под именем Santo Maestro (святого учителя). Итальянская молодежь, нервный и увлекающийся итальянский рабочий, которые когда-то шли умирать под знаменем Гарибальди, вкусив от плода, созревшего в продолжение двадцати лет национальной независимости, познали, наконец, всю горечь обманутых иллюзий и стали толпами переходить в ряды социалистов-революционеров.

Главные деятели этого движения в Италии были ученики и прозелиты Михаила Александровича».[535]

А. Баул ер (Вебер) — участница русского освободительного движения, жившая в то время в Италии и хорошо знавшая Бакунина в последние годы, следующим образом пыталась объяснить причины его влияния: «В чем, собственно, состояли чары Бакунина? Точно этого определить, думается мне, невозможно, потому что самое верное определение будет неясная формула: во всем его существе. Не силой убеждения он действовал, не мысль будил своей мыслью, но поднимал всякое бунтующее сердце, будил стихийную злобу. Она охватывала красотой, становилась творческой и рисовала экзальтированной жажде справедливости, счастия исход, возможность достижения. „Страсть к разрушению есть творческая страсть“, — повторял Бакунин до конца жизни. Не в этой ли формуле надо искать разгадку его обаяния?»[536]

Ко времени намеченного Бакуниным и его друзьями восстания, летом 1874 года, вся Италия находилась в состоянии брожения. Неурожай предшествующего года, поднятие цен на продукты и упадок заработной платы — все это вызывало рост недовольства рабочих и выступления крестьян. «Комитет социальной революции» нашел время подходящим для

организации революционных выступлений сразу в нескольких местах страны.

3 августа 1874 года во Флоренции, Болонье, Неаполе, Равенне, Кремоне и некоторых других городах было распространено воззвание, призывающее к восстанию:

«Первый долг раба — восстать.

Первый долг солдата — дезертировать.

Пролетарии, подымайтесь!

Солдаты, дезертируйте! Оружие, которое ваши господа дали вам в руки для того, чтобы вы убивали нас, обращайте против них.

Это наше последнее слово, и скоро события подкрепят его. Горячо приветствуем тебя, заря нашего Избавления!»[537]

Предполагалось, что выступление произойдет в Болонье, куда и направился теперь Бакунин для личного участия в восстании, надеясь не столько на его успех, сколько на возможность смерти на баррикадах. Однако и такой выход оказался недостижимым для него.

В ночь на 7 августа повстанцы, числом около 3 тысяч, собранные и вооруженные вблизи, на Капрарской равнине, должны были войти в город, в то время как другая колонна восставших должна была захватить арсенал.

В ряде условных пунктов был приготовлен материал для сооружения баррикад.

Однако отряд, расположенный вблизи города и готовый к штурму арсенала, напрасно ждал сигнала к выступлению.

400 человек на Капрарской равнине напрасно ждали присоединения других отрядов.

О существовании революционного заговора полиция узнала заранее. 5 августа начались аресты. На следующий день был схвачен Коста и несколько других руководителей движения. 7-го неизвестный доносчик сообщил полиции о том, что вблизи города собираются вооруженные отряды. Немедленно в эти районы были направлены войска. Отряд повстанцев из Имолы оказался окруженным.

Те, что ждали на Капрарской равнине, не получив ни подкрепления, ни сигнала к восстанию, к утру разошлись.

Болонский префект граф Капитэлли, узнав о событиях лишь ночью, приказал запереть все городские ворота и произвести до сотни арестов.

Бакунин, надеясь на возможность возглавить восставших в уличных боях, напрасно ждал сообщения о начале сражения.

Вот что он записывал в своем дневнике. «Неудача.

Страшная ночь с 7-го на 8-ое [августа]. Револьвера Смерть

под рукой. Приходят один за другим Л., Сильвио, Берарди, Нья… Остался один с 3 до 4. В 4 смерть… В 3 ч. 40 м. утра является Сильвио и не дает мне умереть».[538]

Через несколько дней в костюме деревенского священника, в больших очках, с палкой и для пущей конспирации с корзиной, полной яиц, в руках, он покинул Болонью.

Приехав в Шплюген, Бакунин телеграфировал в «Баронату» и стал ждать Кафиеро для решения вопроса о дальнейших революционных акциях. Однако ожидания его были напрасны, вместо Кафиеро явился Росс, передавший, что в Италии делать больше нечего.

Запись Бакунина в дневнике 21 августа: «Приезжает Росс, остервенелый и фальшивый как каналья. Натта после обеда уезжает в Локарно. Я остаюсь наедине с г-ном Россом. 22-го суббота. Росс крайне раздосадован. Он уезжает после обеда. Я снова один».[539]

Бакунин продолжает настаивать на личном свидании с Кафиеро. Тот, наконец, соглашается и назначает местом встречи Сиерру. По пути он заезжает в Невшатель, встречается с Гильомом и по-своему информирует его о конфликте с Бакуниным.

Гильом пишет: «Мы: Швицгебель и я, объявили Кафиеро и Росса правыми; приходилось признать, что Бакунин уже не тот человек, каким он был прежде, и, что, говоря о своей старости, усталости, разочаровании и утомлении, он высказал печальную истину».

Встреча с Кафиеро состоялась 30 августа. Разговор, по словам Бакунина, «был чисто политический», обе стороны были «холодны как лед». «Я заявил им, что… принял бесповоротное решение окончательно удалиться от политической жизни и деятельности, как явной, так и тайной, и отдаться исключительно семейной жизни и личным делам… Отклонив, как и следовало, предложенную мне пенсию, попросил у него заимообразно пять тысяч франков с уплатой в два года и из 6 %. Он весьма любезно согласился на это».

На этот раз отказ от деятельности был искренним и полным. И не интриги друзей, не болезни и безденежье были тому причиной. Он просто потерял веру в необходимость тех форм революционной деятельности, которым посвятил всю жизнь. Ставка на близкую социальную революцию обусловливалась уверенностью в готовности народа к революции. Но уже весной 1874 года он понял, что «в данное время народные массы не хотят социализма».[540] Еще несколько месяцев он продолжал в силу инерции, в силу временных иллюзий и, наконец, в силу

обстоятельств действовать в прежнем направлении, но теперь, после болонской попытки, после последнего разрыва с соратниками и фактического отстранения его от революционных дел, не было более нужды «катить Сизифов камень против всюду торжествующей реакции».

Перестал ли он быть революционером? Нет.

По-прежнему единственный путь освобождения народа видел он в социальной революции. Здравая же оценка положения дел в Европе, убеждение в неготовности народа к осуществлению идеала анархии свидетельствовали лишь о большом мужестве человека, сумевшего накануне смерти сжечь те идолы, которым он поклонялся всю жизнь.

Моральным категориям, никогда, впрочем, и ранее не отвергавшимся им, придавал он теперь первостепенное значение. «Пойми же ты наконец», — писал он Россу 21 октября 1874 года, — что «на иезуитском мошенничестве ничего живого, крепкого не построишь, что революционная деятельность, ради самого успеха своего дела, должна искать опоры не в подлых и низких страстях и что без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция не восторжествует».[541]

Поселившись теперь в Лугано, в ноябре 1874 года Бакунин писал уехавшему жить в Лондон Огареву: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности, от всякой связи для практических предприятий. Во-первых, потому, что настоящее время для таких предприятий решительно неудобно; бисмаркианизм, т. е. военщина, полиция и финансовая монополия, совокупленные в одну систему, носящую имя новейшего государства, торжествуют повсюду… Не говори, чтобы в настоящее время нечего было делать; но это новое дело требует нового метода, а главное — свежих молодых сил, и я чувствую, что я для новой борьбы не гожусь, а потому и подал в отставку… Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно не способен».[542]

Еще более определенно высказал свое настроение Бакунин год спустя, в письме к Элизе Реклю 15 февраля 1875 года. Он писал: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет… Я

окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании — не праздном, а, напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное.

Одна из страстей, владеющих мной в данное время, это колоссальная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью».[543]

Замечательная формулировка: «объективная страсть»! Даже и теперь этот неуемный человек, в столь многом разуверившийся, не мог быть бесстрастным.

Бакунин много читал в эти последние годы. Его настольными книгами, судя по его словам из письма к Огареву, были: «Автобиография Джона Стюарта Милля», «История человеческой культуры» Кольба и сочинения Шопенгауэра.

Вся комната его была завалена газетами всех политических направлений. Он поддерживал переписку теперь лишь с некоторыми друзьями, пытался писать свои мемуары и вторую часть книги «Государственность и анархия».[544]

Попытался он на этот раз действительно наладить какой-либо прочный быт для семьи. В надежде на получение своей части наследства из России, куда поехала для оформления дел сестра Антонины Софья Лозовская, он в долг приобрел в Лугано виллу с участком земли, на котором решил завести огород. На это неожиданное увлечение ушел целый год. Прочтя много сельскохозяйственной литературы, он решил все делать на научной основе. Для начала были вырублены все деревья и выкопано множество ям, в которые предполагалось насыпать удобрения. Посещавшая его в это время А. В. Баулер рассказывает, как Михаил Александрович решил сеять огурцы и непременно укроп. Жена его возражала, уверяя, и не без оснований, что в этом саду никогда ничего, кроме ям, не будет.

«— Ямы специально для лягушек, — сказал Бакунин, — до смерти люблю их кваканье. Удивительно музыкальное животное. Жили в русской деревне? — обратился он к Баулер. — Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?

Он опустил голову, …печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ».

Видимо, тоска по России была одним из самых сильных его чувств последние два года. Баулер пишет, как он много вспоминал о жизни в Премухине и заставлял ее рассказывать «про деревню». Причем его интересовали не характеристики людей или изменившиеся с тех пор нравы, а главным образом картины

русской природы. Иногда он спрашивал, точно сам вспоминал что-нибудь и хотел ярче вызвать в себе воспоминание: «А было у вас в деревне лесное болото?» Или говорил: «Расскажи-ка, какой у вас был фруктовый сад». Если мой набросок картинки русской природы мне удавался, М. А. через день-другой заставлял меня повторить рассказ. «Ну-ка расскажи еще про заливные луга».

Как-то раз в общей беседе речь зашла о смерти. Присутствовавший здесь итальянец профессор Ч. Педерцолли сказал, что смерть страшна для всякого. «Смерть? — воскликнул Бакунин. — Она мне улыбается».

Затем, перейдя на русский язык и обращаясь к Баулер, добавил: «Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мне: „Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться…“ Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?»[545]

Бывший член Парижской коммуны Артур Арну, живший тогда в Лугано, рассказывает, как однажды Бакунин пришел к нему веселый и радостный. На вопрос о причинах его хорошего настроения он ответил:

«— По дороге я выплюнул один из моих последних зубов!

— И от этого Вы сияете?

— Еще одна частица моего „я“ исчезла, — ответил он с гордым и верховным презрением к жизни и смерти».[546]

А. Арну и А. Вебер оставили в своих воспоминаниях последние описания внешности и быта Бакунина.

Быт Бакунина был, по существу, тот же, что и всегда. Поношенность его платья, крайняя бедность обстановки, его окружающей, минимальность его личных потребностей всегда отмечались теми, кто что-либо писал о нем. «Одет он был всегда в одно и то же весьма истасканное платье, — свидетельствует Вебер, — ел едва достаточную пищу, даже постели удобной у него не было: на его узенькой железной кровати с трудом умещалось ею громадное тело. Она была ему коротка, вся шаталась и скрипела, а большой старый платок, служивший одеялом, покрывал его еле-еле. Единственной его роскошью был табак и чай. Курил он целый день, не переставая, и целую ночь с небольшими перерывами сна, когда боли давали спать».[547]

Прежние друзья, столь несправедливо поступившие со своим учителем, помирились с ним. Кафиеро, которому Бакунин простил все обиды, приезжал вместе с женой проститься с ним перед отъездом Олимпиады в Россию. Бывал в Лугано и Росс, и хотя Бакунин беседовал и переписывался с ним, но теплого чувства к нему уже не возникло вновь.

Потеряв старых друзей, Бакунин нашел новых в лице простых

рабочих, живших в Лугано.

«Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, — пишет Баулер, — что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирюльников Бакунин имел не только друзей, но и обожавших его сыновей.

Ежедневно сапожник Андреа Сентадреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать М. А. в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Мауцоти. Были и другие сидельцы-добровольцы…

Все эти люди, едва жившие на свои ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь нехитрые лакомства».[548]

До последнего времени жизнь не переставала испытывать силы Бакунина. Новое несчастье обрушилось на него, когда выяснилось, что денег, полученных, наконец, из Премухина, не хватит не только на обеспечение семьи, но и на оплату стоимости виллы.

Накануне смерти тяжело больной старый человек, обремененный семьей, снова оказывался без крыши над головой. На семейном совете было решено попробовать перебраться в Неаполь, если итальянские власти разрешат это. Пока же Михаил Александрович направился в Берн к старому другу Фохту, чтобы посоветоваться относительно своих болезней. Хроническое воспаление почек, ревматизм, склероз и гипертрофия сердца, осложненная водянкой, делали его положение крайне тяжелым. Выехал он из Лугано 9 июня 1876 года.

На бернском вокзале его ждал Фохт.

«Я приехал в Берн, — сказал Бакунин другу, — для того, чтобы ты поставил меня на ноги или же закрыл мне глаза».

В клинику, куда положил его Фохт, пришла старая приятельница — Мария Каспаровна Рейхель.

«Маша, я приехал сюда умирать» — так приветствовал ее Михаил Александрович. Лечение в клинике Фохта первое время несколько облегчило страдания Бакунина.

15 июня он смог навестить Рейхелей. Попросил поиграть ему на фортепьяно. В разговоре на замечание Рейхеля о том, что он так и не написал своих воспоминаний, Михаил Александрович ответил:

«— Скажи-ка на милость, для кого я стал бы их писать?.. Теперь все народы утратили революционный инстинкт. Все они слишком довольны своим положением, а страх потерять и то, что

у них есть, делает их смирными и инертными. Нет, если я поправлюсь, то я, пожалуй, напишу этику, основанную на принципах коллективизма, без философских и религиозных фраз».[549]

Очевидно, в тот же день написал Бакунин письмо, подписанное шифром (2) и адресованное, по-видимому, Ралли.

«Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства Европы сложатся круче, т. е. совокупности экономических и политических условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская бессильны ни приблизить, ни изменить ничего… Наш… час не пришел».[550]

Так в конце жизненного пути больной и старый человек не увидел революционной энергии масс, которая была очевидна для каждого, кто умел смотреть и видеть.

Начиная с 22 июня состояние Михаила Александров вича резко ухудшается с каждым днем. Он почти перестал есть и пить. Когда 29-ˆго Рейхель пытался заставить его выпить бульон, он ответил: «Подумайте, что вы делаете со мной, заставляя меня есть. Я знаю, чего хочу». Но в то же время он согласился съесть несколько ложек гречневой каши, приготовленной Марией Каспаровной. «Каша — это другое дело», — сказал он. Последние дни он часто терял сознание. Смерть наступила в 12 часов дня 1 июля 1876 года.

«Бакунин умер, как и жил, — дельным человеком, — писал Рейхель. — В продолжение всей своей жизни он выступал тем, чем был, без фраз и без притворства, и умер он также с полным сознанием самого себя и своего положения. В общем он казался мне утомленным жизнью. Он составил себе правильное суждение о современном мире и, сознавая, что ему не хватает нужного материала для свойственной ему деятельности, он без сожаления смежил свои очи».[551]

3 июля социалисты разных стран хоронили Бакунина. На его могиле звучали речи немцев, русских, швейцарцев, французов.

Корреспонденция о похоронах, помещенная в газете. «Вперед» от 15 июля 1876 года, сообщала, что известие о смерти знаменитого агитатора застало всех врасплох. «Если бы хотели известить все страны и местности, по которым Бакунин оставил след своей жизни, своего влияния, пришлось бы сзывать целый мир. Дрезден, Прага, Париж, Лион, Лондон, Стокгольм, Италия, Испания должны бы явиться на похороны того, кто вошел в их историю, не говоря уже о нашей родине, где столько друзей и врагов, столько хвалителей и порицателей было пробуждено к общественной жизни или вызвано к деятельности словом и делом, истинами и парадоксами этого всемирного агитатора.

В действительности успела собраться небольшая кучка, человек в 50. Тут были друзья, подавленные горем. Тут были люди, делившие с Бакуниным опасности в разное время, в разных местностях. Была и молодежь, для которой это был учитель. Были люди, не разделявшие его мнений, стоявшие в противном лагере… Но в эту минуту… все это было неразличимо. Была лишь одна группа людей, которая хоронила историческую силу, представителя полувекового революционного движения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизнь Бакунина, отданная революционной борьбе, оставила в ней заметный след. И хотя предложенный им дуть борьбы не мог привести к освобождению угнетенной части человечества, но и отрицательный ответ несет в себе необходимую науке информацию.

Несоответствие задач, выдвигаемых Бакуниным, условиям реальной действительности способствовало созданию утопической системы взглядов, порождало несбыточные социальные иллюзии.

Неизбежное крушение этих иллюзий придавало жизни Бакунина трагический колорит. Все его предприятия не удавались, а основополагающие идеи не находили всеобщего признания.

«Он родился слишком полвека позднее и не там, где следует, — писал Вырубов, — ему место было во Франции 1792 года, он был бы там Дантоном, Маратом, Бабефом; он умер бы на эшафоте или на баррикадах…» Слова эти в общем справедливы. Бакунин действительно представлял собой тип революционного вождя героического периода утопического социализма и мелкобуржуазной революционности.

В большинстве стран Европы идеи Бакунина не получили сколько-нибудь широкого распространения. Они оказали определенное влияние на рабочее движение лишь в наиболее экономически отсталых странах того времени: Италии, Испании, Швейцарии, на юге Франции.

В России, где еще не сформировался рабочий класс, где многомиллионные крестьянские массы несли на себе всю тяжесть крепостнических пережитков и капиталистической эксплуатации, бакунизм проявился в иных, чем на Западе, формах.

Разночинная молодежь рвалась к конкретному революционному делу, к живой, непосредственной борьбе. Свою ближайшую цель народники видели в крестьянской социалистической революции, но, как поднять народ на борьбу, они не знали. В этой обстановке призыв Бакунина установить «живую бунтовскую связь между разъединенными общинами» звучал как конкретная программа действия, а борьба против государственности воспринималась как призыв к уничтожению царизма. Но в целом бакунизм с его призывом к немедленной социальной революции и отрицанием иных «политических» форм борьбы с правительством недолго господствовал и в русском революционном движении. В период «хождения в народ»,

убедившись в тщетности попыток поднять крестьян на революцию, народники в своем большинстве перешли к той политической борьбе, которую отрицал Бакунин.

Недолгим было влияние Бакунина и в странах Западной Европы. Развитие рабочего движения, распространение марксизма, крах попыток бакунистов поднять восстание привели к преодолению анархистского влияния на Западе.

Временный же успех этого утопического учения способствовал лишь тому, чтобы до конца обнаружить «свою неверность, свою непригодность как руководящей теории для революционного класса».[552]

Теория и тактика анархизма давно изжили себя, но память о революционере Бакунине осталась. Осталась потому, что в меру своего понимания и сил самоотверженно и последовательно боролся он за торжество революции.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. БАКУНИНА

1814, 18 мая — В Премухине Новоторжского уезда Тверской губернии родился Михаил Александрович Бакунин.

1828–1833 — Учился в Артиллерийском училище в Петербурге.

1833–1835 — Служил в чине поручика в артиллерийской бригаде сначала в Минской, затем в Гродненской губернии.

1835 — Вышел в отставку.

1836–1840 — Жизнь в Москве. Поездки в Премухино.

1839, июль — ноябрь — Поездка в Петербург.

1840, 4 октября — Отъезд за границу.

1840–1842 — Жизнь в Берлине, занятия в университете. Поездки в Дрезден.

1842, октябрь — Опубликование статьи «О реакции в Германии» в журнале «Немецкие ежегодники».

1843, январь — Переезд в Цюрих.

1844, февраль — Отказ Бакунина вернуться в Россию по требованию российского правительства.

Декабрь — Решение Сената о лишении Бакунина чина и дворянства и ссылке, в случае явки в Россию, в Сибирь на поселение.

1844–1847 — Жизнь в Париже.

1847, 18 ноября — Выступление на польском митинге в годовщину восстания 1831 года.

Декабрь — Высылка Бакунина из Парижа. Отъезд Бакунина в Брюссель.

1848, февраль — Возвращение в Париж после победы февральской революции во Франции.

Март — Отъезд из Парижа в Германию.

Июнь — Участие в славянском съезде и в восстании в Праге.

1849, май — Участие в Дрезденском восстании, арест и заключение в тюрьму в Дрездене.

Июль — Перевод Бакунина в крепость Кенигштейн.

1850, 14 января — Саксонским судом первой инстанции Бакунин приговорен к смертной казни.

6 апреля — Утверждение приговора высшим апелляционным судом Саксонии.

12 июня — Замена по решению короля смертной казни пожизненным тюремным заключением.

13—14 июня — Бакунин выдан австрийским властям и

заключен в тюрьму в Праге.

1851, 14 марта — Перевод в крепость Ольмюц.

Май — Передача Бакунина на границе русским властям. Заключение в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Июль — август — По предложению Николая I Бакунин пишет «Исповедь».

1854, март — Перевод Бакунина в Шлиссельбург.

1857, февраль — Замена тюремного заключения ссылкой в Сибирь.

1857–1859 — Жизнь в Томске.

1858, 5 октября — Женитьба Бакунина на Антонине Ксаверьевне Квятковской.

1859, весна — Переезд в Иркутск.

1861, июнь — Бегство из ссылки. Декабрь — Приезд в Лондон.

1862, лето — Работа над брошюрой «Народное дело».

1863, февраль — октябрь — Поездка в Швецию.

Март — Участие в экспедиции на пароходе «Ward Jackson».

1864, январь — Переезд в Италию. 1864–1865 — Жизнь во Флоренции.

Конец 1864–1865 — Создание тайного революционного общества «Интернациональное братство».

1865–1867 — Жизнь в Неаполе. 1867–1869 — Жизнь в Женеве.

1867, 10 сентября — Выступление на конгрессе Лиги мира и свободы.

1868, июль — Вступление в Женевскую секцию I Интернационала. Осень — Издание Бакуниным и Н. И. Жуковским первого номера «Народного дела».

Октябрь — Основание «Альянса социалистической демократии».

1869, март — Начало совместной пропагандистской деятельности с С. Г. Нечаевым.

Июнь — Официальный роспуск «Альянса» и вхождение его секций в Интернационал.

Сентябрь — Выступление Бакунина на Базельском конгрессе Интернационала.

Октябрь — Переезд в Локарно.

1870, июнь — июль — Разрыв с С. Г. Нечаевым.

Сентябрь — Участие в лионском восстании.

1871, апрель — Выход 1-го выпуска книги Бакунина «Кнуто-германская империя и социальная революция».

1871–1873 — Работа над первой частью книги «Государственность и анархия».

1872, сентябрь — Исключение Бакунина из Интернационала Гаагским конгрессом Международного товарищества рабочих.

Апрель — Создание Бакуниным русской секции «Альянса».

1873, август — 1874, июль — Жизнь на вилле «Бароната».

1874, август — Попытка участия в болонском восстании. 1874–1876 — Жизнь в Лугано.

1876, июнь — Переезд в Берн.

1876, 1 июля — Смерть М. А. Бакунина.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Маркс К., Конфиденциальное сообщение. В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., издание 2-е, т. 16.

Маркс К., Энгельс Ф., Мнимые расколы в Интернационале. Там же, т. 18.

Маркс К., Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия». Там же, т. 18.

Маркс К. и Энгельс Ф., Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих. Там же, т. 18.

Энгельс Ф., Доклад об Альянсе социалистической демократии. Там же, т. 18.

Энгельс Ф., Бакунисты за работой. Там же, т. 18.

К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия, М., 1967.

Ленин В. И., Государство и революция. Полн. собр. соч., т. 33.

Основные издания сочинений М. А. Бакунина

Собрание сочинений и писем, под редакцией и с примечаниями Ю. М. Стеклова (незавершенное), т. 1–4. М., 1934–1935. Избранные сочинения, т. 1–5. П.—М., 1919–1921.

Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Спб., 1906.

Archives Bakounine. International instituut voor sociale geschiedenis. Amsterdam, I, II, III, IV, Leiden, 1961–1968.

Литература о жизни и деятельности М. А. Бакунина

Герцен А. И., Михаил Бакунин. Собр. соч., т. VII. М., 1956. Герцен А. И., М. А. Бакунин, Собр. соч., т. XVI. Герцен А. И., К старому товарищу. Собр. соч., т. XX, кн. 2. Корнилов А. А., Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.

Корнилов А. А., Годы странствий Михаила Бакунина. Л.-М., 1925.

Нетлау М., Жизнь и деятельность Михаила Бакунина. П.-М., 1920.

Материалы для биографии М. Бакунина под ред. В. Полонского, т. 1–3. М.-П.-Л., 1923–1933.

Полонский В., Михаил Александрович Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление, т. 1. М.—Л., 1925.

Стеклов Ю., Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и

деятельность, т. 1–4. М.—Л., 1926–1927.

Сажин М. П. (Арман Росс), Воспоминания. 1860–1880. М., 1925.

Ралли-Арборе З., М. А. Бакунин. «Минувшие годы», 1908, № 10.

Ралли Замфирий, Из моих воспоминаний о Бакунине. Сборник «О минувшем». Спб., 1909.

Мечников Л., Бакунин в Италии в 1864 г. «Исторический вестник», 1897, № 3.

Баулер А. В., М. А. Бакунин накануне смерти. Воспоминания. «Былое», 1907, № 7.

Козьмин Б. П., Из истории революционной мысли в России. М., 1961.

Колпинский Н. Ю., Твардовская В. А., Бакунин в русском и международном освободительном движении. «Вопросы истории», 1964, № 10.

«Первый интернационал», ч. 1 и 2. М., 1964–1965.

Пирумова Н. М., Новое о Бакунине на страницах французского журнала. «История СССР», 1968, № 4.

notes

Примечания

1

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 49.

2

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 18, стр. 30.

3

Осуга — река (приток Тверцы), на берегах которой расположено Премухино.

4

Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) (РО ИРЛИ), ф. 16, оп. 2, ед. хр. 19, 20, 21, 22, 23, 24 и др.

5

М. А. Бакунин, Собр. соч., т. II. М., 1934, стр. 105–106.

6

Увольнение в отставку было оформлено в декабре 1835 года.

7

А. В. Никитенко, Дневник, т. I. М., 1955, стр. 147.

8

Н. В. Станкевич, Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, стр. 9. (Далее: «Переписка Н. В. Станкевича».)

9

Возможно, Тургенев имел здесь в виду И. П. Клюшникова.

10

И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 2. М., 1954, стр. 69.

Еще один член кружка, Я. М. Неверов, жил в Петербурге, но тесные, дружеские отношения со Станкевичем постоянно поддерживал.

12

К. Аксаков, Воспоминания студенства. М., 1911, стр. 11–12.

13

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 23–24.

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 24.

15

И. И. Панаев, Литературные воспоминания. М., 1950, стр. 148.

16

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 126.

17

А. А. Корнилов, Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915, стр. 141.

18

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 153.

19

Там же (письмо от 12 ноября 1835 года).

А. А. Корнилов, указ. соч., стр. 138.

21

Впоследствии Н. А. Беер вышла замуж за своего кузена В. К. Ржевского.

А. А. Корнилов, указ. соч., стр. 223.

23

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. М., 1953–1954, т. XI, стр. 329.

24

Там же.

25

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 189.

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 350.

27

Там же, стр. 282.

28

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 345–346.

29

Там же, стр. 344.

30

А. И. Герцен, Соч., собр. соч. в 30 томах, М., 1954–1966, (далее Соч.), т. VII, стр. 353.

31

М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. П., 1909, стр. 375.

32

П. В. Анненков, Литературные воспоминания, стр. 159.

33

А. И. Герцен, Соч., т. VII, стр. 353–354.

К. С. Аксаков, Соч., т. I, Спб., 1915, стр. 23–26, 640.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 23.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. I, М.—П., 1919, стр. 231.

А. И. Герцен, Соч., т. IX, стр. 18.

И. И. Панаев, указ. соч., стр. 147.

39

И. И. Панаев, указ. соч., стр. 147.

А. И. Герцен, Соч., т. IX, стр. 22.

41

А. И. Герцен, Соч., т. IX, стр. 16.

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 156.

43

А. А. Корнилов, указ. соч., стр. 318.

Там же, стр. 321.

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 268–269.

«Т. Н. Грановский и его переписка», т. II., стр. 371.

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 350.

А. А. Корнилов, указ. соч., стр. 515.

49

«Т. Н. Грановский и его переписка», стр. 367–368. В этих стихах был намек еще и на лысину Боткина.

Захвачен идеей (нем.).

51

«Т. Н. Грановский и его переписка», стр. 378–379.

52

В 1843 году 6 февраля Белинский напишет Боткину о Каткове: «Этот человек не изменился, но только стал самим собой. Теперь это куча философского г…, бойся наступить на нее — и замарает и завоняет». В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 131.

«Т. Н. Грановский и его переписка», стр. 383.

А. Панаева, Воспоминания. Л., 1928, стр. 112.

А. А. Корнилов, указ соч., стр. 437–438.

Там же, стр. 639.

А. И. Герцен, Соч., т. VII, стр. 356.

Н. Г. Чернышевский, Собр. соч., т. I. М., 1039, стр. 740.

«Переписка Н. В. Станкевича», стр. 177.

А. И. Герцен, Соч., т. IX, стр. 20.

61

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 171.

62

См. Письмо Бакунина брату Павлу и И. С. Тургеневу (ноябрь 1842 г.), Соч., т. III, стр. 163, 164 и др.

63

«Материалы для биографии М. Бакунина», М,—Л., 1925, т. 1, стр. 104 (далее «Материалы…»).

Подробней об этом документе см. в главе IV.

Вяч. Полонский, Бакунин, т. I., М., 1922, стр. 364.

А. И. Герцен, Соч., т. VII, стр. 356.

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 90.

А. И. Герцен, Соч. т. II, стр. 256–257.

В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 114.

В сыром виде (латин.).

«Да здравствует Республика!»

А. И. Герцен, Соч., т. X, стр. 243

«Голос минувшего», 1913, январь, стр. 186.

В. Дебогорий-Мокриевич, Воспоминания, Спб, 1906, стр. 101–102.

А. А. Корнилов, указ. соч., стр. 525.

В. Вейтлинг, Гарантии свободы и гармонии, 1842.

77

Эм. Калер, Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. Спб, 1896, стр. 72–75.

Там же, стр. 80.

«Материалы для биографии М. Бакунина», т. 1, стр. 109.

Эм. Калер, указ. соч., стр. 66–67.

81

Там же, стр. 104.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 536.

83

А. И. Герцен, Соч., т. II, стр. 313.

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 127–128.

«Материалы…», т. 1, стр. 115.

86

Весной 1846 года, в Брюсселе.

П. В. Анненков, указ. соч., стр. 301–302.

М. А. Бакунин, Государственность и анархия, П., 1919, стр. 246.

89

Ю. М. Стеклов, Борцы за социализм, ч. I, М.—П., 1923, стр. 258.

90

П.-Ж. Прудон, Что такое собственность? Лейпциг — Спб., 1907, стр. 140.

91

Там же, стр. 160.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 25.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 26, 31.

А. И. Герцен, Соч., т. X, стр. 190–191.

М. А. Бакунин, Государственность и анархия, стр. 247.

А. И. Герцен, Соч., т. II, стр. 409.

«Материалы…», т. I, стр. 117–118.

«Материалы…», т. I, М., 1923, стр. 120, 122.

А. И. Герцен, Соч., т. X, стр. 323.

100

А. И. Герцен, Соч, т. X, стр. 323.

101

С начала 40-х годов Варнгаген интересовался славянским вопросом и поддерживал связи с деятелями славянского движения. О какой работе здесь говорит Бакунин, установить не удалось. Очевидно, она также не была закончена и не увидела света.

«Материалы…», т. 1, стр. 126.

103

Возможно, Бакунин имеет в виду разночинную интеллигенцию.

104

Отзвуки этих разговоров видны в письмах Бакунина Лемпицкому написанных в январе 1848 года, см.: М. А. Бакунин, Соч.7 т. III, стр. 285–290.

105

«Материалы…», т. 1, стр. 127.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 139.

107

«В Париже объявлена Республика». «Материалы…», т. 1, стр. 128.

«Материалы…», т. 1, стр. 129.

109

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 7, стр. 292.

110

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 355.

111

«Материалы…», т. 1, стр. 130–131.

«Материалы…», т. 1, стр. 132.

113

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 179.

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 355.

115

«Материалы…», т. 1, стр. 140.

116

Ю. Стеклов, Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. М. — Л., 1926, т. 2, стр. 428.

117

«Материалы…», т. 1, стр. 143.

118

Там же, стр. 144.

119

«Материалы…», т. 1, стр. 151–152.

«Материалы…», т. 1, стр. 155.

121

«Материалы…», т. 1, стр. 180–181.

122

Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, 1-я эксп., ед. хр. 34, 1848, л. 3.

Там же, лл. 4, 7, 8.

124

Дело хранится в ЦГАОРе, ф. 109, 1-я эксп. Частично опубликовано М. Лемке («Былое», 1906, май, № 5).

125

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 289.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 290.

127

О взглядах Энгельса на славянский вопрос в конце 40-х годов см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. XII–XIII.

«Материалы…», т. 1, стр. 160.

129

Б. Николаевский, Взгляды М. А. Бакунина на положение дел в России. «Летописи марксизма», 1929, № 9—10, стр. 45–46.

«Материалы…», т. 1, стр. 200.

131

Р. Вагнер, Воспоминания. П., 1911, т. II, стр. 175.

132

После заключения по процессу Бакунина и последующей амнистии (1857), очевидно, в 60-х годах стал тайным агентом полиции. Разоблачен в 1872 году.

133

Р. Вагнер, указ. соч., т. II, стр. 180.

«Материалы…», т. 1, стр. 237.

135

Р. Вагнер, указ. соч., т. II, стр. 170.

136

«Материалы…», т. 1, стр. 243–244.

137

Р. Вагнер, указ. соч., стр. 189.

«Материалы…», т. 1, стр. 246.

139

Здесь речь шла о письмах М. И. Полуденской (сестра Н. И. Сазонова), с которой Бакунин встречался в Париже в 1847–1848 годах. Полуденская испытывала к Бакунину не только дружеские чувства. Однако в этом, как и во многих других подобных случаях, Бакунин не отвечал взаимностью.

140

«Материалы…», т. 2, стр. 109–111.

141

«Материалы…», т. 2, стр. 128.

«Материалы…», т. 2, стр. 368.

143

«Материалы…», т. 2, стр. 371–372.

144

А. И. Герцен, Соч., т. VII, стр. 359–360.

145

«Материалы…», т. 2, стр. 377.

«Материалы…», т. 2, стр. 381.

147

Гейбнер был освобожден по амнистии 1859 года, Реккель вышел на свободу в 1862 году.

148

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 356.

149

«Материалы…», т. 2, стр. 416–417.

150

Там же, стр. 419.

151

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 235.

152

Там же, стр. 486.

153

ЦГАОР, ф. 109, 3-я эксп., ед. хр. 3209, л. 4.

Вымысел и правда (нем.).

«Печать и революция», 1921, кн. 3-я, стр. 45.

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 260.

157

«Материалы…», т. 1, стр. 163.

Там же, стр. 165.

159

«Материалы…», т. 1, стр. 173.

160

А. А. Корнилов, Годы странствий Михаила Бакунина. М. — Л., 1925, стр. 443–444.

161

А. М. Бакунин не мог поехать на свидание с сыном, так как к этому времени совсем ослеп, да и было ему уже 84 года.

162

А. А. Корнилов, Годы странствий…, стр. 444.

163

А. А. Корнилов, Годы странствий…, стр. 401.

164

РО ИРЛИ, ф. 16, оп. 6, ед. хр. 28.

165

А. А. Корнилов, Годы странствий…, стр. 536–537.

166

«Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Спб, 1906, стр. 185–186.

167

«Материалы…», т. 1, стр. 296.

168

П. А. Кропоткин, Записки революционера. М., 1966 стр. 173–174.

169

Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 10 М., 1950, стр. 479.

170

А. Карелин, Жизнь и деятельность Бакунина. М., 1919, стр. 13.

171

Вяч. Полонский, указ. соч., стр. 405.

«Город Томск». Томск, 1912, стр. 124.

173

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 155–156.

С. Неведенский, Катков и его время. Спб., 1888, стр. 505.

175

И. А. Гончаров, По Восточной Сибири, «Русское обозрение», 1891, № 1.

176

ЦГАОР, ф. 190, 3-я эксп., ед. хр. 1307, л. 33.

П. А. Кропоткин, указ. соч., стр. 174.

Позднее они были арестованы. Суд первой инстанции признал Беклемишева виновным в убийстве и осудил на 20 лет каторги. Однако благодаря хлопотам Муравьева дело было пересмотрено. Срок был сокращен до 3 лет.

179

В. Семевский, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. «Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 21–22.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 111–112.

«Исторический вестник», 1907, декабрь.

«Материалы…», т. 1, стр. 351.

183

А. И. Герцен, Соч. под ред. М. К. Лемке, т. XI, стр. 278.

«Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 281.

185

А. И. Герцен, Соч., т. XVIII, стр. 627.

186

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 353.

187

Рукописный отдел Библиотеки имени В. И. Ленина (РОБЛ), ф. Корсаковых, картон 38, № 14, Корсаков М. С. — Корсаковой С. Н.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 5, стр. 29–30.

189

Кто был этим автором — не установлено. По мнению большинства исследователей, П. Серно-Соловьевич. Однако Н. Н. Новикова отрицает его авторство.

190

«Колокол» — газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, факсимильное издание, вып. V. М., 1962, л. 107.

191

Н. П. Огарев, Избр. произв., т. I, стр. 547.

192

«Письма М. А. Бакунина», стр. 189–190.

193

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 353–354.

Там же.

195

«Исповедь» В. И. Кельсиева. «Литературное наследство», т. 41–42. М., 1941, стр. 296.

196

В. Каренин, Герцен, Бакунин и Жорж Санд. «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 56.

197

«Литературное наследство», т. 41–42, стр. 294.

«Литературное наследство», т. 41–42, стр. 96.

199

Умер на каторге в июне 1866 года.

М. Бакунин, Избр. соч., т. III. П.—М., 1920, стр. 88–89.

201

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 283.

202

Очевидно, что еще по пути установил он и связи в Тяньцзине. Служащий там чиновник Е. К. Бюцов сообщал в марте 1863 года Корсакову: «Бакунин избрал путь через Тянь-цзин для своей корреспонденции с Сибирью; мне вчера прислали два письма от него с адресом „Петру Ив. Кукушкину“ без обозначения места жительства; я, разумеется, не принял». РОБЛ, ф. Корсаковых, картон 73, № 42.

203

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 360.

П. Кропоткин, Анархия, ее философия и идеал. М., 1906, стр. 62.

205

Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов. Спб., 1908, стр. 87.

Там же, стр. 90.

На следствии он дал «откровенные» показания. Умер в Петропавловской крепости в 1863 году.

РОБЛ, ф. Корсаковых, картон 38, № 14.

209

А. И. Герцен, Соч., т. XXVII, кн. I, стр. 214.

210

Там же, стр. 218.

211

«Былое», 1906, июль, № 7, стр. 196–197.

212

Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 809.

213

ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 809.

«Материалы…», т. 2, стр. 544.

215

М. А. Бакунин по отчетам III отделения. «Красный архив», т. III, 1923, стр. 200.

Там же, стр. 203.

217

В 1867 году он вернулся в Россию и написал «Исповедь», в которой отрекся от всей своей деятельности, от всех своих революционных связей.

«Литературное наследство», т. 41–42, стр. 304.

219

Н. И. Субботин, Партия Герцена и старообрядцы. «Русский вестник», 1867, март.

220

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 359–360.

221

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 194.

Там же, стр. 195.

223

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 197.

Там же, стр. 200.

«Колокол», 1 апреля 1863 года, стр. 1318.

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 368.

227

Там же, стр. 371–372.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 203.

229

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 365.

«Колокол», 1 октября 1862 года, стр. 1203.

231

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 199.

«Колокол», 15 октября 1862 года, стр. 1213.

«Летописи марксизма», 1928, № 7–8, стр. 122.

Весьма острая полемика в прессе между Бакуниным и Мерославским продолжалась вплоть до 1868 года, когда Бакунин выпустил свою брошюру: «Последнее слово о г. Л. Мерославском».

235

ЦГАОР, ф. 825, оп. 1, ед. хр. 299, л. 4.

236

ЦГАОР, ф. 825, оп. 1, ед. хр. 299, л. 8.

237

Там же, стр 10–11. Частично письмо это опубликовано Ю. Стендовым в работе «Михаил Александрович Бакунин», т. 2, стр. 188.

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 371.

239

Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. М., 1934, стр. 288.

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 377.

241

Письма М. А. Бакунина к Коссиловскому. «Летописи марксизма», 1928, № 5, стр. 70.

242

Весьма странно и вульгарно звучит следующая фраза Стеклова: «Замечательно, что Герцен и Огарев считали Бакунина морально обязанным рискнуть своей шкурой, но к себе этого требования не предъявляли». См.: Ю. Стеклов, Михаил Александрович Бакунин, т. 2. М., 1927, стр. 217.

243

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 213–214.

А. И. Герцен, Соч., т. XXVII, кн. I, стр. 288.

245

А. И. Герцен, Соч. под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 154–155.

А. И. Герцен, Соч., т. XI, стр. 372–373.

247

Письма М. А. Бакунина к польским корреспондентам. «Летописи марксизма», 1927, № 4, стр. 80.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 217–218.

249

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 220.

250

Там же, стр. 221.

251

«Материалы…», т. 2, стр. 567–568.

«Красный архив», 1923, т. 3, стр. 205.

По неизвестным причинам опубликована она не была. Лишь после революции обнаруженная в архиве, она вошла во 2-й том «Материалов…» под ред. Вяч. Полонского.

«Материалы…», т. 2, стр. 613, 625.

255

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 229.

Н. Берг, Морская экспедиция повстанцев 1863 года. «Исторический вестник», 1881, т. I, стр. 97.

257

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 229.

Там же, стр. 240.

259

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 221.

Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. II. М., 1952, стр. 117.

261

Л. И. Мечников, М. А. Бакунин в Италии в 1864 г. «Исторический вестник», 1897, март, стр. 811.

262

Письма жены М. А. Бакунина. «Каторга и ссылка», 1932, № 3, стр. 117–118.

263

Е. Л. Рудницкая, Новые материалы о связи редакции «Колокола», Михаила Бакунина с финским национально-освободительным движением. «Вопросы истории», 1967, № 12, стр. 41.

Там же, стр. 42.

«Литературное наследство», т. 61. М., 1953, стр. 518.

266

А. И. Герцен, Соч. под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 230–231.

267

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 248–249.

Там же, стр. 255.

Е. Л. Рудницкая, указ. статья, стр. 49.

А. И. Герцен, Соч., т. XXVII, кн. 1, стр. 370.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 2, стр. 266.

«Каторга и ссылка», 1932, № 3, стр. 132.

273

Письма М. А. Бакунина к графине Е. В. Салиас. «Летописи марксизма», 1927, № 3, стр. 88.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 258.

275

Ближайший сотрудник и друг Герцена и Огарева.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 265.

277

См. «Первый Интернационал», ч. 2. М., 1965, стр. 443.

С. Степняк, Джузеппе Гарибальди. Спб., 1906, стр. 3.

Джузеппе Гарибальди, Мемуары. М., 1966, стр. 11.

Джузеппе Гарибальди, указ. соч., стр. 418.

281

Archives Bakounin, Michel Bakunin et l'ltalie, I. Leiden, 1961, p. XV.

282

Письма М, Д. Бакунина к графине Е. В. Салиас. «Летописи марксизма», 1927, № 3, стр. 91.

283

Там же, стр. 93.

284

В 1866 году под давлением французского и итальянского послов царское правительство освободило итальянцев, запретив им навсегда въезд в пределы Российской империи. Луиджи Кароли не пришлось возвратиться в Италию. Он умер в 1865 году и похоронен на одной из сопок, окружающих Кадаинский рудник, рядом с могилой М. Л. Михайлова. См.: Б. Кубалов, Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов и гарибальдийцы на Кадаинской каторге. «Сибирские огни», 1959, № 6.

«Летописи марксизма», 1927, № 3, стр. 91.

Л. И. Мечников, Бакунин в Италии в 1864 г. «Исторический вестник», 1897, март, стр. 821.

287

В. И. Модестов, Заграничные воспоминания. «Исторический вестник», 1883, т. XII, стр. 122.

Л. И. Мечников, указ. соч., стр. 810.

289

Там же, стр. 820.

290

Н. С. Курочкин — поэт, журналист, член «Земли и Воли», в 60-х годах жил в Италии.

291

Речь идет о картине «Тайная вечеря». Н. Ге, Встречи. «Северный вестник», 1894, март, стр. 235.

«Летописи марксизма», 1927, № 3, стр. 96.

293

РО ИРЛИ, ф. 293, оп. 3, № 147, л. 11. Сообщал Ю. Коротков.

Л. И. Мечников, указ. соч., стр. 814.

295

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 271.

Л. И. Мечников, указ. соч., стр. 816.

297

«Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 260–281.

Очевидно, тот финн, которого ранее Бакунин направил для связи с «Землей и Волей».

299

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 266.

300

Письмо М. А. Бакунина неизвестному. «Былое», 1908, август, № 8, стр. 284.

301

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 12.

302

Там же, стр. 13.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 2, стр. 304.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 31, стр. 13–14.

305

См.: «Конфиденциальное сообщение» в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 429–441.

Ю. Стеклов, указ. соч., стр. 316.

307

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 277–278.

308

Опубликованный частично Вяч. Полонским под названием «Тайный интернационал Бакунина» в сб.: «Михаил Бакунин. Неизданные материалы и статьи». М., 1926, стр. 67–92.

309

О том, что «земля и ее недра принадлежат всем» и будут предоставлены тем, кто ее обрабатывает «личным трудом», говорилось выше.

К Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 7, стр. 490.

311

Джузеппе Берти, Демократы и социалисты в период Рисорджименто. М., 1985, стр. 340.

312

О знакомстве Бакунина с работами Пизакане и об известном сходстве их идей писал биограф Бакунина Макс Нетллау.

Джузеппе Берти, указ. соч., стр. 363.

Н. К. Лебедев, Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель. П.—М., 1920, стр. 56.

315

Н. К. Лебедев, указ. соч., стр. 54.

316

«Письма М. А. Бакунина к Герцену и Огареву». Женева, 1896, стр. 58.

317

РО ИРЛИ, ф. 16, оп. 5, ед. хр. 107.

318

Письма жены М. А. Бакунина. «Каторга и ссылка», 1932, № 3, стр. 120.

319

Письма жены М. А. Бакунина. «Каторга и ссылка», 1932, № 3, стр. 123–124.

320

ЦГАОР, ф. 825, оп. 1, ед. хр. 1211, л. 5.

321

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 273.

322

Г. Н. Вырубов, Революционные воспоминания. «Вестник Европы», 1913, февраль, стр. 51–52.

Г. Н. Вырубов, указ. соч., стр. 52.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 276–277.

«Литературное наследство», т. 62. П.—М., 1953, стр. 267.

«Письма М. А. Бакунина…», стр 275.

П. Л. Лавров, Народники-пропагандисты 1873–1878 гг. Л., 1925, стр. 27.

А. И. Герцен, Соч., т. XIX, стр. 58–59.

329

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 290–291.

Там же, стр. 279.

331

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, стр. 157–158.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 31, стр. 288.

Г. Н. Вырубов, указ. соч., стр. 54.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. III. П.—М., 1920, стр. 102.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. III, стр. 144.

Там же, стр. 147.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 2, стр. 355.

Там же.

339

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 2, стр. 357–358.

3. Ралли, Михаил Александрович Бакунин. «Минувшие годы», 1908, октябрь, стр. 158.

341

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 359.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. V, стр. 141.

343

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 162.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 2, стр. 365.

345

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 423.

Там же, стр. 459.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 18, стр. 327.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, стр. 186–187.

349

Там же, стр. 188, 189.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, стр. 195.

351

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 166–167.

Джемс Гильом, Интернационал, т. I–II. П.—М., 1922, стр. 96.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 20.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 330.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. I, стр. 237.

Ю. М. Стеклов. Борцы за социализм. М.—П., 1923, стр. 233.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 31, стр. 133.

«Базельский конгресс Первого Интернационала». М., 1934, стр. 48.

359

«Базельский конгресс Первого Интернационала», стр. 52.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 383–385.

361

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, стр. 158.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 21, стр. 419.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, стр. 209.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 337–340.

365

РО ИРЛИ. Архив Бакуниных, ф. 16, оп. 3, ед, хр. 110.

Она официально вышла за него замуж после смерти Бакунина.

367

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 352.

Там же, стр. 333.

369

Там же, стр. 335.

Позиция, занятая «Колоколом» во время польского восстания, вызвала резко отрицательное отношение у значительной части его читательской либеральной аудитории. Тираж издания резко упал. В 1867 году Герцен прекратил его издание на русском языке.

А. И. Герцен, Соч., т. XXVIII, стр. 169.

Гони природу в дверь, она войдет в окно (франц.).

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 345–347.

Там же, стр. 348.

Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. 7, «Бесы». М., 1957, стр. 437.

В. Засулич, Нечаевское дело. «Освобождение труда», 1924, № 2, стр. 69.

В. Засулич, Воспоминания. М., 1931, стр. 57.

«Нечаев и нечаевцы». Сб. материалов. М.—Л., 1931, стр. 140.

«Наша страна». Ист. сб. Спб., 1907, стр. 190.

380

Воспоминания шестидесятницы. «Былое», 1929, № 18, стр. 33.

381

Н. Пирумова, М. Бакунин или С. Нечаев? «Прометей». М., 1968, № 5, стр. 178.

«Минувшие годы», 1908, октябрь, стр. 158.

M. Confino, Bakounin et Necaev. «Cahiers du monde russe et soviétique», vol. VII, 1966, 4-e Cahier, p. 630.

ционное дело

385

«Минувшие годы», 1908, октябрь, стр. 157.

«4-e Cahier…», 1966, p. 628.

Ю. Стеклов, указ. соч, т. 3, стр. 435.

Г. Н. Вырубов, указ. соч., стр. 57.

389

Сам Бахметьев, покинув навсегда Россию, уехал на Маркизские острова. См. о нем ст. Н. Я. Эйдельмана «Павел Александрович Бахметьев» в сборнике «Революционная ситуация в России. 1859–1861 гг.», М., 1965.

По подсчетам Е. Л. Рудницкой, Огареву принадлежит 10 названий листовок, прокламаций, воззваний, что составляет две трети всех изданий первой пропагандистской кампании.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 458.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 459.

«4-e Cahier…», 1966, p. 648, 650.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 464–465.

395

Ф. М. Достоевский, указ. соч., стр. 440–441.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 454.

Ф. М. Достоевский, указ. соч., стр. 389.

«М. Бакунин или С. Нечаев?». «Прометей». М., 1968, № 5.

399

«Катехизис революционера» цитируется по публикации Шилова. См.: «Борьба классов», 1924, № 1–2, стр. 268–271.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 72.

«4-e Cahier…», 1966, p. 632.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 3, стр. 67.

403

Там же, стр. 65.

А. И. Герцен, Соч., т. XXX, кн. 1, стр. 186.

405

Там же, стр. 144.

Т ам же, стр. 299.

А. И. Герцен, Соч., т. XXX, кн. 1, стр. 46.

Там же, стр. 109.

409

А. И. Герцен, Соч., т. XX, кн. 2, стр. 661.

Т ам же, стр. 577.

Имеется в виду «хождение в народ» 70-х годов.

А. И. Герцен, Соч., т. XX, кн. 2, стр. 589.

413

А. И. Герцен, Соч., т. XX, кн. 2, стр. 593.

3. Ралли, Михаил Александрович Бакунин. «Минувшие годы», 1908, октябрь, стр. 159.

«4-e Cahier…», 1967, p. 632.

В. Н. Фигнер, Полн. собр. соч., т. I. М., 1932, стр. 91.

417

Н. А. Чарушин, О далеком прошлом. М., 1926, стр. 78–79.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 359.

419

Там же, стр. 358.

420

Там же, стр. 361.

421

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 362.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 367.

«4-e Cahier…», 1966, p. 638–640.

424

Полностью этот документ приведен в моей книге «Михаил Бакунин». М., 1966, стр. 125–126.

425

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 361.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 368–370.

T. Bacounine et J. Catieau, Contribution à la biographic de S. Necaev: Correspondance avec N. Herzen. «2-e Cahier…», 1966, vol. VII, p. 253–263.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 383–384.

429

Там же, стр, 379.

Там же, стр. 380.

«3-e Cahier…», 1967, p. 460, 462.

432

ЦГАОР, ф. 109, 1-я эксп., ед. хр. 415, л. 3.

433

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 381.

«4-e Cahier…», 1966, p. 682.

Там же, p. 682–684.

М. Бакунин, Наука и насущное революционное дело. Женева, 1870, стр. 19.

А. И. Герцен, Соч., т. XXX, кн. 1, стр. 144.

«4-e Cahier…», 1966, p. 684.

Ю. Стеклов, указ. соч., стр. 530.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, стр. 413.

441

Там же, стр. 420–421.

442

«Издания Общества Народной расправы». Зима 1870, № 2, стр. 12–14. Эта же программа почти дословно была повторена Нечаевым в статье «Наша общая программа». «Община» № 1, 1 сентября 1870 года.

Ф. М. Достоевский, указ. соч., стр. 437.

444

А. Успенская, Воспоминания шестидесятницы, «Былое», 1922, № 18, стр. 40. Мемуаристка употребляет термин «пулеметный огонь», в то время как в 60-х годах пулеметов еще не было. Существовали лишь скорострельные пушки митральезы, о которых и мог говорить Нечаев.

«Материалы…», т. I, стр. 174.

«4-e Cahier…», 1966, p. 642, 654, 656.

Там же, p. 648–656.

«1-e Cahier…», 1967, p. 96.

«1-e Cahier…», 1967, p. 100.

«1-e Cahier…», 1967, p. 110.

451

«Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 395.

«1-e Cahier…», 1967, p. 81–82.

453

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 444.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 402.

«1-e Cahier…», 1967, p. 120.

После его ареста М. Сажин вместе с З. Ралли сжег весь этот архив, за исключением писем Н. А. Герцен, которые и были возвращены ей.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 444.

П. Е. Щеголев, Алексеевский равелин, М., 1929, стр. 270.

459

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 17.

М. А. Бакунин, Избр, соч., т. IV, стр. 177.

461

М. П. Сажин, Первое знакомство с Бакуниным. «Михаил Бакунин. Неизданные материалы и статьи». М., 1926, стр. 16.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 34.

463

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 408.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 45.

«Минувшие годы», 1908, № 10, стр. 166.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 414.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 58.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 415–416.

469

Г. Н. Вырубов, указ. соч., стр. 77.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. IV, стр. 48, 49.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 189–190.

М. П. Сажин, Первое знакомство с М. А. Бакуниным. «Михаил Бакунин. Неизданные материалы и статьи». М., 1926, стр. 18.

473

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 418.

Там же, стр. 417.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 198, 199.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 217, 218.

М. А. Бакунин, Избр. соч., т. IV, стр. 252.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 18, стр. 90.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, стр. 37.

«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. III. М.—Л., 1927, стр. 365.

«Первый Интернационал», ч. I. М., 1964, стр. 444.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 154.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 221, 222.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, стр. 53.

485

Там же, стр. 60.

А. И. Герцен, Соч., т. XX, кн. 2, стр. 591.

М. А. Бакунин, Государственность и анархия, стр. 294.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, стр. 49.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, стр. 53.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 225.

491

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 161.

«Материалы…», т. 3, стр. 22.

К. М аркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 427.

Там же, стр. 413, 414.

495

Там же, стр. 419.

Маркс имел в виду нечаевский процесс. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 241.

Там же, стр. 245.

Джемс Гильом, указ. соч., стр. 236.

499

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 255–256.

500

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. PAGE257.

501

Там же, стр. 257, 260.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 273.

503

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 287.

«О минувшем», 1908, стр. 324.

505

«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 266, 267.

506

М. П. Сажин, Первое знакомство с М. А. Бакуниным. «Михаил Бакунин». Неизданные материалы и статьи, М., 1926, стр. 11.

507

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 423.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 206.

509

«О минувшем», 1909, стр. 288.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 449.

511

Е. Ель, М. А. Бакунин в Швейцарии, «Северный вестник», 1898, апрель, стр. 175–176.

512

П. Л. Лавров, Избр. соч. на социально-политические темы, т. I. М., 1934, стр. 104.

513

М. П. Сажин, Воспоминания. М., 1925, стр. 40.

«О минувшем». Спб., 1909, стр. 291.

515

В. Н. Фигнер, Студенческие годы. М., 1924, стр. 48.

См. Б. С. Итенберг, Движение революционного народничества. М., 1962.

517

Прибавление «А» к книге М. А. Бакунина «Государственность и анархия». В сб.: «Революционное народничество семидесятых годов XIX в.», т. I. М., 1964, стр. 38–55.

518

Старик. Движение семидесятых годов по большому процессу 193-х. «Былое», 1906, октябрь.

519

«О минувшем», стр. 333–334.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 229.

521

«О минувшем», стр. 336.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 303–306.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 327.

524

О. Кафиеро-Кутузова, Карло Кафиеро. «Голос минувшего», 1914, № 5, стр. 125.

525

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 18, стр. 474.

526

3 января 1874 года силами монархически настроенного командования армии был произведен государственный переворот, установлена военная диктатура, а затем через год реставрирована монархия.

527

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 330.

528

«Материалы…», т. 3, стр. 434.

529

Там же, стр. 437.

Член «Альянса», друг Бакунина.

531

М. П. Сажин, Воспоминания, стр. 91.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 327.

533

Там же, стр. 346.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 348.

535

«О минувшем», стр. 347–348.

А. Баулер, М. А. Бакунин накануне смерти. «Былое», 1907, июль, стр. 70.

537

А. Анджиолини, История социализма в Италии, ч. I. Спб., 1907, стр. 162.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 373.

539

Там же, стр. 375.

Джемс Гильом, указ. соч., т. III, стр. 186–187.

541

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 455.

«Письма М. А. Бакунина…», стр. 431.

543

Джемс Гильом, указ. соч., т. III, стр. 284–285.

Работа не была завершена. Рукопись не сохранилась.

А. Баулер, указ. соч., стр. 67–70.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 419.

А. Баулер, указ. соч., стр. 68.

А. Баулер, указ. соч., стр. 72.

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 438.

550

ЦГАОР, ф. 7026, оп. 1, ед. хр. 3. В описи документ ошибочно приписан В. Обнорскому.

551

Ю. Стеклов, указ. соч., т. 4, стр. 439.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 15.